Питер Акройд

ЧАТТЕРТОН



Чаттертон
Питер Акройд

Аннотация
Питер Акройд. Чаттертон
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ
1
2
3
4
5
ЧАСТЬ ВТОРАЯ
6
7
8
9
10
11
12
ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ
13
14
15

Аннотация

Роман «Чаттертон» (1987) тоже отсылает нас к биографиям реальных лиц – поэта-самоубийцы XVIII века Томаса Чаттертона, поэта викторианской эпохи Джорджа Мередита, причем линии их жизни переплетаются с вымышленной сюжетной линией Чарльза Вичвуда, поэта наших дней.

Акройд проецирует на три разные эпохи историю непризнанного и одинокого поэтического таланта, заставляя переплетаться судьбы своих персонажей, то и дело уснащая текст детективными поисками. Прежде всего, это погоня за утраченной стариной, но лейтмотивом этих поисков служит и постоянный вопрос: что есть реальность и вымысел, что есть истинное и ложное? В связи с этим часто всплывает тема плагиата в искусстве и тема фальсификации, т. е. «плагиата наоборот», когда художник приписывает собственное творение чужому гению. Возможно, не каждый согласится с теми выводами, которые делают герои романа.

Как этого и требует жанр псевдодетек-

тива, читательские ожидания под конец обманываются, и всю книгу приходится переосмысливать заново, – но именно этого, должно быть, и добивался автор, явно избегающий окончательной расстановки точек над «i» и предлагающий каждому самостоятельно решать, где лежит истина…

Питер Акройд
Чаттертон

Посвящается Кристоферу Синклер-Стивенсону

Томас Чаттертон (1752–1770) родился в Бристоле. Там он учился в Колстонской школе,[1] а затем несколько месяцев проходил в учениках у адвоката. Но образование всегда значило для него меньше, нежели порывы собственного духа. Его отец умер за три месяца до рождения сына. Чаттертон с детских лет восхищался старинной церковью Св. Марии Редклиффской,[2] где некогда его отец был певчим в хоре. Мальчику было семь лет, когда мать принесла ему обрывки рукописи, найденной в архиве этой церкви, — и воображение его забурлило. Он сказал матери, что она «нашла истинное сокровище, и он вне себя от радости, столь это бесподобно». «Он влюбился», по словам матери, и в прошлое Бристоля, и в саму старину. Он принялся писать стихи, а затем, в возрасте пятнадцати или шестнадцати лет, сочинил

---

[1] Примечания: 1

Колстонский приют в Бристоле был учрежден в 1708 г. филантропом Эдвардом Колстоном (1636–1721). Это заведение предназначалось для воспитания мальчиков в духе англиканской церкви (здесь и далее примечания переводчика).

[2] Примечания: 2

Церковь Св. Марии Редклиффской в Бристоле — средневековый готический собор, в XIV веке перестроенный на деньги судовладельца Уильяма Канинга.

«Роулианский цикл». Эти поэмы якобы сложил средневековый монах (чему много лет продолжала верить публика), — в действительности же они принадлежали перу юного Чаттертона, которому удалось выработать настоящий средневековый стиль, отчасти зародившийся благодаря чтению древних текстов, а отчасти изобретенный им самим.

Наконец, наскучив Бристолем и соблазнившись надеждой на литературный успех, семнадцатилетний Томас Чаттертон отправился в Лондон. Но надеждам на славу не суждено было оправдаться — во всяком случае, при его жизни. Книгопродавцы оставались равнодушны или безучастны, а лондонские журналы по большей части отвергали элегии и стихотворения, которые предлагал им Чаттертон. Вначале он жил в Шордитче, у родственников, но в мае 1770 г. перебрался в чердачную каморку на Брук-стрит в Холборне. Там-то, утром 24 августа 1770 г., он принял мышьяк — очевидно, не вынеся борьбы с нищетой и неудачами. Когда дверь в его комнату взломали, на полу обнаружили раскиданные клочки бумаги, испещренные его почерком. После расследования огласили заключение: felo de se, то есть самоубийство. На следующий

день тело поэта похоронили на кладбищенском участке при работном доме на Шу-лейн. Известен лишь один его прижизненный портрет, но для потомства образ "дивного мальчика" увековечила картина «Чаттертон» кисти Генри Уоллиса. Она была закончена в 1856 г., а позировал художнику, изображая умершего поэта, молодой Джордж Мередит,[3] лежа в той самой мансарде на Брук-стрит.

* * *

— Пойдем, — сказал он. — Прогуляемся по лугам. У меня припасено для тебя кое-что гениальное. Уже за то, что я прочту это тебе, мне полагалось бы полкроны.

Он взмахнул перед ней книжкой, но его нетерпеливость лишь отпугнула девушку, и она быстро зашагала прочь. Затем, осмелев при виде подруги, сидевшей на ступеньках церкви, она прокричала ему через плечо:

— Какой же ты бедняжка, ей-Богу! И Господи, Том, — что за драные на тебе башмаки!

---

[3] Примечания: 3

Джордж Мередит (1828–1909) — викторианский поэт и прозаик, по определению Оскара Уайльда, "дитя реализма, поссорившееся со своим отцом".

— Я не настолько беден, чтобы нуждаться в жалости таких, как ты!

Чаттертон выбежал в чистое поле, подставляя лицо прохладному ветру. Там он остановился, уселся на скошенную траву и, обратив взор к башне Св. Марии Редклиффской, забормотал слова, имевшие над ним огромные чары:

Пора: час моего ухода пробил,
И Ураган готов листву мою развеять.
Быть может, завтра явится Скиталец
И взором примется меня искать повсюду,
И взором – боле не найдет меня.

Он еще раз взглянул на церковь и с возгласом вскинул руки над головой.

* * *

— Да, я образцовый поэт, — сказал Мередит. — Я притворяюсь, будто я это другой.

Уоллис остановил его взмахом руки.

— Теперь свет падает верно — он ложится тебе на лицо. Запрокинь голову. Вот так. — И сам выгнул шею, показывая нужное движение. — Нет. Ты все равно лежишь так, словно приготовил-

ся заснуть. Позволь себе роскошь умереть. Ну давай же.

Мередит закрыл глаза и откинул голову на подушку.

— Смерть я еще могу вынести. Чего я вынести не могу — так это изображения смерти.

— Ты обретешь бессмертие.

— Не сомневаюсь. Только кто это будет — Мередит или Чаттертон? Вот что хотелось бы мне знать.

* * *

Хэрриет Скроуп поднялась со стула, спеша выложить свои новости.

— Сломился сук, что ввысь бы мог расти, — произнесла она. И согнулась пополам, словно ее подкосило.

— Ветвь, — неторопливо проговорила Сара Тилт.

— Что?

— Сломилась ветвь — а не сук, дорогая. Если это была цитата.

Хэрриет выпрямилась.

— Думаешь, я не знаю? — Тут она ненадолго задумалась. — Поэты — в юности витаем мы в мечтах. В конце ж подстерегают нас безумие и

страх.[4] Тут она высунула язык и вытаращила глаза. — Конечно, я знаю, что это цитата. Я отдала всю свою жизнь английской литературе.

Голос Сары звучал по-прежнему холодно:

— В таком случае, жаль, что ты ничего не получила взамен.

И обе женщины рассмеялись.

* * *

Чарльз Вичвуд сидел, потупив голову. Он наблюдал за тем, как с шелестом слетают на землю листья. Еще до него доносились звуки дрели, стук молотков и голоса рабочих, перекликавшихся между собой в новостройке. Потом возвратилась боль — и лишь спустя какое-то время он заметил, что листья унесло ветром, а шум смолк. Рядом стоял юноша и пристально смотрел на него. Затем он коснулся руки Чарльза, будто остерегая его.

— Значит, ты болен, — произнес один.

И другой ответил:

— Я знаю, что болен. — Чарльз опять понурил голову в унынии, а когда снова поднял взгляд,

---

[4] Примечания: 4

"We poets in our youte begin in gladness; But teereof in tee end come despondency and madness" — цитата из стихотворения Вордсворта Решимость и свобода (Resolution and Independence, VII).

фигура Томаса Чаттертона уже исчезла.

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

Воззри на скорбный ликъ: потухъ въ семь зраке огнь.
Сколь горемъ изнуренъ, истерзанъ, въ тленъ ввержонъ!
Превосходная Баллада о Милости. Томасъ Чаттертонъ
И я узрелъ Цветокъ въ дни Летнія Жары:
Растоптанъ, смять, загубленъ до поры.
Гисторія Уилліама Канинга. Томасъ Чаттертонъ

1

Завернув за угол, он принялся искать Дом над Аркой. А когда он вошел в Доддз-Гарденз, солнце словно поджидало его в конце длинной узкой улицы. "Душ здесь нет — одни только лица", — сказал он, окинув взглядом обступившие его дома: пилястры, позаимствованные с фасадов XVIII века и воспроизведенные здесь в миниатюре; железные балкончики — одни свежевыкрашенные, другие тронутые ржавчиной; фронтоны, настолько обветшавшие или развалившиеся, что их очертания едва угадывались над дверными и оконными проемами; причудливой формы ставни, выцветшие от времени и уже не пропускавшие свет; затейливая штукатурная работа, вся в изъянах и трещинах; прогнившие доски; поврежденная или осыпавшаяся каменная кладка. Таков был Доддз-Гарденз — Лондон, W14 8QT.

Но Чарльзу все эти дома казались на одно лицо — эдакие милые фамильные особнячки. Присвистнув, он засунул руки в глубокие карманы своего пальто цвета хаки, затем остановился погладить большого черного пса, пробегавшего мимо.

— А ведь неплохо было бы вместе бегать по деревне? — заметил он, доверительно склонившись к собаке. — Как Чарли Браун и Снупи.[5] Как индийский мальчик и Лесси. Как слепец и старый пес Поднос. Деревня ведь совсем недалеко. Туда всегда можно добраться — стоит только захотеть. Правда-правда.

И с этим утешительным напутствием он зашагал дальше. А пес улегся в грязь и какое-то время наблюдал за тем, как Чарльз развинченной походкой идет по улице. Затем он увидел, как тот остановился, сделал шаг назад, почесал голову и исчез.

Вначале Чарльзу показалось, что в Доддз-Гарденз проделан лаз, и лишь потом, сойдя с тротуара, он разглядел арочный изгиб — а потом и сам Дом над Аркой. Здание было построено целиком из камня и поэтому выглядело значительно старше соседних кирпичных домов. Под аркой, куда завернул Чарльз, воздух был холоднее. На внутренней стене было черным намалевано человеческое лицо, а деревянная крыша и поддерживавшие ее ржавые железные скобы пестрели явственно процарапанными

[5] Примечания: 5

Чарли Браун и "мудрый пес" Снупи — персонажи популярных «интеллектуальных» комиксов Peanuts Чарльза Шульца.

значками и каракулями. За аркой находился дворик, и войдя в него, Чарльз заметил маленькую вывеску у синей двери:

Лавка Древностей у Лино.

Не Мешкайте.

Доставьте Нам Радость.

Входите Же.

Надпись позабавила его. Он подхватил две книги, которые нес под мышкой, и водрузил себе на голову; затем на цыпочках пересек двор, сохраняя шаткое равновесие. Наконец книги свалились, и он поймал их на лету.

На каменной лестнице, поднимавшейся на два пролета, сильно пахло дезинфекцией. Пока Чарльз всходил по ступенькам, прямо над ним раздавались сердитые возгласы. Не разбирая слов, он только различал яростные женские выкрики, перемежавшиеся с почти истеричными мужскими воплями. Чарльз ступил на первую площадку и увидел на двери табличку: "Да, Вот Вы и Здесь. У Лино". Он нерешительно постучал, и сразу же воцарилось молчание. Он постучал

снова, и голос за дверью важно произнес:

— Войдите.

Он отворил дверь и, оглядевшись по сторонам, заметил мужчину, деловито протиравшего клюв чучелу орла.

— Мне нужен…

— Да-да?

— Мне нужен мистер Лино.

— Перед вами, собственной персоной. — Мужчина по-прежнему стоял к нему спиной. Он уже добрался до когтей мертвой птицы.

— Привет, я Вичвуд. — Чарльз всегда так здоровался.

Мистер Лино, видимо, был озадачен.

— ВИЧ?

— Вуд. Я звонил сегодня утром. Насчет книг.

— Должно быть, это так. — Мистер Лино неожиданно обернулся лицом к Чарльзу, и тот с некоторым смятением увидел на его правой щеке большое ярко-красное родимое пятно. На какой-то миг оно придало ему свирепое выражение. — Дорогая, — прокричал он в пустоту. — Дорогая, у нас посетитель.

Тут Чарльз понял, что тот высокий голос, который он слышал с лестницы, в действительности принадлежал самому мистеру Лино.

— Мистер Бич, благоволите… — Он махнул рукой, но не договорил фразы, и во внезапно наступившей тишине Чарльз окинул взглядом комнату с благосклонным, почти собственническим интересом. Она была от пола до потолка загромождена различной утварью, гравюрами, чучелами животных и всякой всячиной. Ложки лежали в треснутой вазе для фруктов, словно их зашвырнули туда с большого расстояния; поверх выцветших нотных листов вытянулась вереница пресс-папье из слоновой кости; большие куклы были свалены в груду, их руки и ноги беспорядочно перепутались, словно у мертвецов, сброшенных после расстрела в братскую могилу; перед гипсовыми бюстами выстроились в шеренгу цветные шахматные фигуры. На нескольких пыльных полках Чарльз разглядел колоды карт, книги, глиняные чашки и три кружевных зонтика, обращенных наконечниками друг к другу. Кое-где стояли тарелки, заполненные пуговицами и зубочистками, наполовину выдвинутые деревянные ящики были забиты старыми журналами, а на двух медных подставках лежали стопки гравюр. В углу комнаты горела парафиновая печка (в опасной близости к деревянной лошадке-качалке) — и вдруг Чарльз заметил,

что, несмотря на изрядный жар, исходивший от печки, мистер Лино одет в темную тройку.

— Миссис Лино, — вновь позвал тот. — Наш гость все еще здесь. Покажись же и стань нам родной матерью.

Эту комнату с соседней, расположенной чуть выше, соединяло нечто вроде металлического уклона; разница в высоте свидетельствовала о немалом возрасте дома, который с годами, очевидно, накренился или осел с одного бока. По этому-то скату и съехало теперь инвалидное кресло, будто толкаемое чьей-то могучей рукой, — и резко притормозило возле безглавого торса из розового гипса. Миссис Лино, не обратив ни малейшего внимания на Чарльза, наклонилась вперед и беззвучно окрысилась на мужа. Она тоже была одета во все черное, а сумрачность ее наряда оживляла лишь фиолетовая шляпка, как-то непрочно сидевшая на блестящих каштановых волосах.

— Мистер Бич…

— Вуд.

— Мистер Бичвуд принес тебе книги, дорогая.

Только теперь она почти застенчиво взглянула на Чарльза, а затем с неожиданной прытью выхватила из его рук оба тома, которые он ей

протягивал. Это было сочинение Джеймса Макферсона Утраченное искусство игры на флейте XVIII века. Она издала легкий горловой кашель, который показался Чарльзу радостным иканьем.

— Это флейта, мистер Лино, божественное дуновенье.

— Так поднеси ее к устам, дорогая. К воображаемым устам, конечно.

Она еще раз взглянула на Чарльза, который с улыбкой слушал этот короткий обмен репликами.

— Вы, верно, птица перелетная? С таким-то диким гнездом на голове, с персиковым пушком над губой, — вы, верно, разбойник-менестрель? А где же ваш любезный инструмент?

Чарльз, нимало не удивленный такими расспросами, сразу же заговорил доверительно: казалось, он всю жизнь знает этих людей.

— Из меня мог бы выйти флейтист… — Собственно, он купил эти книги несколько лет назад в Кембридже, с тележки букиниста на рыночном развале. Это был лишь случайный порыв души, но в ту пору Чарльз решил, что ему суждено стать флейтистом. Поэтому он внимательно прочел первые страницы, но потом отложил книги в сторону и впредь редко до них дотрагивался.

Утраченное искусство игры на флейте XVIII века стало частью той жизни, которую Чарльз перевозил за собой с места на место, и постоянным напоминанием о том, что ему еще не поздно сделаться великим флейтистом стоит только пожелать. "Ведь никогда не знаешь, — говорил он. — Чего только не бывает".

Но сегодня утром он проснулся в безысходном отчаянии, как будто провел ночь в борении с непобедимым врагом, и впервые за много месяцев понял, сколь же он беден и сколь горшая бедность ждет его в будущем. Чтобы унять мрачные думы, он праздно подобрал два тома Джеймса Макферсона, — и почти немедленно ему пришло в голову, что за них можно выручить немалую сумму. Его уныния как не бывало: его столь ободрила собственная деловая смекалка, что он позабыл о бедности и даже призадумался о карьере книгопродавца.

— Из меня мог бы выйти флейтист, — произнес он, — а так — я писатель.

Сказав это, он посмотрел ей в глаза.

— Я так и знала, мистер Лино!

Ее муж втянул в себя щеки, отчего родимое пятно почему-то лишь увеличилось, и ничего не ответил.

— Вы сочиняете романы? Или так, всего понемножку?

— Сейчас я работаю над стихами.

— А-а, поэзия. Финтифлюшки! — Все это время она сидела согнувшись в своей каталке, углубившись в изучение книг. — Мое второе имя — поэзия. Сибилла Поэзия Лино.

Ее муж, вновь принявшийся за чучело орла, обратился к ней через плечо:

— Пришла ли миссис Лино к какому-нибудь решению?

Она тихонько взвизгнула и ткнула пальцем в гравюру, изображавшую старинную флейту.

— Ты только погляди, милый, на эти золотые точечки! — Но, прежде чем он захотел бы последовать этому совету, она уже захлопнула книгу. — Могу предложить пятнадцать.

Чарльз ушам своим не поверил.

— Речь о фунтах?

— Нет, речь не о фунтах. Речь о монументах железного века.

Чарльз вынул руки из карманов и принялся крутить прядь волос. Миссис Лино вновь погрузилась в размышления, и он обратился к ее мужу:

— Не подняться ли нам чуть повыше?

Мистер Лино, ожесточенно полировавший

орлиные когти, спросил у мертвой птицы:

— Не подняться ли ей чуть повыше?

— Она поднялась бы повыше. — Миссис Лино еще раз вышла из транса. Она поднялась бы аж до Почтовой башни, будь при ней ее ноги. Но не все в нашей власти. Этот мир далек от совершенства.

Чарльза так поразила ничтожность предложенной суммы, что он вовсе утратил интерес к разговору и принялся расхаживать по лавке с рассеянным видом, как расхаживал бы любой посетитель, которого не замечают или о присутствии которого не подозревают. Так или иначе, он уже перестал понимать, обращен ли разговор супругов Лино к нему, или они просто беседуют между собой.

— Поэзия и бедность, — декламировала миссис Лино. — Поэзия и бедность.

— И что же дальше, дорогая?

— Они словно чердачная каморка и погребальная урна!

— Сегодня ее не унять, — изрек мистер Лино, и в его тоне недовольство смешалось с восхищением. — Это ясно как день.

Чарльз подумал, что уж это замечание вполне могло быть адресовано ему; он рассматривал колоду карт таро эпохи Эдуарда и, обернувшись,

увидел, что оба и в самом деле смотрят в его сторону.

— Знаете, мне бы хотелось побольше. Книги-то весьма ценные.

— Ему бы хотелось побольше, миссис Лино.

— В самом деле? А мне бы хотелось босиком бегать по Брайтонским скалам, но разве это что-то меняет?

— Бегать с перьями в волосах. — Мистер Лино вздохнул.

Чарльзу внезапно опротивел запах парафиновой печки, и он снова взялся за колоду таро. Тогда-то он и увидел картину. На миг у него появилось смутное ощущение, что на него кто-то смотрит, поэтому он повернул голову и встретился взглядом с мужчиной средних лет, наблюдавшим за ним. Сперва он тоже уставился на него в изумлении. Затем, совершив усилие, подошел поближе и взял портрет в руки. Холст был кое-как вставлен в легкую деревянную раму. Держа картину на расстоянии вытянутой руки, Чарльз принялся тщательно изучать ее. На портрете был изображен сидящий человек; в его позе чувствовалась некоторая небрежность, но вскоре Чарльз разглядел, как цепко сжимает его левая рука страницы рукописи, лежащей у него на коле-

нях, и как нерешительно замерла его правая рука над столиком, где громоздятся стройной горкой четыре томика инкварто. Быть может, он собирался затушить свечу, что мерцала возле книг и отбрасывала неверный свет на правую сторону его лица. Мужчина был облачен в темно-синий сюртук или плащ и белую открытую сорочку, просторный ворот которой мягко спускался на сюртук; такой наряд казался чересчур байроническим, чересчур «молодежным» для мужчины, явно перешагнувшего порог зрелости. У него был большой рот, вздернутый нос и короткие седые волосы, разделенные пробором и обнажавшие высокий лоб. Но особенно притягивали Чарльза его глаза. Они казались разноцветными и придавали лицу неизвестного (ибо на картине не имелось никаких надписей) сардоническое и даже тревожащее выражение. Кроме того, в этом лице угадывалось что-то знакомое.

Миссис Лино неожиданно оказалась совсем рядом.

— Мы принимаем кредитные карточки — Аксесс, Виза, Американ-Экспресс…

— И Кооп-Голд-Кард, дорогая.

— И Дайнерз-Кард. Не забывай. — Она похлопала Чарльза по ноге. Говорят, пластик унимает

боль. Но вам-то это известно. Вы же поэт.

Оглядев картину еще раз, Чарльз решил, что она его уже заинтриговала. И тут же ему представилась нелепой мысль просто продать свои книги: ведь деньги скоро растают, а портрет мог бы остаться у него навсегда. И он снова повеселел:

— Вы знаете, я бы охотно пошел на обмен.

— На обмен со мной — а, разбойник вы эдакий? — Миссис Лино настроилась на игривый лад.

— Но хватит ли у нее духу расстаться с ним? Говорите ж, миссис Лино, иль навеки... — Где-то в соседней комнате засвистел чайник, и мистер Лино, поворотившись на каблуках, исчез.

Миссис Лино, напротив, была только рада расстаться с этим портретом, так как его присутствие в лавке с самого начала угнетало ее. Бывало порой, что она притаскивала картину из обычного укрытия и размахивала ею перед носом у мужа, восклицая: "На этом лице — смерть!" На что тот неизменно отвечал: "На каждом лице — смерть".

Негромкий кашель возвестил о возвращении мистера Лино, и она сама подкатила поближе к нему:

— Начало XIX века. Без рамы. Холст, масло. Два-

дцать на тридцать: так да или нет? — И, грустно поглядев на Чарльза, добавила: — Но могу ли я отпустить его в чуждый мир? Ведь здесь такое величие. — И указала на картину: — Словно луч потайной.

— Так готова ли она расстаться с ним ради двух томов в переплете? — В голосе ее мужа послышалось легкое нетерпение.

— Флейта для лорда. Флейта для лорда. Ах, мистер Лино, на что же это будет похоже?

— Достанем флейту, дорогая? — И оба быстро переглянулись.

— Решено! — воскликнула она, покатив к мужу с такой скоростью, что, казалось, колеса вот-вот раздавят его. — Грязная сделка заключена! Поэт меня одолел. Я рада, что одета в черное сегодня.

Чарльз последовал за ней, с готовностью протягивая картину, но она только откинулась поглубже в кресло.

— Нет-нет. Теперь он ваш.

— Простите, — рассмеялся Чарльз. — Я только хотел завернуть его во что-нибудь. — И вытянул правую руку, чтобы показать, как он выпачкался в пыли, осевшей на картине. Она поглядела на его пальцы с ужасом.

— У нас есть пакет. — Мистер Лино вклинился

между ними и забрал картину. — Пакет-то всегда найдется.

Миссис Лино швырнула в портрет свою фиолетовую шляпку, пробормотав: "Прощай, мой милый", — и снова удалилась в соседнюю комнату, взъехав туда по скату. Между тем ее муж безуспешно пытался запихнуть картину в продуктовый пластиковый пакет с желтой надписью «Европа-80» на боку.

— Да не беспокойтесь, — произнес Чарльз, забирая у него портрет, — это не так уж важно.

— Это всегда важно. — Мистер Лино отвесил торжественный поклон и проводил Чарльза до двери. — Но подоспела пора пить чай.

Чарльз спустился по лестнице и уже собирался пересечь внутренний дворик, как вдруг снова послышались истерические крики и вопли спорящих супругов, несколько минут назад прерванные его появлением. Но, шагая вдоль Доддз-Гарденз и неся впереди себя картину, он продолжал улыбаться. Он поискал глазами черного пса, думая показать ему свое приобретение, и помедлил на том месте, где видел его в последний раз. Он пригляделся к ближайшему дому, но там виднелся лишь мох, поросль крестовника, жестянки из-под пива и темно-зеленые побеги

травы, отливавшие блеском в тающем солнечном свете. Он поднял голову, и сквозь окно нижнего этажа взгляд его уперся в пустую комнату. Занавески были наполовину опущены, но он явственно увидел, что в углу комнаты неподвижно стоит маленький ребенок. Он плотно прижал руки к бокам и, казалось, тоже смотрел на Чарльза. Тот заметил птичку, усевшуюся на правое плечо мальчика. Затем на солнце набежало облако, и в комнате наступила темнота.

о да

Вичвуды жили в Западном Лондоне, на четвертом этаже дома, который некогда являл собой довольно величественный особняк викторианского семейства, но затем, в шестидесятые годы, был поделен на небольшие квартирки. И все же дом сохранил кое-что от своего прежнего облика — прежде всего, лестницу, которая все еще изящно вилась от этажа к этажу, хотя местами доски уже прогнулись, а перила были выщерблены или сломаны. Завернув на четвертую площадку, Чарльз увидел своего сына Эдварда, развалившегося на верхней ступеньке.

— Поздно ты, папа. — Он лежа читал комиксы Бино, опершись подбородком на обе руки, и даже не повернул головы.

— Нет, это не я поздно, Эдвард Невозможный. Это ты рано.

Мальчик звонко рассмеялся, не прерывая чтения.

— Где же твой ключ, Эдвард Неподготовленный?

— Вчера ты у меня его забрал. Ты потерял твой.

— Свой, Эдвард Неожиданный, свой. И где же ты шатался? — Чарльз ухватился было за ершистые каштановые волосы сына, а затем осторожно переступил через него и со смехом побежал отпирать дверь. Эдвард снова взялся за комиксы и широко улыбнулся. Потом поднялся и, сделав хмурое лицо, последовал за отцом в свою квартиру.

Передняя комната выглядела так, словно в ней жил студент. И вправду, оранжевые виниловые стулья, хлипкий сосновый столик, продавленный диван и плакаты с рекламой всяческих films noirs,[6] — все это перекочевало сюда из комнаты Чарльза, которую он занимал, учась в университете. (То же самое относилось и к значительной части его гардероба.) Чарльз уже прошел в свой «кабинет» — угол комнаты, отгороженный дере-

---

[6] Примечания: 6
Фильмов ужасов (фр.).

вянной ширмой, выкрашенной в ярко-зеленый цвет, — и Эдвард на цыпочках последовал за ним. Затаив дыхание, он заглянул внутрь сквозь щелку и весьма удивился, увидев, что отец разговаривает с портретом какого-то старика. «Ты мой шедевр», говорил он. Эдвард отступил от ширмы и хранил молчание до тех пор, пока отец не позвал его:

— Эдвард Идолопоклонник! Поди-ка сюда на минутку и погляди, что у меня есть! — Никакого ответа. — Это важно, Эдди!

Тогда мальчик с притворной неохотой показался из-за ширмы.

— Что ты об этом скажешь?

Эдвард быстро взглянул на полотно.

— Это фальшивка.

Чарльз уже наполовину убедил себя в том, что приобрел чрезвычайно ценную картину, и потому его раздосадовал такой ответ.

— Где это ты выучился таким словечкам, Эдвард Немилосердный?

Мальчик поборол искушение улыбнуться.

— Мама съест тебя, когда узнает.

Чарльз отставил картину и приложил к груди руку.

— Сколь сладостная смерть. Впрочем, не ду-

маю.

Тут Эдвард наконец рассмеялся; а Чарльз сгреб сына в охапку и принялся щекотать ему коленки и лодыжки. Мальчик зашелся беспомощным хохотом, а потом с трудом прокричал:

— Мама зарежет тебя за то, что ты тратишь ее деньги!

Чарльз перестал щекотать сына и серьезно опустил его на пол. Эдвард сделал шаг назад, протер глаза и с вызовом посмотрел на отца, но Чарльз уже снова занялся портретом и начал тихо и монотонно посвистывать, как будто рассматривая его по-иному. Чтобы утешить отца, мальчик обнял его и прошептал:

— Это фальшивка.

— Не заняться ли тебе чем-нибудь, Эдвард Безработный? — Чарльз чуть помедлил на последнем слове — даже немного покраснел, как показалось его сыну, — и добавил: — Я занят. — Затем, уже утомленным голосом, он произнес: — Мне нужно побыть одному, Эдвардино.

По-видимому, его и в самом деле занимали какие-то мысли, так как он отложил в сторону картину и достал лист бумаги из ящика деревянного письменного столика. Он вставил его в переносную пишущую машинку и напечатал:

«ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ мосты довольства»

Чарльз поглядел в окно. Он настолько ушел в свои мысли, что сам не заметил, как его взгляд, отпрянув в испуге от бездонного неба, остановился на воробье, который скакал по крыше соседнего дома. Казалось, его левое крыло полусгнило, а воздух вокруг дрожал. Чарльз вновь отвел глаза, стараясь стереть этот образ из памяти.

Вот уже несколько недель он корпел над длинным стихотворением, но ему было в радость сочинять медленно и изредка: ведь признание — всего лишь вопрос времени, и ему казалось, что не стоит особенно торопиться. Он был настолько уверен в своем таланте, что вовсе не собирался по пустякам тревожиться о признании: еще не пора.

Он остался доволен строкой, которую только что сочинил, и в нахлынувшем воодушевлении снова взял портрет и водрузил его перед собою на стол. Заболели глаза, и он на миг прикрыл их правой рукой. Потом лизнул кончик указательного пальца и медленно провел им по поверхности картины — в том месте, где рядом с загадочным сидящим человеком были изображены четыре книги. Тут же в слое пыли, покрывавшей холст,

образовалась влажная полоса, и Чарльзу померещилось, что на книжных корешках проступили следы букв. Пытаясь разглядеть их, он облизал пыль с пальца.

— Папа!

— А?

— Что ты делаешь, папа?

— Поедаю прошлое.

— Что-что?

— Я занят расследованием.

— Ты можешь выйти сюда?

Чарльз вовсе не был недоволен тем, что его оторвали от работы, и с театральным жестом он поднялся с места и отодвинул ширму.

— Что случилось, Эдвард Непоседливый? — Он уже собирался подойти к сыну поближе, как вдруг входная дверь распахнулась, и в комнату вошла Вивьен Вичвуд. Чарльз застыл на месте и взглянул на жену почти застенчиво, а Эдвард выпалил:

— Привет, мама, — взял ее под руку и потянул было на кухню. Ему хотелось есть.

Но она отстранилась.

— Ну как движутся дела? — спокойно спросила она мужа.

— Так, идут потихоньку. — Неожиданно перед

ним возник образ этого тихого движения, причем сам он являлся его частью.

— Головная боль не возвращалась?

— Нет, я подарил ее Эдварду. Он собирается прихватить ее с собой в школу.

— Ну что за шутки такие, Чарльз! Ты и на смертном одре будешь шутить.

После рабочего дня она выглядела усталой, но все же не смогла сдержать улыбки, когда Чарльз, разыгрывая умирающего, повалился на диван, безжизненно свесив руку на ковер. Сверху растянулся Эдвард, и оба принялись тузить друг друга, пока Вивьен стояла и наблюдала за их игрой. Когда же она сняла пальто и прошла на кухню, они прекратили бороться. Эдвард включил телевизор и разлегся перед экраном, а Чарльз принялся топтаться на пороге кухни, наблюдая, как жена готовит ужин.

— Я заключил сегодня одну сделку, — выговорил он наконец.

Вивьен на миг закрыла глаза, опасаясь самого худшего.

— Ты продвинулся со своей работой, Чарльз?

— Я набрел на один портрет, за который, как знать, можно выручить большие деньги.

— Не забудь — к нам на ужин сегодня придет

Филип. — Вивьен яростно рубила морковку; она давно уже свыклась с его приступами воодушевления, которые, как правило, испарялись так же быстро, как и появлялись, — и все же ее сердило, когда они мешали ему сочинять.

— Он тратит наши деньги, мама, — прокричал Эдвард, заглушая звуки телевизора. — Это фальшивка!

Вивьен снова рассердилась, на этот раз уже на сына.

— Не смей говорить так об отце! Он работает изо всех сил!

Чарльз приблизился и тихонько обнял ее, как будто в защите нуждалась она, а не он.

— Почему бы тебе не взглянуть на него, Вив? Я думаю, тебе понравится.

Вздохнув, она последовала за ним в комнату. Он нырнул за ширму и тут же вынырнул, держа портрет перед собой, так что лицо его было спрятано за картиной.

— Вуаля![7] — голос его прозвучал немного приглушенно.

— Манжту![8] — откликнулся Эдвард. Это было

---

[7] Примечания: 7
Voila — Вот! (фр.).

[8] Примечания: 8
Mange-tout — спаржевая фасоль (фр.).

единственное французское слово, которое он знал.

Вивьен не выказала особого восторга.

— Кто это?

— Я не покупал его, — сказал Чарльз. — Я его выменял. Помнишь те книги про флейту?

— Но кто же это?

Из-за холста показалась голова Чарльза, и он в очередной раз воззрился на сидящую фигуру.

— Разве ты не видишь, какой у него умный взгляд? Я думаю, это какой-нибудь родственник.

Эдвард громко и гулко рассмеялся.

— Какой-то он неуловимый.

— Но правда ведь, в нем есть что-то знакомое? Я никак не могу нащупать…

— Ты же его щупал, папа. — Эдвард бросил притворяться, что смотрит телевизор. — Я сам видел.

Но Вивьен уже потеряла интерес к предмету разговора.

— Могу я посмотреть, что ты написал за сегодня? — спросила она, направляясь к рабочему столу Чарльза.

Но он, казалось, не расслышал ее.

— Я думаю, это какой-то великий писатель. Взгляни на книги, что лежат рядом с ним.

Вивьен же взглянула на одну-единственную строчку, которую Чарльз сочинил за день, и мягко проговорила:

— Дорогой, не расстраивайся, если не можешь писать каждый день. Как только пройдет твоя головная боль…

Чарльз неожиданно разозлился.

— Ты когда-нибудь прекратишь об этом говорить?

Вот уже несколько недель его мучили перемежающиеся головные боли, с потерей периферийного зрения в левом глазу. Он ходил ко врачу, и тот поставил диагноз — мигрень — и прописал болеутоляющие. Чарльзу этого было вполне достаточно, так как он считал, что назвать болезнь — это почти то же самое, что излечить ее.

— Я не болен! — Он подошел к окну и окинул взглядом ранневикторианские дома, тянувшиеся в ряд по другой стороне улицы. Вечернее солнце золотило поблекшую штукатурку на фасадах, и вся улица показалась ему вдруг чем-то эфемерным, лишенным глубины или объема, — всего лишь диорамой викторианской жизни, свитком холста, который развернули, чтобы создать иллюзию движущегося мира. Это было словно гнетущее сновидение, и он понял, что нужно

пробудиться, прежде чем оно полностью завладеет им.

— Прости, — сказал он, оборачиваясь. — Я совсем не хотел кричать.

Эдвард не сводил с него серьезного взгляда.

— Мы с тобой, Эдди, — продолжил он, желая побыстрее сменить предмет разговора, — как следует изучим эту картину. Мы раскроем ее тайну.

Эдвард поднялся с пола, взял за руки обоих родителей и воскликнул:

— Мы все вместе это сделаем!

Но такой оборот дела лишь удручил Вивьен, и она, тихонько высвободив руку и поцеловав сына в макушку, вновь удалилась на кухню.

— Скоро придет Филип, — сказала она. — Так что приготовьтесь-ка оба.

если это подлинник

Филип Слэк в нерешительности остановился посреди комнаты. Он знал Чарльза вот уже пятнадцать лет (они вместе учились в университете), но как будто до сих пор не был уверен в том, что его приходу здесь рады. Слегка склонив голову, он нервно запускал руки то в карманы пиджака, то в карманы брюк, хотя ничего в них не искал.

Эдвард на миг отвлекся от телевизора.

— А куда папа делся?

— Вино. — Заговорив с мальчиком, Филип опустил глаза, и в голосе его послышалось что-то замогильное. — Пошел открывать вино. — Он заходил в гости каждую неделю и всегда приносил с собой две бутылки. Он протягивал их с глуповатым видом, а Чарльз всякий раз удивлялся подарку.

Эдвард по-дружески улыбнулся ему.

— Филип, а можно я потрогаю твою бороду?

— Ну… — Он словно засомневался, как получше это устроить. — Ладно, потрогай. — Он слегка склонился, и Эдвард пребольно дернул его за бороду. Уф!

— Настоящая. — Мальчик явно был разочарован.

Тут с кухни возвратился Чарльз, неся откупоренные бутылки вина.

— Ты бы сел куда-нибудь, Филип. А то наш Эдди нервничает.

Филип прокашлялся.

— Сюда?

— Да куда хочешь. — Чарльз взмахнул бутылками и пролил немного вина на ковер. — Все, что мое — твое.

Филип осторожно осмотрелся, прежде чем выбрать свой привычный — самый неудобный

— стул, а Чарльз тем временем уже развалился на диване.

— Совсем заработался, дружище?

— Да, компьютеры. — Филип работал в публичной библиотеке.

— Расскажи мне, что это такое?

Филип уже привык к вечной беззаботности своего друга.

— Обучающие компьютеры. Да ты знаешь.

— Нет, не знаю. — Он развеселился. — Ты не поверишь, но я и правда не знаю. Уж такие мы, безработные. Мы, в сущности, мечтатели. Мы витаем в облаках. — Эдвард рассмеялся, слушая отца. — Ах, вот же, вспомнил. Я должен тебе кое-что показать. — Он спрыгнул с дивана, и Филип, вздрогнув от этого внезапного движения, сам приподнялся со стула. Эдвард, глядя на него, заулыбался. — Что ты об этом скажешь? — Чарльз появился, размахивая портретом, и поднес его почти к самому лицу Филипа.

— Что это?

— Я полагаю, это портрет. А ты, как полагаешь? — Он отступил на несколько шагов и принялся вертеть картину из стороны в сторону, так что это смахивало на заученные движения танцовщицы-стриптизерки. Филипу удавалось

сосредоточиться как следует только на глазах: казалось, они сохраняют неподвижность.

— Кто?

— В этом-то и загадка, Холмс. Стоит мне только ее разгадать, и я вмиг разбогатею! — В тот же миг в комнату вошла Вивьен с посудой, и Чарльз поспешил спрятать картину. Филип неуклюже поднялся, чтобы поздороваться с ней, и при этом залился краской. Он восхищался Вивьен; он восхищался ею за то, что она «спасает» Чарльза, как сам себе часто объяснял. В этом он был вполне прав: он знал, что ее стойкость защищает Чарльза точно так же, как ее присутствие успокаивает его самого. Целуя ее в щеку, он вдохнул теплый аромат духов.

Эдвард, требуя к себе внимания, дергал мать за край платья:

— Мам, не трогай его бороду. Она настоящая. И колется.

Через минуту они уже сидели за обеденным столиком, и Вивьен разливала суп.

— Это еще что? — поморщился Эдвард, глядя на то, как в его тарелку льется коричневая жидкость.

Чарльз рассмеялся, видя недоумение сына:

— Это маллигатони, Эдди. Суп старушки-вдовы

Туанкай,[9] сварен из маленьких мальчиков. Как знать, не угодил ли туда кто-нибудь из твоих приятелей.

— Перестань, Чарльз. — Вивьен нахмурилась. — Ему еще ужасы всякие будут сниться.

Эдвард смотрел то на отца, то на мать и хихикал. Чарльз что-то прошептал ему на ухо, и мальчик чуть не свалился на пол от хохота, так что Вивьен пришлось силой усаживать его за стол. Потом, по просьбе Вивьен, Филип начал сбивчиво рассказывать о своей работе — как уборщицы собрались было бастовать, как зашла речь о том, чтобы запретить кое-какие книги и газеты, оскорблявшие чувства его коллег с предубеждениями. Но Чарльз никогда особенно не интересовался тем, что творится у Филипа на работе, и поэтому, не обращая внимания на остывший суп, он принялся рассказывать сыну длинную и запутанную историю о привидениях. Закончив рассказ, он вскричал страшным голосом: "Вы все умрете!"

Воцарилось молчание. Вивьен убрала со стола, а затем принесла второе блюдо — бараньи отбивные — с гарниром из морковки и жаре-

---

[9] Примечания: 9
Вдова Туанкай — английский сказочный персонаж.

ной картошки. Теперь Чарльз с Филипом, как у них частенько водилось, принялись обсуждать сверстников, которых знали по университетским годам. Они обменивались свежими новостями об иных незадачливых или невезучих знакомых, но то сочувствие, которое оба на деле к ним испытывали, оставалось почти невысказанным. До знакомства с Чарльзом Вивьен работала секретаршей, и на первых порах ее удивляла такая сдержанность; теперь же она воспринимала их привычное немногословие как должное. О своих удачливых сверстниках они говорили и того меньше, а если и говорили, то с необычайной осторожностью, граничившей с нерешительностью, — как если бы оба сознавали опасность показаться завистниками. Прежде, бывало, Чарльз проводил немало приятных часов вместе с Филипом, пародируя или добродушно высмеивая сочинения молодых писателей, в которых не находил ни капли таланта. Но в последние годы он прекратил подобные забавы.

Филип, уже несколько раскрепостившись благодаря выпитому, сообщил:

— Вышел новый Флинт.

Чарльз встретил новость с неожиданным вниманием, и Филип посмотрел в тарелку.

— Это роман, — добавил он более осторожно.

— Как называется?

— Тем временем. — Филип не знал, улыбнуться ему или нет, и, ища подсказки, поднял глаза на Чарльза.

— О, это так модно. Так современно. Я бы даже сказал, живописно. Чарльз подражал переливчатым интонациям Эндрю Флинта: ему они были хорошо известны, поскольку в университетскую пору они с Флинтом дружили. Тогда ему даже нравилось флинтовское сочетание велеречия и острословия. Теперь же он не преминул добавить:

— Жаль, что писатель он никудышный.

— Да. — Филип всегда считался с мнением Чарльза в таких вопросах, но все же решился на маленькое уточнение: — Странно, но его ведь раскупают.

— Да мало ли кого раскупают, Филип. Раскупают кого угодно.

Вивьен и Эдвард, которым надоело слушать этот разговор, стали уносить посуду на кухню. Темнело, и, когда беседа вдруг смолкла, Чарльз Вичвуд услышал звон убираемой посуды в других комнатах, чьи-то голоса и смех в соседних квартирах. На миг ему показалось, что все остальные жильцы дома просто назойливые чужаки, какие-

то уродливые образы, родившиеся в посторонней голове.

— Я ненавижу этот дом, — сказал он Филипу. Сумерки уже сгустились, и оба, очутившись в тени, не двигаясь, смотрели друг на друга. — Но что же поделать? Куда нам еще податься? Где еще нам по карману поселиться?

В комнату возвратилась Вивьен, и, как только она зажгла свет, Чарльз снова повеселел.

— Почему бы тебе не поместить в свою библиотеку мою книжку? — вдруг спросил он Филипа. — Тогда я мог бы взять общественную ссуду.

— Недурная мысль.

Филип помешивал ложкой десерт из ревеня, который поставила перед ним Вивьен. Он знал, что под «книжкой» Чарльз разумеет свои стихи, которые они с Вивьен размножили на ксероксе, скрепили и отнесли в несколько книжных магазинов. Насколько Филипу было известно, они до сих пор пылились там на полках. Вивьен почувствовала смущение Филипа и поспешно предложила ему еще взбитых сливок к ревеню, а затем они заговорили о другом. Хотя ни Чарльз, ни Филип не приписывали университету каких-либо особенных достоинств (скорее наоборот), от Вивьен все же не могло укрыться, что — по

крайней мере, когда друзья говорили между собой, — их отзывы о своей жизни после студенческих лет были куда более сдержанными и вялыми. Казалось, годы, истекшие с той поры, — всего лишь вешки в какой-то игре, лишенные подлинной значимости, а порой и всякого смысла. О событиях недавнего времени оба говорили как-то вскользь, лишь отдельными фразами или незаконченными предложениями, как если бы они не заслуживали серьезного внимания. Вот и теперь, поглощая ревень со сливками, они всё спрашивали себя, что же сталось с их жизнью.

— Скроуп, — наконец тихо произнес Филип, вглядываясь в свои брюки, куда ускользнула полоска ревеня.

— Что? — рассеянно переспросил Чарльз.

— Ты иногда видишься с Хэрриет Скроуп?

Вивьен подалась к мужу:

— Вот кто помог бы тебе напечататься.

Чарльз был заметно раздосадован.

— Мне не нужна ничья помощь! — сказал он, а потом добавил: — Я уже напечатался.

Хэрриет Скроуп была романисткой довольно-таки преклонных лет, у которой Чарльз недолгое время проработал личным секретарем. Он оказался не самым аккуратным и умелым

помощником, и спустя полгода они расстались, впрочем, вполне по-дружески. Это было четыре года назад, но Чарльз до сих пор отзывался о ней с сердечной теплотой — разумеется, когда вообще вспоминал о ее существовании. Его гнев быстро улегся.

— Интересно, как там поживает старушка, — произнес он. — Интересно… — Он собирался сказать что-то еще, но тут в комнату ворвался Эдвард, уже в пижаме, и пустился в пляс вокруг стула, на котором сидел отец.

— А как же сказка? — канючил он. — Уже поздно!

Вивьен уже собиралась оттащить его от стола и унести, но Чарльз остановил ее.

— Нет, — сказал он, — ему правда нужна сказка. Сказки нужны всем.

И отец с сыном гуськом прошагали в спальню, оставив Вивьен с Филипом одних. Филип слегка прокашлялся; сдвинул пустую тарелку на дюйм вправо, затем передвинул на прежнее место; взгляд его блуждал по комнате, избегая Вивьен. Наконец он заметил портрет, который Чарльз оставил у письменного стола.

— Любопытно, — сказал он вслух, — любопытно, кто же это? Можно? — Он быстро поднялся

из-за стола и подошел к картине.

это он

Чарльз обожал рассказывать сыну сказки. Стоило ему только присесть на краешек узкой детской кроватки, как слова начинали литься сами собой. Это были не слова из его стихов — ясные и точные, а совсем другие — яркие, сочные, вкусные, необычные; он называл их своими «сказочными» словами. И в этот вечер он тихонько беседовал с Эдвардом, сотворяя мир, где под лиловыми небесами катались по полям огромные кролики, где статуи двигались, как живые, а вода умела говорить, где за гигантскими деревьями щерились большие камни. В этом мире дети жили себе век за веком и не взрослели, обещая позабыть родные края…

Эдвард уже уснул. Но Чарльз все еще сидел подле него, наблюдая, как медленно тускнеет созданное им видение.

Когда он наконец возвратился в гостиную, Филип разглядывал лицо изображенного на портрете.

— Чаттертон, — произнес он.

— Прости. Я был за тридевять земель.

Филип обернулся, и глаза его ярко блестели.

— Это Томас Чаттертон.

Чарльз все еще грезил о той дальней стране.

— "О мальчик дивный, — проговорил он машинально, — в гордости погибший..."[10]

— Вглядись в этот высокий лоб и эти глаза. — Филип проявлял непривычную настойчивость. — Ты не помнишь мою картину?

Чарльз смутно припоминал репродукцию портрета, изображавшего Чаттертона в юности, которая висела в квартирке Филипа,

— Но разве он не умер совсем маленьким?.. То есть совсем молодым? — Он бросил почти извиняющийся взгляд на Вивьен, но та углубилась в вечернюю газету. — Разве он не покончил с собой?

— В самом деле? — Филип загадочно посмотрел на свои ботинки.

— Ну, раз ты мне не веришь. — Чарльз устремился к книжному шкафу и снял с полки увесистый том. Найдя нужное место, он зачитал вслух: — "Томас Чаттертон, имитатор средневековой поэзии и, пожалуй, величайший литературный мистификатор всех времен. Родился в 1752 году, покончил с собой в 1770 году" — Чарльз звучно захлопнул книгу.

---

[10] Примечания: 10

Немного измененная цитата из стихотворения Вордсворта Решимость и свобода, строфа VII: "Tee marvellous boy... teat periseed in eis pride..."

— Все равно это он.

— Ах, скажи-ка на милость. Чертовски занимательно. — Оба происходили из бедных лондонских семей, и порой Чарльз развлекал Филипа, уморительно пародируя выговор "высших сословий".

Но сегодня Филипа развлечь не удавалось.

— Нет, кроме шуток, это он.

Видя, сколь серьезно настроен его друг, Чарльз взглянул на портрет и принялся раздумывать, а не кроется ли за этой догадкой истина.

— Я ведь говорил, в нем есть что-то знакомое, — правда, Вив?

Она лишь кивнула, не отрываясь от газеты. Пока Чарльз говорил, его скептицизм сам собой улетучивался:

— Быть может, это и впрямь он... Как знать? — И вдруг, с внезапным волнением, он воскликнул: — Посмотри на книги, что лежат рядом с ним! Может, они нам подскажут!

Филип приблизил к ним внимательный взгляд, как если бы усилием воли ему удалось проникнуть сквозь наслоения пыли и грязи, за долгие годы въевшихся в холст.

Пока оба предавались этому сосредоточенному созерцанию, Вивьен незаметно поднялась и ушла

на кухню, унося остатки посуды. Она понимала, что картина для Чарльза — лишний повод уклониться от работы, и это тревожило ее, поскольку она верила в его поэзию не меньше, чем он сам. Они познакомились лет двенадцать назад на вечеринке, и уже тогда Вивьен почувствовала, что он человек необычный; и это первое впечатление с годами не изгладилось из ее памяти. Уже тогда он рассмешил ее, но пока он шутил и дурачился, она сумела разглядеть, насколько он беззащитен. Вскоре она вышла за него замуж — прежде всего, для того, чтобы оградить его от мира. Она прикрыла за собой кухонную дверь, но их взволнованные голоса все равно долетали до нее. Затем вбежал Чарльз и попросил у нее теплой воды и какую-нибудь тряпицу.

Когда он вернулся в комнату, Филип уже положил картину на пол. Чарльз медленно провел влажной тканью по поверхности холста: и вдруг то, что прежде выглядело как тень — быть может, от некоего предмета, оставшегося вне поля зрения художника, — оказалось просто-напросто скоплением грязи и пыли, которое теперь легко удалялось. Цвет портьер, висевших за спиной изображенного, стал насыщенней, а очертания их складок — отчетливей. Казалось, эти чистые

цвета и линии возникают от прикосновения руки Чарльза, словно он в эту минуту сам становится художником — и словно последние штрихи к портрету наносятся прямо сейчас.

— Еще вот тут, — Филип указывал на темноватые буквы, проступившие в правом верхнем углу. — Ну, теперь можешь их прочесть?

Чарльз приблизил лицо к картине, так что его дыхание согревало холст, и прошептал:

— "Pinxit[11] Джордж Стед. 1802 год". — Он нетерпеливо проехался тряпкой по остальной части картины и начал пристально вглядываться в изображение четырех книг. Теперь, когда краски обрели непривычную яркость, казалось, корешки сверкают как новенькие. Наконец четко проступили названия, и он вслух зачитал их Филипу: это были Кью-Гарденз, Месть, Элла и Вала.

Филип разлегся на полу и уставился в потолок, а потом заболтал ногами в воздухе, как будто оседлав вверх тормашками невидимый велосипед.

— Ну? — Чарльз смотрел на него в изумлении.

— Книги те самые, — произнес Филип куда-то вверх.

— Что?

---

[11] Примечания: 11
Нарисовал (лат.).

— Это сочинения Чаттертона. — Казалось, он смеялся над каким-то забавным зрелищем, которое разворачивалось на потолке.

Чарльз быстро встал и снова полез за справочником, куда заглядывал несколько минут назад. Читая вслух, он сам заметил, как дрожат его руки:

— "Томас Чаттертон закончил свою псевдосредневековую поэму Вала за несколько дней до самоубийства. Однако некоторые считают, что его последним сочинением был фарс под названием Месть". — Он приблизился к Филипу и тихонько поднял его на ноги. — Если он родился, — сказал он, — то есть, если это правда. Если он родился в 1752 году, а портрет был написан в 1802 году, то здесь ему должно быть около пятидесяти. — И еще раз поглядел на пожилого мужчину, изображенного на полотне.

— Продолжай.

— А это значит — а это значит, — что Чаттертон не умирал. — Чарльз умолк, пытаясь собраться с мыслями. — Он продолжал писать.

Голос Филипа снова стал совсем тихим:

— Так что же произошло.

Он не договорил своего вопроса, но Чарльз уже понял, куда тот клонит. Тут-то ему и раскрылась

истина.

— Он сфальсифицировал собственную смерть.

В этот миг зазвонил телефон, и оба в панике вцепились друг в друга. Затем Чарльз рассмеялся, и, будучи в веселейшем расположении духа, проворковал в трубку:

— Как поживаете, сэр? Я как раз ждал вашего звонка. — Но его воодушевление быстро пропало, а когда Вивьен заглянула справиться, кто звонит, он прикрыл ладонью трубку и прошептал: — Хэрриет Скроуп. — Беседуя с Хэрриет, он исполнял на ковре бесшумный танец, слегка согнув ноги в коленях и семеня крошечными шажками то взад, то вперед. — Хочет меня увидеть, — сообщил он Вивьен, положив трубку.

— Зачем?

— А этого она, собственно, не сказала.

Да его это и не очень занимало: он отвлекся лишь ненадолго, а теперь его воодушевление снова вернулось. Он приобнял Филипа за плечи, и они вместе поглядели в глаза Томасу Чаттертону.

— О да, — вымолвил наконец Чарльз, — если это подлинник, это он.

2

Хэрриет Скроуп была не в духе. Она ерзала на своем ветхом плетеном стуле, и ивовые прутья кололи спину и ягодицы. Это причиняло массу неудобств, но она привыкла именно к такого рода неудобству, а сейчас оно даже доставляло ей некоторое удовольствие. "Что-то Матушке не по себе", произнесла она. Потом она откинулась на спинку стула и с отвращением обвела взглядом комнату: фотографии в рамках над камином, по бокам два стола из темного дуба, обтянутый голубым шелком диван, репродукции Хогарта[12] на стене, ультрамариновый ковер с длинным ворсом от Питера Джонса, телевизор «Сони», экземпляр джонсоновского словаря,[13] служивший постаментом для посмертной маски Джона Китса, которая была воспроизведена в ограниченном количестве копий. «Когда я умру, — подумала

[12] Примечания: 12
Уильям Хогарт (1697–1764) — знаменитый английский художник.

[13] Примечания: 13
Сэмюэль Джонсон (1709–1784) — английский поэт, критик и лексикограф. Его знаменитый двухтомный Словарь английского языка, вышедший в свет в 1755 году, еще в течение столетия продолжал служить основой для всех прочих английских словарей.

Хэрриет, — когда я умру, всё это растащат», — и попыталась представить, как эти предметы будут существовать в чужих домах после ее смерти. И чем больше она предавалась таким мыслям, тем больше ей казалось, что ее в этой комнате уже нет…

Очнувшись, она взглянула на своего кота, который, свернувшись клубком, дремал на нижней полке книжного шкафа. Он тут же встревоженно приоткрыл один глаз. "Матушке осточертело все это, — сказала она. — Пусть бы все это сгорело". А заодно сгорела бы и вся ее жизнь, исчезнув в ярком пламени, колеблющем воздух.

Тут дверь приотворилась, и Хэрриет замерла. Показалась рука, затем лоб, затем пара глаз, а затем послышался тонкий голосок:

— Ах, мисс Скроуп, я, собственно, думала, что вы спите. — Это была Мэри, новая помощница Хэрриет.

Та поднялась со стула с видом чрезвычайного достоинства.

— Я не храпела. Я разговаривала с мистером Гаскеллом.

— Мне очень жаль…

Хэрриет скрестила руки на груди.

— Жалеть тут не о чем. Ведь меня же не изна-

силовали, а в рот не забили чулок — не правда ли, дорогуша?

Мэри сочла, что та обращается к коту, и сочувственно улыбнулась ему, входя в комнату.

— Вам бы, собственно, чего-нибудь хотелось, Хэрриет?

Хэрриет поморщилась: она разрешила этой молодой женщине звать ее просто по имени, но теперь раскаялась в этом. В ее слабеющем сознании мелькнула мысль о том, что было бы неплохо раздеть эту нахалку до белья и как следует выпороть. Она благодушно улыбнулась:

— Нет, дорогая, благодарствую. Я полностью одета и довольна жизнью. Она нагнулась и потрепала мистера Гаскелла за рваное левое ухо. — Ведь Матушка весела как никогда, правда?

Неожиданный порыв ветра, ворвавшийся из-за растворенной двери, заставил затрепетать ноздри Хэрриет, и она в тревоге обернулась к Мэри:

— Что это за запах такой в комнате, а? — Она встала на четвереньки и принялась обнюхивать ковер. Мэри на секунду опешила, но потом в порыве доброхотства тоже опустилась на колени и понюхала воздух в нескольких подозрительных углах. Ей казалось, что она уже научилась понимать свою работодательницу, и она воз-

намерилась не удивляться ни ее словам, ни поступкам. Она прочла все ее романы, которые в разговорах с друзьями характеризовала как "занимательные, собственно", хотя втайне ужасалась иным особенностям фантазии Хэрриет.

Так они ползали гуськом по ковру, пока не столкнулись задами. Хэрриет сердито взглянула на помощницу.

— Что тебе вздумалось делать с моей задницей? Тут не позволено шарить никому, кроме меня. — Мэри неловко поднялась, по-прежнему умудряясь улыбаться Хэрриет, которая теперь пробовала на вкус клочок ворса, отставший от ковра. Она решила сохранять на лице эту улыбку до тех пор, пока Хэрриет не встанет и не увидит ее: Мэри хотелось показать ей, как она ею очарована и покорена. Наконец Хэрриет поднялась и пробормотала:

— Должно быть, просто померещилось. Мне в последнее время много всего мерещится.

Она с облегчением обернулась к Мэри:

— Ну что, может, послушаем музыку? — и подмигнула. — Вы, молодые, всё знаете про пищу любви, разве не правда? — Она нажала на кнопку своего переносного радиоприемника «Грюндиг», и тут же комнату наводнили звуки популярной

мелодии. — Мистер Гаскелл! — проговорила она с мягким укором как будто это кот злонамеренно включил не тот канал, — и, вытянув руки, попыталась схватить его, но кот с мяуканьем выбежал из комнаты. — Засранец! — прокричала она, глядя, как животное скрывается за дверью. Затем она с нарочитым видом настроила движок на радиостанцию классической музыки, и некоторое время они молча внимали песенному циклу Шумана. Хотя музыка чаровала романтической гармонией, а в песне что-то говорилось о пропавшем попугае, — лицо Хэрриет принимало все более каменное выражение. Она рассеянно протянула руку, чтобы погладить кота, но нащупала лишь воздух. Но и это, казалось, несколько утешило ее. — Что же Матушке делать? пробормотала она в пустоту. — Как ей следует быть?

Мэри, всегда готовая хоть как-то отозваться, решила, что на сей раз Хэрриет обращается к ней.

— С запахом, вы хотите сказать?

Казалось, Хэрриет не расслышала. Она резко выключила радио — как раз в тот миг, когда попугай уже должен был возвратиться с детской туфелькой в клюве.

— Ты допечатала мои записи, милая?

Наконец Мэри поняла, о чем говорит Хэрриет,

и немедленно оживилась.

— Да, конечно. И мне представляется… — На протяжении последнего месяца Мэри Уилсон ежедневно усаживалась с магнитофоном, помещавшимся как-то неловко и шатко у нее на коленях (она пыталась было показать, что ничего не смыслит в технике и прочих современных хитростях, но одного взгляда Хэрриет оказалось достаточно, чтобы разубедить Мэри в том, что это возвысит ее в глазах нанимательницы), пока Хэрриет вслух — громким, хотя порой и дрожащим голосом, — вспоминала о своем литературном прошлом. Лягут ли эти воспоминания в основу автобиографии, которую как-то в минуту уныния предложил ей написать ее издатель, или превратятся в какой-нибудь дневник, — Хэрриет еще предстояло решить. Разумеется, если вообще зайдет речь о таком решении.

— И мне представляется…

— Да-да? И что же тебе представля-ается?

Мэри не обратила внимания на тон Хэрриет. Она лишь недавно закончила изучать английскую литературу в Оксфорде, и ей не терпелось выказать премудрость, приобретенную на университетских занятиях.

— Мне представляется, что они крайне неверно

истолковали модернизм.

— Кто же эти они, дорогая, позволь полюбопытствовать? — Хэрриет все время придиралась к этому местоимению, говоря, что в подобном значении оно "плоско как доска".

Мэри запнулась.

— Ну, академики, которые дали ложную оценку... — Она сама толком не знала, что собирается сказать, и Хэрриет прервала ее:

— Так значит, тебе известно — что правда, а что ложь? — Мэри слегка зарделась, и Хэрриет смягчилась. И заговорила тем голоском «домохозяйки-кокни», который она нередко имитировала в порядке «шутки» еще с пятидесятых годов. — Таки скушай себе пирожнецо, и порядок! Эй ты, ты чё тут вздумал? — Последняя фраза была адресована мистеру Гаскеллу, который пулей влетел в комнату и внезапно замер перед стулом Хэрриет. — Чего тебя тыгда трывожит? А-га-а, знаю-знаю. Знаю-знаю. — И, продолжая бормотать эту литанию себе под нос, Хэрриет поднялась и направилась к небольшому алькову в углу комнаты, где смутно виднелись ряды бутылок. Она налила себе джина, но прежде спросила у Мэри: — Жылаешь чего, цветик мой? — Мэри с благодарностью отклонила предложение. — Ну

вот и славно, девочка моя. — Она вернулась с порцией джина и, заново устроившись в своем неудобном плетеном стуле, взяла серебряную чайную ложечку, лежавшую на столе сбоку. Затем она принялась прихлебывать джин с ложки: она свято верила, что соприкосновение алкоголя с металлом, а также малые (пусть и частые) дозы, никогда не дадут ей опьянеть. Однако таковая теория еще не обрела научного подтверждения, и бывало, что в "тихий час" — когда, по утверждению Хэрриет, ей было необходимо "задрать лапы кверху", — до Мэри долетали слова какого-нибудь известного стихотворения, которые та заунывно напевала. Хэрриет взирала на Мэри поверх края ложечки. — Ну, теперь, когда ты их отпечатала, я надеюсь, тебе захочется привести их в порядок.

— Простите?

— Мои заметки. — Она на миг помедлила. — Собственно.

Мэри явно не понимала, о чем речь.

— Я купила для них папку…

Хэрриет звучно расхохоталась, и вновь в ее воображении мелькнула дивная картина: как ее помощницу хлещут кнутом у нее на глазах.

— А я-то надеялась получить от вас помощь посущественнее, мисс Уилсон. — Видимо, она по-

жалела, что внезапно перешла на официальный тон. — Знаешь ли, просто чтоб сберечь мне время. Ведь, в конце концов, время былое есть время грядущее — не так ли, милочка? — Тут она скорчила страшную рожу коту, растянув пальцами рот до ушей, а потом возобновила беседу. — Разве я ничего не рассказывала тебе о Томе Элиоте, о том, как он танцевал со мной у себя в "Фабере"?[14] — Мэри кивнула, хотя теперь она уже с тревогой недоумевала, куда клонит ее работодательница. — Он был ко мне так добр… — говорила Хэрриет; в действительности, ее воспоминания о поэте были весьма скудны, да к тому же она вовсе не была уверена, что тот знал, кто она такая. Мэри изобразила на лице почтение и замерла в ожидании, пока ее нанимательница четырежды отхлебнула джина — ложку за ложкой. — Так отчего бы тебе не увязать милягу Тома с теми кусочками про Фицровию? — Она слизнула с верхней губы капельку зелья. — Ну знаешь, какая-то связь ведь должна быть. Я же не могу сама обо всем помнить. — Она снова направилась к алькову и наполнила стакан; мистер Гаскелл последовал за ней и принялся щекотать ей ноги

---

[14] Примечания: 14
Британское издательство "Фабер и Фабер", где работал Т.С. Элиот.

хвостом, пока она стояла перед строем бутылок. Тогда Хэрриет наклонилась плеснуть чуть-чуть джина в кошачье блюдечко, оставленное там на полу. Выпрямилась она с трудом. — Я не могу сама. Просто не могу.

— Не можете расправиться, да?

— Нет, мисс Уилсон. Подняться-то я всегда сумею. Я как Лазарь — уж хотя бы в этом смысле. — Она рассталась со стаканом, пересекла комнату и склонилась над Мэри; она подошла к своей помощнице так близко, что та ощутила сладкую примесь алкоголя в ее дыхании. — Я не могу сама писать о прошлом. Руки у Матушки связаны — разве не видишь? — Она вытянула перед собой руки, положив одну на другую так, словно они были накрепко перехвачены веревкой. Мэри взглянула на них с ужасом, а Хэрриет тем временем изучала буроватые пятна на своей морщинистой увядшей коже. — Ведь столько приходится скрывать, — произнесла она.

Мэри встревожилась.

— Но я тоже этого не могу!

— Не можешь чего?

— Не могу писать за вас. Не могу же я выдумывать.

Хэрриет принялась гладить ее по голове.

— Но разве ты не знала? Ведь всё на свете выдумано.

о чем мы не можем говорить

Как только Мэри ушла, бесшумно затворив за собой парадную дверь дома, Хэрриет вскочила с места и, включив приемник, снова нашла радиостанцию с поп-музыкой. Комната содрогалась от шума, кот в испуге отпрянул, а она во внезапном порыве энергии стала подпрыгивать и кружиться. Остановилась она так же резко, как и завелась, уставившись в зеркало с рамой из золоченой бронзы над камином. "Слушай, — обратилась она к своему отражению, повторяя слова из песни, — я расскажу тебе один секрет".

Она выключила радио и, сняв телефонную трубку, неторопливо набрала номер. Как только раздались гудки, она принялась говорить в пустоту: "Нет, мисс Уилсон, я подпишу этот документ попозже". Каждый раз, когда она бралась за телефон, ей хотелось создать впечатление, будто она по горло занята спешными делами. "Алло, милочка, это ты?" На сей раз она обращалась уже к живому человеку — к своей ближайшей подруге Саре Тилт. "Ну как, тебе получше? Надеюсь, есть какое-то движение в недрах? Прекрасно. Наконец-то. Послушай, милочка, Матушка на-

мечает небольшую вылазку". Наступила пауза. "Да, это довольно-таки важно". Она состроила гримасу мистеру Гаскеллу и прошептала ему: "Не проболтайся!" Затем она прислушалась к голосу подруги, в котором звучало всё большее нетерпение. "Что ты сказала, дорогая? Нет, я ненадолго". Она положила трубку, шлепнула по ней и проворчала: "Сучка!"

Выйдя из дома, она сразу же почувствовала прилив воодушевления. Она жила на маленькой улочке вблизи Брайенстон-Сквер — в районе рядом с Мраморной Аркой, который она настойчиво продолжала звать Стукконией или находясь в особенно игривом настроении — Тайбернией.[15] Ей доставляло особое удовольствие показывать посетителям небольшую памятную табличку на том месте, где некогда стояла виселица: «Когда-то вешали за шестипенсовик, любила повторять она, — а теперь и монеты такой не существует! Странные штуки проделывает с нашими кошельками история».

Но сегодня она направлялась в сторону Бейсуотера, где жила Сара Тилт. Невзирая на многочисленные свидетельства в пользу противного,

---

[15] Примечания: 15

Тайберния (Tyburnia) — фешенебельный район Лондона; Тайберн (Tybern) — историческое место публичных казней, "лобное место".

Хэрриет все еще полагала, будто ходьба «успокаивает» ее, а нечто вроде форсированного марша помогает ей "обмозговать дела". Совершая такие долгие и хаотичные прогулки, она успела заново окрестить все знакомые улицы в окрестностях, и вот теперь она шагала по Долине Костей, через Рай Потаскушек и по Бульвару Разбитых Грез. Вступив в Долину Костей (названную так из-за сверкающих белых фасадов георгианских особняков), она начала раздумывать о своем бесплодном разговоре с Мэри. Разумеется, Хэрриет не могла написать обо всем сама. Если бы она рассказала правду и описала подлинную историю своей жизни, если бы она раскрыла то, что даже наедине с собой называла своим «секретом», то против нее поднялась бы волна возмущения, несущая возмездие и очищение, которая (здесь у нее не было сомнений) привела бы к ее смерти… И она задрожала от предвкушения скандала, проходя по Бульвару Разбитых Грез (место, где собирались гомосексуалы), а там повернула в Рай Потаскушек.

Здесь она немедленно насторожилась, высматривая какие-либо признаки «действия», как она обычно выражалась в беседе с Сарой Тилт, — но был слишком ранний час, так что никаких следов

деятельности проституток, облюбовавших эту улицу, пока не наблюдалось; Хэрриет же с раздражением стала припоминать, о чем она только что думала. Но долго предаваться размышлениям она все равно не могла: что-то ей мешало, заставляя переключать внимание с себя самой и устремлять его в совсем ином направлении. Ей лишь на краткие мгновенья удавалось погружаться в себя, а затем начиналось обратное движение, и ее словно выбрасывало снова во внешний мир: это напоминало ощущение при падении.

Меховая шляпка сползла ей на уголок левого глаза, и она со вздохом водворила ее на прежнее место, мимоходом погладив чучело птички, пришпиленное к тулье; теперь, когда оба глаза снова были во всеоружии, она огляделась по сторонам с удвоенным интересом. По Раю Потаскушек шагал слепой; он неуверенно остановился в нескольких ярдах от нее и принялся тыкать вокруг себя палкой, словно очерчивая круг. "Чего тебе не хватает, старичок, так это сценических огней", — сказала она себе. И, быстро подойдя к слепцу, снова заговорила с экстравагантным выговором кокни:

— Те помочь, дружище? Я и сама пиньсинерка.

— Мне нужен Почтамт.

— Как раз сама туды иду, — сказала она. —

Держися за мене. — Слепец позволил Хэрриет вцепиться в себя, хотя ей показалось, что он не испытывает особой благодарности. Правда, его лицо оставалось совершенно бесстрастным, и на миг она с испугом всмотрелась в его белые вывороченные глаза. А вдруг он все-таки видит ее… — Где ж твоя псина?

— Она заболела. — Слепой вытягивал вперед свою палочку, как будто он все еще продолжал идти в одиночку. — Она очень стара.

Несколько шагов они прошли в молчании.

— Я ж и сама однажды ослепла, веришь ли. Эти, как их, катаракты выскочили. — Хэрриет обожала выдумывать про себя всякие небылицы. — Я прям-таки испужалась тыгда.

— Но сейчас все в порядке?

— Никогда не знаешь, что еще впереди.

— Не всё так плохо, — ответил он. — Чем меньше видишь, тем больше можешь себе вообразить. — Улыбнувшись, он искоса обратил к ней лицо, и она вздрогнула. — Ведь вы, верно, думаете, что мне ничего не известно про цвета, правда?

— Ну дак откудова ж мне знать.

— А мне известно. У меня все эти цвета — в голове.

— Да ну?

— Иногда, — прибавил он, — лучше вовсе не видеть.

Они снова немного помолчали, и Хэрриет прижалась к нему покрепче, как будто это ей требовалась направляющая поддержка.

— Чуешь меховушку? — наконец спросила она, кладя руку слепого на свою шубу. — Ух и дорогушчая была! А еще, — прибавила она, разоткровенничавшись, — у меня и шляпка такая есть. Жаль, не видать тебе — а уж стоила-то целую прорву, как пить дать. — Она явно наслаждалась своей новой ролью. — Когда мой старичок отошел, мне маленько и перепало. Он у меня таксидермистом был. Небось, не слыхал про таксидермию? Это когда чучелей набивают всякими там штучками-дрючками.

Старик кивнул, но, как показалось Хэрриет, ему было как-то не по себе. Может, он по тону голоса догадался, что она морочит ему голову? Затем ей подумалось: как странно смотреть на человека, который не способен на ответный взгляд. Ужас слепоты — не в самой незрячести, а в том, что не знаешь — когда за тобой наблюдают.

— Скажи-ка, — произнесла она, — а как ты грязью-то не зарастаешь?

— Я моюсь, — резко отвечал тот, — как и все остальные.

— Да-да, но откуда ж те знать... — Она хотела спросить, откуда он знает, что делают все остальные, — но, вглядываясь в его обиженное настороженное лицо, она начала погружаться во тьму, окружавшую его. Она начала воображать его жизнь, чувствуя, как спотыкается и падает, и поэтому вдруг отпрянула. — Ну вот, дружище, — сказала она весело, — те тут чуток исчо направо. Удачного денька, лапуля.

Она повернулась прочь и на миг, закрыв глаза, ослепла.

о том мы должны молчать

Хэррие с нарочитой застенчивостью застыла в коридоре, когда Сара Тилт открыла дверь. Они поцеловали друг друга в щеку, а потом Сара попятилась.

— Я смотрю, — сказала она, — ты в своей гвардейской форме.

И в самом деле, меховая шляпка Хэррие, снова соскользнувшая ей на брови, отчасти напоминала кивер.[16]

— Я думала, что, если оденусь в меха, ты меня

---

[16] Примечания: 16
Меховой кивер (bearskin) — головной убор английских гвардейцев.

простишь. — Сара ничего не поняла из этого замечания, но непоследовательность подруги была ей хорошо знакома. — А выглядишь ты вроде неплохо, — добавила Хэрриет.

— Всякий раз, как это слышу, я начинаю паниковать.

— Ну что ж, давай. Паникуй.

Она прошла через прихожую в гостиную.

Сара последовала за ней, показывая язык запрятанной в меха спине старой приятельницы, и затем спросила, не желает ли та кофейку? Она нетерпеливо дожидалась, пока на лице Хэрриет не появится разочарованное выражение, которое (она знала) та была не способна замаскировать, а потом продолжала:

— Или тебе чего-нибудь с ложечкой?

Хэрриет хихикнула и подняла указательный палец:

— Самую малость, дорогая. Плесни Матушке джина, пока у ней еще хватает сил глотать.

— А у меня хватает сил смотреть на это.

Хэрриет не расслышала последнего замечания, произнесенного в сторону. Она успела снять свою меховую шляпку, приподняв ее над головой обеими руками, как будто изображая некую церемонию разоблачения из седой древности; а

просторная шуба потребовала гораздо больших усилий, так что Хэрриет пришлось проделать целый комплекс движений, прежде чем она сумела освободиться от нее.

— Отделалась? — Сара разглядывала дорогое одеяние с некоторой враждебностью.

— Не отделалась, дорогая, а только отделилась. — Хэрриет взяла стакан с джином и серебряную ложечку, которые протягивала ей Сара, и, медленно заглатывая свою первую крошечную порцию, принялась оглядывать комнату. Знаешь, — снова заговорила она, — это все время напоминает мне кабинет психиатра. Разумеется, я никогда не была у психиатра. Терпеть не могу, когда лезут в душу.

Квартира Сары была обставлена в современном «функциональном» стиле, который, наряду с ее коллекцией живописи в русле абстрактной традиции пятидесятых, придавал комнате несколько холодноватый вид. Хэрриет в углу вдруг стала опускать нижнюю половину тела, и на какой-то кошмарный миг Саре пришло на ум, что она собирается там облегчиться.

— На что это, — спросила Хэрриет, — я сейчас опускаюсь? — Предмет, о котором шла речь, напоминал доску, перепиленную пополам и во-

друженную на бочонок с маслом.

— Это называется стул.

— А почему он черный? Я не люблю сидеть на черных штуках.

— А как же тогда твой кот?

— Ну, исключение подтверждает правило.

Сара оставила без внимания последнее замечание подруги.

— Этот стул хорошо подходит для твоей позы, хотя Бог весть…

Хэрриет прервала ее:

— Но совсем не подходит для платья шанель, не правда ли?

Сара с неодобрением оглядела ее некогда «шикарную» красную юбку.

— Конечно, не подходит, если оно давно превратилось в клочья. — А затем прибавила, уже не в силах удержаться от улыбки: — Тебя как будто собаки рвали.

— У-у, ням-ням. Как насчет чая? — Обе женщины рассмеялись, а потом глубоко вздохнули.

— Ну, — сказала Хэрриет, уже усевшись на стул, — давай же будем веселы и искрометны. Спроси-ка, что я делала все это время?

— У меня не хватит смелости.

— Ну-ну. Давай спрашивай.

Но Сара решила, что голыми руками ее не возьмешь.

— Съешь-ка лучше банан, моя дорогая. Ведь ты же слывешь "королевой романа", в конце концов. — Такой титул Сара присвоила ей много лет назад, хотя романы Хэрриет обычно считались весьма мрачными — и даже жуткими.

Хэрриет взглянула на блюдо с фруктами.

— Откуда они взялись? Из "третьего мира"?

Последнюю фразу она произнесла с отвращением.

— Я не знаю, откуда они взялись, — ответила Сара. — Зато я знаю, куда они деваются. — И, взяв банан, она сняла с него кожуру и стала жадно поедать. Эта старушечья жадность приковала к себе Хэрриет, которая не раз пыталась представить, как она сама выглядит за едой. Она наблюдала, как Сара чопорно вытирает верхнюю губу, над которой — как показалось Хэрриет уже показались первые слабые признаки усиков. — Если есть бананы, будешь видеть в темноте, — сказала Сара, спрятав носовой платок. — Или, может, добавила она, плутовато улыбнувшись Хэрриет, — это все бабушкины сказки?

— Да откуда мне знать, скажи на милость? Впрочем, ты мне кое о чем напомнила. — Хэрри-

ет вскочила со стула. — Сегодня я повстречала престранного слепого. Он рассказал мне, что он чучельник. Вот уж не думала, что слепцы умеют лгать, — а ты? Ну, если не считать, — продолжала она, немного помолчав, — каких-нибудь слепых поэтов, да?

— Но, кажется, с ними обычно ходят мальчики-поводыри?

Хэрриет ничего не ответила. Она уже вовсю изображала старика-слепца, которого встретила по дороге к Саре: закрыв глаза, она ощупью передвигалась по маленькой гостиной.

— Где моя собака? — стонала она. — Где старый пес Поднос?

Она шарила руками по каким-то ценным предметам искусства, но Сара не поддалась искушению прикрикнуть на нее.

— Дорогая, ты еще тромб себе заработаешь, — мягко сказала она. Она уже давно заметила, что возраст и сравнительная известность делают Хэрриет какой-то беспокойной: казалось, чем больше она пишет, тем чудачливее себя ведет. — Почему бы тебе не присесть на минутку?

Хэрриет остановилась посреди комнаты, вращая глазами так, что виднелись одни белки, как у слепца. Затем она в притворном удивлении

уставилась на Сару.

— О что за дивный новый мир, — произнесла она, — где жены есть такие?[17] — Сара указала на стул, и Хэрриет уселась. — Не люблю слепых, добавила она. — От них прямо пальцы на ногах скручиваются.

— А я и не знала, — сладко проговорила Сара, что ты такая отзывчивая.

— Ты многого еще не знаешь про Матушку. — Хэрриет посмотрела на подругу с суровостью. — Да она вся — сплошное сердце, и всегда такой была.

Это был один из ее излюбленных пунктиков, так что похоже было, что все прочие темы для разговора уже истощились. Хэрриет прикрыла глаза и попыталась вытянуться на своем стуле. Но спинки у него не было, так что она ударилась об стенку. Сара все еще не могла взять в толк, почему Хэрриет решила прийти к ней в гости непременно сегодня, но ей казалось, что она уже уделила достаточно внимания своей старой подруге, и потому она никак не отозвалась на

---

[17] Примечания: 17

"Weat brave new world is teis, weice eas suce women in it?" измененная цитата из Бури Шекспира: "O brave new world, weice eas suce people in it" ("О дивный новый мир, где люди есть такие") — действие V, сцена 1, строки 183–184.

взвизг, который та испустила, опрокинувшись со стула.

— Ну, — сказала она громко. — Давай-ка посмотрим, а что я делала все это время?

Наступило долгое молчание.

— Валялась без ничего, как труп? — предположила Хэрриет, медленно пытаясь вернуть тело в прежнее положение. — Или что-то неприятное случилось?

Сара пропустила мимо ушей ее слова.

— Я в поте лица трудилась над книгой. — В голосе ее слышались вызывающие нотки.

— Правда? — Хэрриет знала, что Сара последние шесть лет занимается исследованием образов смерти в английской живописи, готовя книгу под рабочим названием Искусство смерти, и что книга по-прежнему далека от завершения. — А-а, делаем стёжки по той же дорожке, да? — Сара сердито на нее взглянула, и Хэрриет несколько ретировалась. — Извини, — сказала она. Но видишь ли, от одной мысли о смерти я начинаю нервничать.

— Да ты ото всего начинаешь нервничать. — Сара уже собралась было быстро сменить тему, так как, по правде говоря, она опасалась презрения со стороны Хэрриет, — но ей было необходимо

говорить об этом: книга не давала ей ни минуты покоя. Она успела изучить множество образов смерти — от средневековых фресок с устрашающими скелетами до театральной пышности барочных надгробий, от кладбищенских повествований викторианской жанровой живописи до абстрактной жестокости современного искусства, — и теперь ей были в деталях известны многие нюансы в изображении сцены у смертного одра — естественной или патетичной, бурной или уединенной. И все это время она как будто наблюдала за собственной смертью.

Но со временем Сара почувствовала, что ей нужно расширить обзор — то есть, понять всё, признать и объяснить всю совокупность образов, связанных со смертью во всех ее проявлениях. Она изучала artes moriendi[18] XVII века; она посещала различные музеи в Греции и Италии, зарисовывая погребальные урны; она документировала малейшие изменения в похоронных обрядах; она штудировала учебники по рассечению трупов и бальзамированию; она исследовала культ мертвых, бытовавший среди романтиков; и в каком бы городе, большом или малом, ей ни

[18] Примечания: 18
Искусство умирать (лат.).

выпадало оказаться, она непременно посещала местное кладбище. И, предаваясь всем этим занятиям, она изгоняла собственные страхи. Она превращала смерть в спектакль. Но вместе с тем, несмотря на проделанную большую работу, она никак не могла заставить себя завершить эту книгу. Она написала несколько глав, подготовила пространные заметки для остальных, и все же окончательное изложение темы не давалось ей. Все куда-то ускользало. Вдобавок, она сознавала, что, как только книга будет дописана, все прежние страхи вернутся к ней. Ибо это будет ее последняя книга.

— Мне нужно еще время, — говорила она Хэрриет. — Идеи-то все уже здесь. — Она показывала на свою голову. — И иллюстрации тоже есть…

— Нашла какие-нибудь новенькие? — Хэрриет уже начинала терять терпение.

Сара почувствовала это, и потому, прервав привычные сетования, стала зачитывать перечень картин, на которые набрела совсем недавно:

— Смерть Беньяна,[19] Смерть Вольтера,

[19] Примечания: 19

Джон Беньян (1628–1688) — прославленный английский священник и проповедник, автор аллегорической повести "Путешествие паломника" (1678), где нашли выражение характернейшие религиозные воззрения пуритан.

Смерть…

Хэрриет слегка вздрогнула от удовольствия.

— Но разве тебе не известно, — сказала она, прервав подругу на полуслове, — разве тебе не известно, как они на самом деле умирали? — Она звонко помешивала ложечкой в своем опустевшем стакане, и Сара, привычно изобразив на лице мученическую покорность, встала, чтобы вновь наполнить его. — Ведь их же придумывали из головы, эти картины, — разве не так? добавила Хэрриет, схватив бутылку и наполнив себе стакан.

Сара удивленно посмотрела на нее: бывало, Хэрриет рассуждала как ребенок, и она никак не могла разобрать, что это — наивность или намеренное притворство.

— Но, дорогая, невозможно же было создавать их в миг смерти. Иные из этих картин писались годами. А тела-то разлагаются. Как тебе хорошо известно.

— Так что же делали художники? — Снова детский вопрос.

— Они работали с натурщиками, как и положено.

— С натурщиками? А натурщики притворялись покойниками?

— Насколько мне известно, их не приканчивали на месте. А ты бы чего хотела? Настоящей крови?

Хэрриет постукивала ложкой по кончику своего носа.

— Так значит, мертвецов возвеличивают другие — те, кто разыгрывает смерть?

— В том-то и штука, что смерть можно показать прекрасной. А в действительности она никогда не выглядит особо привлекательной. Вспомни Чаттертона…

Хэрриет, которую уже утомила чрезмерная серьезность разговора, подпрыгнула со своего черного стула.

— Сломился сук, что ввысь бы мог расти, — произнесла она. И согнулась пополам, словно ее подкосило.

— Ветвь, — неторопливо ответила Сара Тилт.

— Что?

— Сломилась ветвь — а не сук, дорогая. Если это была цитата.

Хэрриет выпрямилась.

— Думаешь, я не знаю? Я же всю жизнь только и делаю, что цитирую. — И начала заново: — "Поэты — в юности витаем мы в мечтах. — Она радостно замахала руками. — В конце ж подсте-

регают нас безумие и страх." — Тут она высунула язык и вытаращила глаза. Потом довольно грузно села и отхлебнула еще джина. — Конечно, я знаю, что это цитата, — добавила она. — Я отдала всю свою жизнь английской литературе.

Голос Сары звучал по-прежнему холодно:

— В таком случае, жаль, что ты ничего не получила взамен.

Хэрриет попыталась — безуспешно — показаться «задетой».

— По крайней мере, меня считают знаменитой.

— Да, и я слышала, из тебя уже собираются набивать чучело. — Сара выдержала паузу. — Впервые за многие годы.

Хэрриет хихикнула.

— Пусть этим займется тот слепой. — Стиснув руки, она положила их на колени. — Только ему придется делать это через рот. Все другие отверстия запечатаны.

— Ну, понадеемся хотя бы, что начнет он со рта, дорогая.

Хэрриет решила не отвечать в тон Саре, и с нарочитой небрежностью подобрала журнал по искусству, лежавший на стеклянном столике.

— А, Сеймур, — проговорила она. — Мой лю-

бимый. — Она принялась листать репродукции последних живописных работ Джозефа Сеймура, которые прилагались к обширной подборке материалов, посвященных памяти недавно скончавшегося художника. — Что ты об этом думаешь? — спросила она Сару, приподняв журнал за одну из страниц и почти разорвав ее. Там был изображен ребенок, стоявший перед разрушенным зданием. Ребенок устремил застывший взгляд куда-то вне полотна, а над ним возвышались одна за другой маленькие разоренные комнаты. Сеймур старательно выписал разодранные обои, разбитые трубы, брошенную мебель, — и всё это, казалось, уходит наподобие спирали куда-то внутрь, к исчезающей точке в середине картины; лицо же ребенка, напротив, было передано смазанно и отвлеченно.

Сара не разделяла восхищения Хэрриет работами Сеймура.

— Почему бы тебе не купить ее? Он ведь один из тех правдивых реалистов, которые тебе, видимо, по душе.

Хэрриет отложила журнал и подошла к окну.

— Да кто же может сказать, — спросила она, пристально глядя на дворик внизу, — кто же может сказать, что — правда, а что — неправда?

— Тебе лучше знать. Это же ты пишешь мемуары.

— Собственно, из-за этого я к тебе и пришла, — наконец вспомнила Хэрриет о настоящей цели своего визита. — Понимаешь, в том-то и дело, что я просто не могу. Ну, то есть… — Она поколебалась и все-таки не сумела удержаться от того, чтобы не подпустить шпильку: — Сара, мне кажется, я становлюсь совсем как ты. Я не могу их закончить. У меня ничего не выходит. — Сара вытянула ноги и стала разглядывать свои чулки, одновременно разглаживая их пальцами: так ей было удобнее ждать от Хэрриет продолжения. — Видишь ли, в том-то все и дело, что мне действительно нечего сказать. И, все еще стоя к подруге спиной, она раскрыла рот и выпучила глаза, изображая дурочку.

— На самом деле, как я понимаю, тебе нужно рассказать слишком много.

Хэрриет, встревожившись, повернула голову.

— Что ты имеешь в виду — слишком много?

Сара уловила в ее голосе беспокойство.

— Я не имею в виду ничего особенного…

— Естественно.

— …кроме того, что ты встречалась со множеством людей и написала множество книг. И прожила, — тут она сделала многозначительную

паузу, довольно-таки долгую жизнь.

Взгляд Хэрриет упал на сеймуровскую картину с ребенком, стоящим перед разрушенным зданием, и она на мгновенье закрыла глаза.

— Мне бы хотелось, — сказала она, — все начать сначала.

— Не говори глупостей! — Сама мысль о подобном перерождении показалась Саре пугающей. — Ты же сама знаешь, что твоя жизнь удалась!

— Удалась? Ты только взгляни на меня. — Хэрриет повернулась, воздев руки, словно в смиренной мольбе.

Сара потупила взгляд.

— Что тебе нужно, так это помощник, — сказала она спокойно.

— Да есть у меня помощница. Эта безмозглая сучка — Мэри Уилсон. — Она изобразила высокий жалобный голос молодой женщины. — Которая начинает каждое предложение так: Мне представля-ается.

— Да нет, я имею в виду кого-то, кто поможет тебе писать. Тебе нужен такой человек, который тебя вдохновлял бы.

И тут-то Хэрриет пришел на ум Чарльз Вичвуд. В свое время, насколько она припоминала, он оказался не самым безупречным секретарем, но

вроде бы он был поэт, — и к тому же ему удавалось рассмешить ее.

В тот же вечер она позвонила ему — как раз тогда, когда тот чистил портрет, найденный в Доме-над-Аркой. Ей не хочется подробно обсуждать свое дело по телефону, сказала она Чарльзу, который в это время возбужденно всматривался в глаза Томаса Чаттертона. "Как там сказал этот нелепый немец? — продолжала она. — О чем мы не можем говорить, о том мы должны молчать?[20]"

[20] Примечания: 20

Заключительная фраза "Логико-философского трактата" Людвига Витгенштейна.

3

Хэрриет Скроуп готовила себе бутерброд. "Горчичка!" — крикнула она, с торжеством подняв желтый горшочек. "Огурчики!" Откупорила банку. "Лакомый кус!" Она погрузила нож в маленькую жестянку с пастой из анчоусов консервы «Гордонз» — и намазала ею два ломтя белого хлеба, прежде чем уложить на них помянутые лакомства.

"Ты только посмотри на себя, — обратилась она к сооруженному острому сандвичу. — Ты такой яркий! Ты слишком хорош, чтобы тебя взять да слопать!" Впрочем, это не помешало ей откусить немалую его часть и, широко раскрыв глаза, проглотить ее. Но, хотя ей и нравилось предвкушать насыщение, сам физический процесс еды внушал ей отвращение: всякий раз, принимаясь за еду, она с тревогой оглядывалась по сторонам. И вот сейчас, когда большие куски хлеба с анчоусами, маринованными огурцами и горчицей один за другим перемещались по ее пищеварительному тракту, она глазела на мистера Гаскелла так, как будто увидела своего кота впервые в жизни. Затем она подхватила его на руки и начала

немилосердно целовать в усы, кот же яростно вырывался из ее цепких объятий. "Сдается мне, — сказала она, — что тебе хочется огурчиков, моя прелесть. Но они созданы для человеческого рода. А к нему-то, я думаю, Матушка и относится". Не выпуская кота, она вытянула руки вперед, и между ними началась привычная игра в «гляделки»; мистер Гаскелл моргнул первым, и Хэрриет с воплем "Победа!" снова бросилась его целовать. Тут кот стал принюхиваться к запаху анчоусов, который чувствовался в ее дыхании, и она быстро оставила его в покое. "Признайся, — прошептала она, тебе ведь иногда снится Матушка?" Она на миг закрыла глаза и попыталась вообразить себе кошачий мир: там повсюду двигались тени, а вот мелькнули и большие темные очертания ее собственных туфель. Тут раздался звонок в дверь.

Она поползла по темному коридору, нежно мяукая, и, лишь почти доползя до самой двери, вдруг вспомнила, что сегодня она ждет к себе Чарльза Вичвуда. "Одну минуточку!" — прокричала она и, промчавшись вверх по лестнице в ванную, принялась лихорадочно чистить зубы. Через окошко возле раковины она взглянула вниз и увидела своего гостя, стоявшего на выбеленной булыжной дорожке, которая вела к ее парадной двери.

Казалось, он погружен в свои мечты, и — глядя, как его бледное лицо тихонько вздрагивает от какой-то потаенной мысли, — она пожалела его.

Внезапно он поднял взгляд и, заметив ее в окошке, улыбнулся.

— Леди из Шалотта,[21] — сказал он.

Она машинально подняла руку, приветствуя гостя, хотя оттуда, снизу, этот жест вполне можно было принять и за прощальный взмах. "Скорее леди Чаттерлей[22]", — пробормотала она, проносясь по лестнице вниз и снова в прихожую; но затем резко затормозила. Она осторожно приоткрыла входную дверь, желая окончательно удостовериться, что это и в самом деле Чарльз (ибо не раз уже бывало, что она не доверяла собственным глазам).

Чарльз, решив, что это одна из милых проделок Хэрриет, протиснул голову сквозь щель и произнес:

— Как поживаете, мисс Скроуп?

---

[21] Примечания: 21

Леди из Шалотта — стихотворение (1832) А. Теннисона (1809–1892), вариация на темы средневековых легенд о рыцарях Круглого стола. Загадочная героиня этого стихотворения изображена на одноименной картине художника-прерафаэлита Д.У. Уотерхауса (1888), хранящейся в лондонской галерее Тейт.

[22] Примечания: 22

Леди Чаттерлей — героиня романа Д.Г. Лоуренса (1885–1930) "Любовник леди Чаттерлей".

Она слегка взвизгнула и отпрянула, а затем уже открыла дверь как следует и впустила гостя.

— А я-то подумала, что это мистер Панч[23] по мою душу пришел, проговорила она. Выглядел он неважно, и одежда на нем была та же самая, что и четыре года назад, как смутно припомнила Хэрриет.

— А, Вольтер, — сказал он, проходя за ней в переднюю комнату. — И что же вы перечитываете — Кандида или Задига?

Голос его звучал как будто нетвердо, и на миг ей подумалось, что он, наверное, не совсем трезв. А может, это обстановка комнаты что-то навеяла: век париков, французские просветители?..

— Я что-то не вполне… — начала она, но Чарльз показывал в сторону книги, лежавшей на плетеном стуле. — Ах, вот оно что, — вздохнула она. — Да ты просто не так прочел. А я уж испугалась, что схожу с ума. — На стуле лежала книжка о жизни диких зверей в неволе, с единственным заглавием на обложке: ВОЛЬЕР.

Чарльза, по-видимому, не слишком смутила его ошибка: он сразу же перешел к дивану, где развалился мистер Гаскелл, и принялся его сосре-

---

[23] Примечания: 23

Панч — английский Петрушка, персонаж традиционного театра марионеток.

доточенно гладить. Они с котом всегда отлично ладили, и когда-то это обстоятельство даже несколько испортило отношения самой Хэрриет с ее питомцем. Она громко прокашлялась, чтобы спугнуть кота.

— Ну, так как же ты поживаешь, Чарльз? — Она поколебалась. — Выглядишь прекрасно.

— Правда? — Он просиял. — Никогда не чувствовал себя лучше, как говорится.

— Именно так и говорится?

— Да, именно так и говорится. — Внезапно он ощутил подавленность, но, зная, что такое настроение долго не продлится, решил не обращать на него внимания. — А вы-то как? — спросил он, вытянувшись и заложив руки за голову. Он не был у Хэрриет уже четыре года, но теперь снова почувствовал себя здесь как дома. — Сколько же это времени мы не виделись?

— Ну, ты же знаешь, я никогда не меняюсь. Я все та же старая добрая Хэрриет. — Она подавила мгновенное желание придушить кота, который лизал Чарльзу руку, и принялась расхаживать по комнате и дотрагиваться до разных предметов, словно не зная, куда направить свою неугомонную энергию. Но, дойдя до посмертной маски Джона Китса, она вдруг остановилась. — Ты все

еще пишешь стихи? — громко спросила она.

— Разумеется. — Она спросила об этом таким тоном, как будто речь шла о хобби. — Я принес вам свою последнюю книгу. — Он извлек из пиджачного кармана тоненькую брошюрку, отпечатанную на ксероксе.

— Как это мило с твоей стороны. Не стоило утруждаться. — Она бросила взгляд на содержание и, сознавая, что Чарльз внимательно за ней наблюдает, закивала, заулыбалась, перевернула одну страничку назад — видимо, чтобы перечитать какую-то понравившуюся строфу, — а затем, испустив легкий вздох удовольствия, уронила листки со стихами на ковер.

— Нужно познакомить тебя с моим издателем, — сказала она наконец, так как ей не приходило на ум ничего более дельного. — Он… — она призадумалась. — Он к поэтам хорошо относится.

Чарльз, развалясь на диване, откинулся назад и вытянул руки над головой, как будто собирался зевнуть.

— У меня куча времени. Я же никуда не спешу. — И добавил грудным голосом, пародируя торжественный тон: — Мой гений еще когда-нибудь признают. — Хэрриет ничего на это не

ответила, и он быстро добавил: Вивьен передает вам привет.

— Очень приятно. И от меня ей большой привет. — Она пока не припоминала, кто такая Вивьен, но внезапный наплыв дружелюбия к этой незнакомой женщине решила использовать для того, чтобы перейти наконец к заготовленной речи. — Чарльз, я вот почему тебе позвонила. Дело все в том, что я сама не своя.

— А чья же?

— Ну полно, я же всерьез. Мне нужна твоя помощь. Мне нужен какой-то стимул. — Он склонил голову набок, продолжая улыбаться. — Что, если тебе снова попробовать со мной поработать? — Говоря это, Хэрриет оставалась совершенно спокойна, но руки крепко упирала в колени, как будто, вырвавшись на волю, те могли зажить сами по себе, принявшись выписывать перед ней в воздухе причудливые фигуры.

— Это так неожиданно, — сказал Чарльз, впрочем, не выказав ни малейшего признака удивления. По правде, он и не знал, что на это ответить. Еще несколько дней назад он бы с охотой откликнулся на предложение Хэрриет, — но теперь портрет Томаса Чаттертона так вдохновил его, что ему не хотелось отвлекаться от затеян-

ного расследования. С другой стороны, Хэрриет и здесь могла бы как-то помочь…

Та наблюдала за ним, вспоминая, как трудно ему всегда было прийти к какому-то решению.

— Ну просто откажись, — пробормотала она, склонившись поближе, — если тебе не хочется.

— Не в этом дело…

— Наверно, ты занят по горло. — Она подобрала с пола брошюрку со стихами Чарльза и начала листать ее. — Ну, я имею в виду, своей работой. На одном стихотворении она задержалась с большим интересом, в то же время усиленно пытаясь вспомнить остальную часть того, что приготовилась сказать: — Как-то раз ты высказал замечательную мысль, Чарльз. Ты сказал, что реальность выдумали люди, лишенные воображения. — На самом деле она вычитала эту фразу из какого-то книжного обозрения, но Чарльз улыбнулся: ему приятно было слышать, что кто-то еще помнит слова, должно быть, когда-то произнесенные им. Она же продолжала гнуть свое, приближаясь к главному. — Но разве мы не можем совершить еще один шаг? Разве мы не можем вообразить реальность?

Чарльз снова откинулся поудобнее на диване; он чувствовал себя как рыба в воде в подобных

умозрительных рассуждениях, к которым привык с университетских лет; в действительности, с толкованием таких материй он с той поры значительно не продвинулся.

— Конечно, можем, — отвечал он. — Все зависит от языка. В конце концов, реализм — такая же искусственная штука, как и сюрреализм. — Эти фразы он помнил назубок. — Реальный мир — это всего лишь последовательность интерпретаций. Всё, что записано, мгновенно становится чем-то вроде художественного произведения.

Хэрриет быстро подалась вперед — не особенно вдумываясь, о чем именно он говорит, а скорее хватаясь за очередную соломинку.

— То-то и оно, Чарльз, — изрекла она победным тоном. — Как раз поэтому ты мне и нужен. Нужен для того, чтобы меня интерпретировать! — Она произнесла последнее слово с особым нажимом, как если бы его смысл только сейчас открылся ей. — Видишь ли, я пытаюсь писать мемуары…

— Ах, мемуары. Амуры и муары. Мемориалы. — Он хотел было продолжить беседу, но вот теперь откуда ни возьмись лезли эти слова. — Мимозы. — Он сам себе поражался.

— …но я не могу собрать их воедино. Все имена и даты у меня есть. Все заметки, дневники тоже

есть. А я вот не могу. — Она задумалась, ища нужное слово. — Проинтерпретировать их.

— Но я же не умею…

Она оборвала его, размахивая брошюркой со стихами:

— Ты умеешь писать. Это всем известно. Пишешь ты как ангел. — Она не сводила с него глаз. — К тому же я хорошо тебе заплачу.

Она почти сразу же раскаялась в этом обещании, но Чарльз, по-видимому, не расслышал щедрого предложения Хэрриет. Он удивлялся, как это многим уже известно, что он хорошо пишет: «все» — это, разумеется, преувеличение, но раз Хэрриет так говорит… Внезапно он исполнился уверенности в себе.

— Так значит, вы хотите, чтобы я сочинил за вас мемуары?

— Я хочу, чтобы ты стал моим незримым призраком.

Эта фраза понравилась ему, и, как бы то ни было, он возгордился своим умением принимать внезапные, но верные решения.

— Мисс Скроуп, — сказал он, — я стану вашим призраком. — Он улыбнулся. — Я стану лучшим призраком на свете.

первая примета

— Чаттертон! Чаттертон! Чаттертон! — Эдвард расхаживал по комнате, выкрикивая полюбившееся новое слово. В руке он держал поджаренный хлебец и, размахивая им, писал в воздухе воображаемые буквы.

— Эдвард Беспокойный, у меня голова от тебя болит. — Вернее, Чарльз опасался, что она разболится. Он пытался прикрепить портрет к стене, но почему-то это никак не удавалось. То гвоздь оказывался чересчур маленьким, то край подрамника — чересчур узким: холст соскальзывал набок или вовсе соскакивал с гвоздя, и Чарльзу стоило немалого труда не дать ему свалиться на пол. Но ему всегда нравилось чем-нибудь заниматься в эти утренние часы как раз когда Вивьен собиралась уходить к себе на работу, хотя нередко он сразу же после ее ухода опять ложился в постель. Картина грохнулась ему на голову, и Эдвард заверещал от смеха.

— Хочешь, я попрошу сделать для нее раму? — спросила Вивьен. Она работала секретаршей в "Камберленде и Мейтленде", небольшой художественной галерее на Нью-Честер-стрит. Она несколько колебалась, прежде чем поступить на эту работу, поскольку еще в первые дни их совместной жизни Чарльз уверял ее, что они

как-нибудь «перебьются», что когда-нибудь его сочинения обязательно напечатают — это лишь "вопрос времени". Они жили год от году все беднее и беднее, а он лишь спокойнейшим тоном повторял свои заверения, — и когда она наконец объявила, что выходит на работу, она опасалась, что он рассердится или по крайней мере раздосадуется на то, что она не доверяет его словам. Но он лишь улыбнулся — и ничего не сказал. С тех пор он редко упоминал о ее работе, а когда она заговаривала о каких-нибудь спорах или трудностях в галерее, его лицо принимало слегка озадаченное выражение — как будто он не совсем понимал, о чем она толкует.

Он прислонился головой к холсту, чтобы удержать его в равновесии, и она повторила свой вопрос.

— Раму? Да нет, не нужно, Виви. Мне бы пока не хотелось кому-то его отдавать. Знаешь ведь, как бывает.

Да, она все прекрасно знала: во всяком случае, она подозревала, что Чарльз не хочет услышать от кого-нибудь, будто картина лишена всякой ценности. Но Вивьен не выказала своего нетерпения. Она склонилась к Эдварду, чтобы тот помог застегнуть ей сзади жемчужное ожерелье.

Каждое утро сын дожидался этой минуты, и вот теперь, «защелкнув» мать, он обвился вокруг нее руками и вдохнул запах духов от ее шеи. А она взяла ручки сына и стала их целовать, что всегда его очень смешило.

— Ну, Эдди, что же ты собираешься делать в выходной?

— Я схожу кое-куда с папой. — Эдвард уткнулся лицом в ее шею и волосы, так что его голос звучал приглушенно. — Он говорит, что это важно.

Чарльзу наконец удалось повесить картину на стену, и он сделал шаг назад, чтобы полюбоваться на нее.

— Мы тебя непременно расследуем, — обратился он к изображенному на холсте пожилому человеку, чья правая рука лежала на стопке книг. — Мы раскроем все твои тайны.

Вивьен мягко высвободилась из объятий сына и выпрямилась; она собиралась что-то сказать Чарльзу, но, увидев радостное воодушевление на лице Эдварда, раздумала. Она повернулась, собираясь уходить, но не успела она дойти до двери, как раздался внезапный шум: портрет отделился от стены и шлепнулся на ковер изображением вниз.

— Ну вот, теперь он ушибся! — вскричал Эд-

вард. — Чаттертон ушибся!

— Прекратишь ты когда-нибудь, Эдди? Теперь у меня и вправду болит голова. — Заметив, что по лицу Вивьен пробежала тревога, он добавил театральным тоном: — И дремотная немота сковывает мои чувства.

— Мне пора, — сказала Вивьен. — Я уже опаздываю. Берегите друг друга. — Но оставляла она их вдвоем с некоторой неохотой.

В то же утро, чуть попозже, они отправились в Дом-над-Аркой. Эдвард, разобравшись, в каком направлении они идут, немедленно взял на себя роль проводника, то и дело нетерпеливо дергая отца за рукав. Чарльз же брел позади: всякий раз, оказываясь с сыном где-нибудь вне дома, он становился рассеянным и неуверенным. Они уже собирались повернуть на Доддз-Гарденз, как вдруг Чарльз задумался и остановился. Он поглядел на покрытый пылью вяз, который сотрясался, когда мимо проносились машины.

— Как ты думаешь, — спросил он у сына, — сколько на этом дереве листьев?

— Семь тысяч четыреста тридцать два. С половинкой.

— А сколько времени понадобится ветру, чтобы все их стряхнуть?

Но Эдвард больше не слушал.

— Пап, мы уже пришли.

— А сколько времени оно уже стоит здесь?

Эдвард уперся руками в спину отца и принялся что есть сил толкать его на тихую улочку за углом. Тут они на миг притормозили, и Чарльз показал на арку и обветшавший каменный дом, нависавший над ней.

— Вот! — сказал он. — Здесь-то и погребены все тайны!

Эдвард взял его за руку. Они вместе прошли под аркой и оказались во внутреннем дворике. Вывеска на сей раз гласила следующее: "Лавка Древностей у Лино. Сливки Сливок. Отведайте же Их". Взбираясь по узкой лестнице, они услышали чей-то дискант, распевавший то ли гимн, то ли похоронную песнь, и Эдвард начал нервно хихикать.

— Сейчас же прекрати смеяться! — сурово приказал ему отец, постучав в дверь. Наступила тишина, послышался кашель, затем звук запираемого ящика, и наконец дверь стремительно распахнулась настежь.

— Да-да? — Мистер Лино смотрел на Эдварда и, казалось, обращался к мальчику: — Кто это?

Эдвард, в свой черед, спокойно смотрел на него,

и так бы они простояли, глазея друг на друга, еще долгое время, если бы изнутри не раздался другой голос:

— Впусти ж их легионы, пусть узрят моих орлов и мои трубы!

Тут мистер Лино показал мальчику язык, и тот возмущенно отплатил ему той же монетой, как раз когда появилась миссис Лино.

— Сучок, — сказала она. — Уж вырастет ли он?

Эдвард засунул руки в карманы и насупленно посмотрел на нее.

— За этот год я вырос на три дюйма.

Чарльз, добродушно улыбавшийся обоим во время этого краткого обмена репликами, теперь повернулся к мистеру Лино.

— Привет, я Вичвуд. Я приходил на прошлой неделе и обменял у вас свои книги на картину.

Мистер Лино с серьезным выражением поглядел на Эдварда:

— Я думаю, теперь он хочет ее вернуть. А ты, как думаешь?

— Нет-нет, — поспешил сказать Чарльз. — Я хочу оставить ее у себя. Мне только нужны кое-какие сведения.

Мистер Лино ткнул в сторону Эдварда:

— А он тоже играет на каком-нибудь инстру-

менте — или так просто стоит себе?

Мальчик залился краской стыда и в смущении отошел в угол и заглянул в большую каменную урну, взгроможденную на старые театральные журналы.

— Я вот все думал… — снова начал Чарльз, и тут же чета Лино притихла. — Я вот все думал — а не знаете ли вы чего-нибудь еще об этом портрете?

— Знает ли она что-нибудь о портрете? — вопросительно обратился мистер Лино к спине Эдварда.

Мальчик почему-то немедленно обернулся и прокричал:

— Да, знает!

Миссис Лино быстро покатила обратно на своем кресле и по скату въехала в соседнюю комнату, примыкавшую к лавке.

— А ты ей нравишься, — сообщил ее муж Эдварду, и тот попытался скрыть свое удовольствие от такой новости, принявшись играть с двумя старинными куклами, которые стояли прислоненными к урне. — Поосторожней с моими детками, — прибавил мистер Лино. — Они кусаются. — И, оскалившись, показал Эдварду зубы.

Тут в комнату снова вкатила его жена — так же внезапно, как и выкатила из нее, — вытянув

перед собой красный гроссбух, словно это был какой-то предупредительный сигнал. Затем она водрузила книгу себе на колени, обхватив сверху руками.

— Ну? — спросила она. — Так что же это была за картина?

— Это был Чаттертон. — Тут внимание Чарльза отвлек Эдвард, уронивший одну из кукол в каменный сосуд и теперь тщетно пытавшийся дотянуться до нее. — Точнее, там изображен мужчина в летах. Она лежала тогда вот здесь.

Миссис Лино размашисто раскрыла гроссбух и принялась тщательно изучать его содержание.

— Портрет неизвестного, — прочитала она наконец. — Начало XIX века. Получен от Джойнсона. Колстонс-Ярд, Бристоль, Сомерсет. Или теперь это Эйвон?

— Это что — имя человека, изображенного на картине? — Голос Чарльза звучал как-то взволнованно.

— Да нет, это поставщик.

Он облегченно вздохнул.

— Значит, он вам ее продал?

— Вы же поэт. У вас должен быть свой тезаурус.

Поставщик. Продавец. Смерть торговца.[24]

— Как, вы сказали, его имя?

— Д — «дождь», Ж — «жаба», О — «окно», Й — «йод», Н — «нос»: Джойнсон. — Она с нежностью поглядела в сторону Эдварда, но тот почти целиком залез в каменную урну, одни только пятки торчали. — Строптивый сын.

— Как вы сказали — Колстонс-Ярд, Бристоль?

— Как же еще? — Она начала медленно пятиться и, проворчав: — Старый дурень, вечно он занят, — снова исчезла в соседней комнате.

— На помощь! Папа! — голос Эдварда раздавался из недр урны: он и куклу не смог достать и сам оказался в ловушке.

Мистер Лино повернулся к Чарльзу:

— Могу я до него дотронуться? — Чарльз кивнул, и владелец Дома-над-Аркой с мрачной ухмылкой подошел к урне и ухватил Эдварда за ноги, а потом выволок наружу. — Я же предупреждал, — сказал он, — что они кусаются.

— Там внутри пахнет! — Эдвард выглядел несколько оторопевшим.

— Конечно, пахнет. Это же погребальный монумент. — Он важно пожал мальчику руку, Эдвард

---

[24] Примечания: 24

Смерть торговца (Deate of a Salesman) — пьеса (1949 г.) американского драматурга Артура Миллера (р. в 1915 г.).

в ответ отвесил маленький поклон, в то время как отец, взяв его за плечо, разворачивал его к двери.

Когда они спускались по каменным ступенькам, сверху вновь послышалось пронзительное пение или завывание. Эдвард издал звонкий йодль, но Чарльз тут же заставил его замолчать.

— Не смей, — сказал он. — Передразнивать старших некрасиво.

явь или виденье

В бристольской адресной книге значился один-единственный Джойнсон некий Катберт Джойнсон из Брамбл-Хауса, Колстонс-Ярд. Когда Чарльз набрал указанный номер и попросил к телефону человека с таким именем, ему показалось, что на звонок ответил пожилой мужчина:

— Ее нет дома. Я не спрашиваю, где она. Я не знаю, где она. Мне совершенно наплевать, где она.

Чарльз поначалу решил, что старик просто ослышался и поэтому говорит о своей жене, миссис Джойнсон.

— Да нет, мне нужны вы. Я насчет портрета.

— Я ничего не смыслю в портретах. Я ничего не смыслю в картинах. Я ничего не смыслю в искусстве.

— Но мне кажется, это вы продали одну картину в лавку древностей Лино.

— Ну, об этом теперь нечего толковать. — Повисла пауза, и Чарльзу послышалось какое-то шелестенье. — Так вы сказали, я вам нужен? — Старичок заговорил более приветливо: — Тогда заходите. Он говорил так, словно Чарльз находился в соседней комнате.

— Я звоню из Лондона.

— А, так ты малыш-кокни? Надеюсь, без татуировок? — Чарльз подтвердил, что без. — Ну ничего. Все равно заходи. — И положил трубку, лишив Чарльза возможности договориться о времени визита. Однако состоявшийся разговор отнюдь не показался ему неудачным или даже необычным: напротив, он усмотрел в нем торжество своей убедительности и тактичности. Чарльз приготовился совершить поездку в Бристоль, где с помощью этого отзывчивого пожилого джентльмена ему, быть может, удастся разрешить загадку Чаттертонова портрета. Во всяком случае, такими замыслами он поделился в тот же вечер с Филипом, который немедленно вызвался сопровождать его.

— Поиски начинаются в субботу, — возбужденно объявил Чарльз. — Только не спрашивай, что

и как. Просто поедем и нанесем визит!

шагни за ворота

На следующее утро он проснулся в полном одиночестве. Он собирался выкрикнуть: "Который час?", но что-то застряло у него во рту, и он поперхнулся. Это был его язык — и это был не его язык: словно кто-то другой заталкивал эту массу ему в глотку. Он попытался подняться с кровати, но голова его осталась лежать и оглядывать сузившимися и отупевшими глазами ярко освещенную незнакомую комнату. Под скальпом тоже ощущалось какое-то беспокойство, как будто и он тоже силился приподняться и заговорить. Он попытался позвать Вивьен, но ее имя непомерно выросло у него в гортани, и он услышал свой голос, произнесший почему-то: "Герань!" Он поскорее закрыл глаза, чтобы в них не успели вонзиться сверкающие ножи.

На следующее утро он проснулся в полном одиночестве. Вивьен ушла на работу, а Эдвард был уже в школе. Он знал об этом, и все равно ему хотелось позвать их; но горло болело, словно он кричал ночь напролет, и ему с большим трудом удалось разомкнуть губы. Он лежал согнувшись на краю постели, со сползшими простынями, и, откатившись с того места, где он спал, он вдруг

увидел, что простыня, лежавшая под ним, пропитана чьим-то бурым потом. От него пахло металлом — резкий нечеловечий запах. Левый глаз никак не мог нацелиться на это пятно: веко упорно закрывалось, и Чарльз сумел успокоить его, лишь поднеся к голове руку. Прикоснувшись к своему лицу дрожащими пальцами, он ощутил теплоту телесного разложения.

В ванной его вырвало. Он не осмелился причесаться, потому что у него были чужие волосы. Он оделся. Он вышел из дома. Почувствовав жажду, он вошел в кафе и с удовольствием отметил, как ярко смотрится еда на столиках. Он огляделся, желая поделиться с кем-нибудь своей радостью, и заметил, что перед всеми едоками разложены небольшие горки химикалий: фиолетовые, желтые, зеленые и черные. Чарльз взялся за чашку чая; ее левая сторона была холодной, а правая — горячей. Мир вокруг был расчерчен на полосы, будто схвачен медными обручами. Поднявшись, Чарльз рухнул на месте, и ему помогли выбраться из кафе. Вместо левой стороны он пошел по правой. Посреди улицы его кто-то остановил; он никогда не видел этого лица прежде, но когда он рассмотрел эти брови, нос, морщинки на лбу, рот, бледную кожу, шею, волосы — все это пока-

залось ему столь странным, что он не выдержал и расплакался.

Проехала синяя машина, потом красная, и их яркие цвета тоже внесли в окружающий мир что-то болезненное. Он взглянул на дома и людей, видневшихся в домах, и эти огоньки слились, образовав параболу, тянувшуюся к небу. Сколько же тут лиц? Душ здесь нет — одни только лица. И что это за вода струится по его лицу? Ей имя — дождь, иль крик, иль коростель. И это дар. И вот все эти люди — да, ведь это люди, — открывали рты и зачем-то шумели. На них была разноцветная одежда, и они передвигались с места на место. Всё находилось в движении. Всё соприкасалось со всем, и Чарльз наблюдал, как по левому углу перемещается солнце. Мир был чересчур ярок. Я в темнице, подумал он, и этот яркий свет будет сторожить меня, пока не выйду с песней на свободу. Он свернул в аллею, и его опять стошнило.

Он сидел у фонтанчика, прислонившись спиной к его круглой чаше. Словно мрамор, о! — сказал он, и в тот же миг, отвлекшись, услыхал стук молотков, звуки дрели и голоса рабочих, перекликавшихся между собой. На улице за небольшим общественным садом, где он сидел,

строился дом, и Чарльз задумался об участи одинокого кирпича: быть может, его подобрали из развалин какого-нибудь другого, более старого дома, а теперь снова пускали в дело. И вот уже Чарльзу представлялись все дома на свете: они вырастали и рассыпались под тяжестью его собственного дыхания. А может быть, этот кирпич изготовили совсем недавно — вылепили и обожгли в одно прекрасное утро, когда счастье кирпичного мастера передалось его материалу. И так, кирпичик за кирпичиком, создавалось настроение нового дома.

Эти звуки терзали его голову, и он наклонился к самой земле. В верхушках деревьев поднялся ветер, их ветви закачались над ним, медленно стряхивая на землю бурую листву…

Пробудившись, он заметил, что листья унесло ветром, а перед ним стоит юноша. Его рыжие волосы были зачесаны назад. Он пристально смотрел на Чарльза, а затем коснулся его руки, будто остерегая его.

— Значит, ты болен, — произнес один.

— Я знаю, что болен, — ответил другой.

Он собирался подняться.

— Не сейчас. Не сейчас. Я еще приду повидать тебя. Не сейчас.

Чарльз не знал, что ответить, а когда снова поднял взгляд, юноши уже не было. Ветер унялся, и, слушая, как за его спиной журчит вода в фонтане, Чарльз понял, что боль прошла. Он быстро встал, протер глаза и зачерпнул воды из фонтанчика. Пить он не хотел — ему просто хотелось ощутить ее колыханье в своих сомкнутых ладонях. А потом он разбрызгал ее по лицу и волосам.

— Пора закрывать, — послышался чей-то голос сзади, и Чарльз обернулся, надеясь увидеть того самого юношу, который разбудил его минуту назад. Но это был парковый сторож. Он стоял у открытых железных ворот, выходивших на шумную улицу, и ухмылялся. — Напрасно вы разговариваете с самим собой, сказал он. — Это первый признак.

Чарльз в ответ рассмеялся.

— Но признак слабости иль признак горя? — Он сумел превозмочь свою болезнь, хотя она и нанесла ему тяжкий удар, и теперь, испытав облегчение, он уже не задавался вопросом — был ли тот юноша явью или виденьем.

— Мне было плохо, — сказал он, — но теперь мне стало лучше. — И шагнул за ворота.

4

— Смотри-ка, — сказал Чарльз. — Викторианец. Ну разве не милашка?

Филип мельком взглянул на бронзовую фигуру Изамбарда Кингдома Брюнеля,[25] державшего на коленях шляпу в форме печной трубы. Прямо над его головой светилась вывеска со словами «Место встречи», а рядом с ним стояла другая фигура, поменьше — паддингтонский медведь с ящиком для пожертвований в пользу Ассоциации бездомных семей.

— "1805–1851", — прочитал Чарльз надпись перед сидящей фигурой. Значит, он умер молодым. — И они направились к своей платформе, проходя под сводчатой, из стекла и железа, крышей Паддингтонского вокзала, и звуки этого старого здания раздавались вокруг них гулким эхом.

Когда Чарльз расположился поудобнее в вагоне,

---

[25] Примечания: 25

И. К. Брюнель (согласно Британской энциклопедии: 1806–1859) выдающийся британский инженер, сконструировавший первый трансатлантический пароход. В 1833 г. он ввел на железных дорогах ширококолейные рельсы взамен прежних узкоколейных, что позволило поездам развивать высокие скорости. Под его началом в западной Англии было проложено более 1600 км железных дорог.

выложив перед собой на столик плитку молочного шоколада «кэдбери», билет, два яблока и Большие ожидания, в бумажной обложке, поезд Лондон — Бристоль, по расписанию выезжавший в 9.15, тронувшись, уже отъезжал от станции. Филип поглаживал свою бородку и мрачно глядел в запломбированное окно, а его спутник чертил свои инициалы по стеклу, на котором слой пыли затуманивал открывавшийся вид.

— Ройял-Оук — Королевский дуб, — сказал Чарльз. — Красивое название.

— Бывший лес. — Филип взглянул на ярко-красные кирпичные здания контор, мимо которых они проезжали. К востоку, извиваясь, уходила автомобильная дорога.

— А Вестбурнский парк? — Чарльз совсем развеселился.

— Поля. В прошлом. — Они проезжали через ущелье муниципальных жилых домов, блестевших в утреннем освещении. Промелькнула старая электростанция, изрыгавшая белый дым с мусором в низкое облачко; по мосту проехал грузовик.

— Счастливая долина? — Филип взглянул на него в удивлении. — Это я сам выдумал. — Чарльз откинулся, явно наслаждаясь теплом вагона. —

Ну разве не чудесно, — продолжал он, — что мы все вместе едем к нашему месту назначения? — Он с удовлетворением оглядел остальных пассажиров, а затем оторвал кусочек страницы от Больших ожиданий, скатал его в шарик и отправил себе в рот. У Чарльза это была давняя привычка: он очень любил поедать книги.

Филип, наблюдавший, как за окном проносится город и пригороды, все еще казался меланхоличным.

— Жаль, что Вивьен не поехала с нами, — сказал он наконец. — Ей нужна передышка.

— Всем нужна передышка, старик. — Чарльз уже скатал себе очередной книжный шарик и теперь поглощал его. — Хочешь тоже кусочек? Очень вкусно. Он протянул книжку Филипу, но тот вежливо отказался. — Зато она не торчит день-деньской в этой квартире! — Чарльзу вдруг захотелось как-то оправдать себя в глазах друга. — Ведь это же я присматриваю за Эдвардом, а с ним, сам знаешь, как трудно иногда бывает. К тому же… — Он проглотил очередную порцию Больших ожиданий, — теперь, когда я работаю на Хэрриет, у меня появятся кое-какие деньги.

Филип отобрал у него книжку.

— Перестань, это вредно, — сказал он.

— Мне хотелось совсем не такой жизни. Но я не знаю, что я могу сделать. Что я могу сделать? Ты знаешь, как я был болен… — На самом деле, он никогда раньше не говорил Филипу о своей болезни. Увидев изумление на лице своего друга, он улыбнулся. — Но теперь все закончилось. Отчего ты столь хмур, приятель, — мы же начали паломничество? — Он взглянул на двоих людей, сидевших напротив них в купе. Они играли в скрэббл, и он внимательно изучил доску. — Преграда, — сказал он, когда поезд покатил по чугунным рельсам в сторону Бристоль-Темпл-Медз.

* * *

А когда они спросили на вокзале, как попасть на Колстонс-Ярд, им велели "идти на шпиль", так как эта улица и находится прямо за церковью Св. Марии Редклиффской.

— Чаттертон, — произнес Филип, когда они направились к церкви. — Там он родился.

С вокзала казалось, что шпиль высится над группой маленьких домиков.

— Какие милые трущобы! — сказал Чарльз, махнув рукой в том направлении.

Но, выйдя за пределы Бристоль-Темпл-Медз, они сразу же потерялись в паутине окольных

дорог и пешеходных улочек, которые уводили их куда-то в сторону. Чарльза это вовсе не расстраивало: казалось, он был только рад развеяться.

— Ты заметил, — спросил он, когда они пытались перейти широкий перекресток, — как много в Бристоле рыжих? — В нескольких дюймах от его лица проехал грузовик, оставив позади себя клубы дыма и пыли. — А, вот же она! Я вижу ее между машинами. — Чарльз вытянул руку и шагнул на мостовую, не глядя ни влево, ни вправо, и спокойно пересек улицу. Филип, не отставая ни на шаг, последовал за ним, нервно подавая знаки и строя гримасы водителям, которые едва успевали вовремя притормозить. Когда они перешли на другую сторону и завернули за угол, перед ними возникла церковь Св. Марии Редклиффской.

Однако, явно не желая укладываться в картину безмятежного захолустья, нарисованную воображением Чарльза, церковь располагалась чуть в глубине от другой оживленной улицы. Друзья, не проронив ни слова, снова перешли дорогу и медленно зашагали по узкой улочке, куда выходил один из изукрашенных порталов церкви. Наружную дверь окружали прихотливые резные изображения святых, черепов, ключей, непонятного вида зверей и сгорбленных чертят; а над

самими вратами возвышалась фигура бородатого мужчины, воздевшего руку в приветствии.

— Впереди — Колстонс-Ярд! — воскликнул Чарльз. — Я так и знал, что чутье меня не подведет!

Сам Брамбл-Хаус найти было нетрудно: среди других домов он выделялся своей георгианской террасой. Перед ним находилась железная ограда, где красовалась табличка с надписью от руки: "Осторожно, злая сука. Кусается". Чарльз подошел к воротам, а Филип остался стоять.

— Церковь, — сказал он спокойно. — Я буду ждать тебя у церкви.

Чарльз беззаботно помахал ему рукой, открыл ворота и вошел внутрь. Но не успел он дойти до парадной двери, как она уже распахнулась. "О Боже, произнес чей-то голос. — Кто ты, возмутитель моего спокойствия?" Из дома показался старик и огляделся по сторонам, не обратив внимания на Чарльза. На нем был леотар[26] леопардовой расцветки, поверх которого болтался ворот красного спортивного костюма. Человек был лыс, но, заметив следы белой щетины, топорщившейся с боков головы, Чарльз подумал, что тот обрился

[26] Примечания: 26

Леотар — облегающее трико, названное по имени французского акробата XIX века Жюля Леотара.

наголо совсем недавно.

— Не об этом ли все галдят в наши дни? Просторы?

— Мистер Джойнсон? Я Чарльз Вичвуд, привет. — Ответа не последовало, но Чарльз бодро продолжал: — Я звонил насчет портрета.

Старик уперся рукой в бедро.

— Она в делах, она в бегах, она у черта на рогах. Так что о ней и не толкуй. — Он помолчал. — Как тебе моя вывеска? — Он указал на табличку "Осторожно, злая сука". — Это я сегодня ночью придумал. Ну-ка, давай входи — и похихикаем. — Говоря это, он поманил Чарльза в дом. — Люблю от души похихикать, честное слово. — У него был какой-то особый льстиво-вкрадчивый голос, и изо рта у него пахло мятными пастилками. — Надеюсь, ты не куришь, — сказал он, любовно беря Чарльза под руку и ведя его в коридор. — Я соблюдаю строжайший режим. — Он еще раз огляделся по обеим сторонам улицы, прежде чем захлопнуть дверь. — Впрочем, зови меня просто Пэт. — Тут он и в самом деле захихикал. — Помассируй-ка мне шею, а? Что-то затекла. — Чарльзу не особенно хотелось дотрагиваться до кожи этого старика, и он коснулся кончиками пальцев воротника спортивного костюма и слегка

нажал. — Нет-нет, — сказал Пэт. — Чересчур вы, молодые, костлявы. Пойдем на кухню. — Он заспешил по коридору со стариковской энергичностью, слепой и суматошной.

Чарльз пошел за ним и, глядя, как Пэт вскрывает банку морковного сока, спросил как будто невзначай:

— Мистер Джойнсон, это ведь вы продали картину в лавку Лино?

Пэт внезапно рассердился, пролив морковный сок на подбородок.

— Я вам никакая не мистер Джойнсон! Сказано же — нет ее дома. Не могу я это пить. — Он поставил банку с соком на стол. — Я вне себя. Она мне грозила, она меня била, она меня сломила. Она бушевала, рвала и метала жуть что тут творилось. Как мне садиться на свой режим, когда здесь такое? — Чарльз пробормотал что-то невнятно-сочувственное, и Пэт бросил на него быстрый пронзительный взгляд. — Я думаю, молодежь не должна ходить в свитерах, джинсах и парусиновых туфлях. Как неряшливо. Как нелепо. Как уродливо. — На Чарльзе были все три преданные порицанию предмета, и он был весьма озадачен, когда вслед за этим Пэт спросил: — Ты видишь забавные картинки, правда ведь? — Он почесал

краешек леопардовой накидки, а Чарльз, уже несколько оттаяв, утвердительно кивнул. — Ну пойдем, — продолжал Пэт. Пробежимся-ка. А похихикать можем и по дороге. — Он достал из кармана своего спортивного костюма четыре таблетки и с жадностью проглотил их; Чарльз видел, как на его тощей шее двигается адамово яблоко. Когда они вышли из дома, Пэт снова любовно повис на руке у Чарльза. — Я всегда вокруг церкви бегаю трусцой, — сообщил он. — А она терпеть этого не может.

Они побежали к северной оконечности Св. Марии Редклиффской. Старик трусил впереди: задрав подбородок и плотно прижав к бокам локти, он тихонько пыхтел, отдуваясь между словами:

— Терпеть не. Может. Знать не. Хочет. Хрен с ней.

Чарльз не бежал, а скорее совершал, наподобие краба, серию косых и длинных прыжков, стараясь привлечь внимание Пэта.

— Но это ведь вы продали картину?

Пэт ликовал.

— Она и знать не. — Передышка. — Знает еще. — Они уже миновали северный портал и теперь двигались по гравийной дорожке, которая вилась в сторону западного края церкви,

к часовне Богоматери. — Мисс Высочайшая. И Всемогущая. Она так про себя думает. А всё, что ей надо. Это черномазый.

— Разумеется, — невозмутимо ответил Чарльз, как если бы услышал разумнейшее утверждение, и — пока Пэт не завел очередную одышливую тираду быстро задал ему новый вопрос: — Где вы ее нашли?

Пэт схватился рукой за левый бок, будто у него началось колотье.

— На чер. Даке.

— А кто это? — спросил Чарльз самым невинным тоном. Он стал замедлять бег, и Пэт благодарно последовал его примеру. — Кто это там на портрете?

— И не спрашивай. С ней не говорю. Ее не слушаю. Ее не понимаю.

Чарльз задержал взгляд на лице Пэта, а затем, приняв непринужденный вид, спросил:

— Можно мне подняться на чердак?

Они пробегали мимо южной стены, и Пэт, вцепившись в свою накидку, грозившую вот-вот сползти, грациозно пробирался между горбылями старинных надгробий. Наконец они вновь оказались на Колстонс-Ярд. Когда они прибежали обратно на кухню, все еще тяжело дыша, Чарльз

повторил свой вопрос:

— Пэт, можно мне подняться на чердак?

Услышав, что к нему обращаются по имени, старик призадумался, а потом застенчиво спросил:

— Для чего тебе подниматься на чердак, если здесь есть все, что нужно? — Он снова помолчал. — Тебе что, нужен мужчина?

— Да. Тот, который изображен на картине.

— А, эта. — Он захихикал. — Ну, это, верно, кто-нибудь из родственниц.

— Я просто хочу взглянуть, нет ли там каких-нибудь бумаг, связанных с ней. С ним. Для меня это важно, Пэт.

— Придержи-ка меня, размяться хочется. — Чарльз взялся за левую ногу старика, и тот, ухватившись для опоры за раковину, выполнил изящную арабеску на кухонном полу. Это вроде бы успокоило его. — Забирай ее бумаги, — сказал он спокойно, — забирай ее записки, забирай ее дневник. Пусть прозябает в неведении.

— Так мне можно пойти наверх? — Чарльз продолжал говорить игривым тоном.

— На какой такой верх? — Пэт был настроен не менее игриво.

— Достать бумаги.

— Никуда идти не надо, сучка ты эдакая. Из-

виняюсь, сушка. Бараночка. Я всё снес вниз. Не хочу, чтоб у меня над головой какие-то ее вещи валялись. — Он выразительно содрогнулся всем телом, затем совершил небольшой пируэт и изящно указал ногой в сторону двух пластиковых сумок. На обеих красовалась надпись "Здоровое питание от Боди-Тек", и, подойдя поближе, Чарльз увидел, что они набиты бумагами и рукописями. — Она твердит из года в год о каких-то своих семейных сокровищах. А я ей говорю: "Единственное сокровище в твоей семье — это я". Она в ответ: "Тогда иди в сад, заройся в землю и не вздумай пускать ростки по весне". Ростки, говорю я. Пускать ростки? С чего это я должен пускать ростки ради такой старой калоши, как ты? Найду себе занятие получше.

— Так значит, это и есть то сокровище? — Чарльз держал перед собой сумки.

Старик приложил палец к губам.

— Ей ни слова. А не то меня замордует, излупцует, живьем заест.

— Почему же?

— Это барахло — ее тайна. А я вот забрался туда и их достал. — Он показал на чердак. — И весь в пыли изгваздался, как какая-нибудь грязная старая королева. Знаешь, что такое старая королева?

Когда-то они у нас водились.

— А теперь они вам не нужны?

— А на кой мне сдалась старая королева? С тех-то пор утекло столько воды, сколько мне и не выпить.

— Да нет, я про бумаги — они вам не нужны?

— Они меня не касаются. Они меня подавляют. Они меня угнетают. Они меня раздражают. Но они меня не касаются.

— Значит, можно их забрать?

— Так тебя, говоришь, Чарльзом зовут? — Тот кивнул. — Бери все, что хочешь, Чарли. Не слыхал такую песенку: "Чарли, милашка Чарли?" Ее распевали в тыща девятьсот лохматом. — Пэт снова захихикал. — Теперь уходи, Чарли. Мне нужен дневной сон для поддержания красоты. А тебе не нужен? — Он подошел поближе и потрепал сумки, которые Чарльз все еще держал перед собой на весу. — Правда, похожи на вымя? Вымя, как у старой коровы. А она корова и есть. — Он проводил Чарльза до двери. — Запомни, — сказал он, — мы не встречались. Мы не говорили. Мы не влюблялись. А теперь до свидания.

Он проследил, как Чарльз перешел улицу и повернул на дорожку, которая вела к южному порталу церкви. Потом, вздохнув, он сел на пол

скрестив ноги и стал дожидаться — с отчаянием и в то же время с вызовом — возвращения мистера Джойнсона.

Страждя и пожирая

Филип Слэк с нетерпением устремился под мирную сень Св. Марии Редклиффской. Он догадывался, что и Вивьен, и Чарльза что-то тревожит, но никак не мог понять, что же именно. Отчасти поэтому он и согласился сопровождать Чарльза в этой поездке: он хотел склонить его к разговору начистоту, но — как он того и ожидал — ничего не вышло. Между тем, последние несколько недель беззаботность Чарльза казалась вынужденной и потому неестественной, а привычное спокойствие Вивьен тоже сделалось чересчур нарочитым: порой казалось, что она дрожит от напряжения, желая оставаться такой, "как всегда". Все это огорчало Филипа: семью Вичвудов он считал своей родной семьей и, по правде, другой у него не было. Но вдруг что-нибудь случится… и что это за болезнь, о которой Чарльз упомянул в поезде? С такими размышлениями он шел теперь к старинной церкви.

Он вошел в северный придел нефа, и под просторными храмовыми сводами звук его шагов отдавался гулким эхом позади него: казалось,

будто за ним по пятам следует кто-то другой. Поддавшись внезапному детскому страху, он быстро пересек неф, устремившись к южному трансепту. Он собирался прислониться к стене, как вдруг к чему-то прикоснулся. Пробормотав: «Виноват», он обернулся и увидел, что задел ногой лежащую каменную фигуру. Это был паломник: к его шее была привязана шляпа, а рука сжимала посох. Лицо пилигрима выражало умиротворение, но сам камень был такой стертый и пестрый, что невозможно было понять — открыты его глаза или закрыты.

Филип быстро прошел в дальний конец церкви и уселся на один из деревянных стульчиков, стоявших возле баптистерия. Отсюда верующему или случайному посетителю открывался вид на весь неф, и Филип, всматриваясь в мерцающие синие, красные и желтые стекла Восточного окна, снова успокоился. Цвета эти были настолько ярки, что казалось, будто витраж парит в воздухе, а его насыщенный, будто отливавший парчой свет переливался под высоким сводчатым потолком. "И вот теперь я вижу вновь, — подумал Филип, — то, что ребенком видел Томас Чаттертон".

Его мечты прервал звук чьих-то шагов, и он заметил маленького мальчика, который с уверен-

ным видом шел по узкому приделу, уводившему в южный трансепт. Склонив голову, он, видимо, внимательно разглядывал мощеные плиты, по которым ступал. Потом он скрылся за гробницей с балдахином, расположенной возле нефа, а немного погодя с другой ее стороны показался юноша: это выглядело так, как будто в пределах древнего храма произошло внезапное превращение. Филип в изумлении уже собрался привстать с места, но вдруг увидел их обоих в верхней части нефа. Мальчик и юноша прошли один мимо другого, не подав никакого знака приветствия или узнавания, и свет, падавший из окна с противоположной стороны, на миг размыл слившиеся очертания их фигур. Филип видел перед собой лишь тени, а шаги их оставались бесшумны.

Мальчик исчез за чугунной решеткой, и немного погодя в церкви зазвучало эхо хаотичных нот: наверное, он пришел сюда поупражняться в игре на органе. Вскоре случайно подобранные ноты скатились к раскатистым низким тонам, которые, по-видимому, особенно нравились ему. Затем он принялся одолевать крутую гармонию какого-то гимна, причем играл с таким тщанием и усердием, что можно было догадаться: он выучился этому совсем недавно. И снова церковь

заполнилась звучанием старинной музыки. Казалось, ребенок еще слишком мал для столь меланхоличного занятия, но когда Филип поднялся и прошел мимо чугунного заграждения, он увидел на лице мальчика такое восхищенное увлечение, будто тот прислушивался к звукам своей собственной жизни, которые возвращались к нему вспять. Эта церковь поглотит его целиком, и он будет играть ее музыку до самой смерти. Филип отвел взгляд.

Он уже собирался уходить, как вдруг заметил рядом с оградой металлическую табличку, державшуюся на непрочных заклепках. Она гласила следующее: "Памяти Томаса Чаттертона, 1752–1770, который в детстве молился в этой приходской церкви". Под этой надписью были выбиты еще четыре стихотворные строчки, и Филипу пришлось вплотную приблизиться к доске, чтобы разобрать их:

Я с юных лет, все страхи обинуя,

Стремил свой путь чрез гулкие теснины,

Лесную глушь, хором былых руины,

Душой бесед с усопшими взыскуя.

Кто-то дергал его за рукав. Он с тревогой обер-

нулся и увидел старика, который глядел на него блестящими глазами.

— Он здесь не похоронен, он-то точно нет. — Старик издал смех, похожий на кудахтанье. — Нет-нет, только не он. Никто не знает, куда он делся и где схоронился. Он — это тайна, и еще какая.

Филип только и ответил:

— Представляю.

— Верно. Совершенно верно себе это представляете. Тела-то так и не нашли. Всё обыскали, а его так и не нашли. — Он взял Филипа под руку и повел его по церкви, направляясь к северному входу. — Ни одного Чаттертона не найдете у нас в Брысьтоле. Все они сгинули, все до последнего. — Они медленно приближались к баптистерию. — Про него всё-всё написано. Только гляньте-ка вот сюда. — И старик принялся рыться в брошюрах, разложенных для продажи рядом с плакатом "Мир в опасности" и небольшим макетом самой церкви; повсюду бегали солнечные зайчики, окрашенные в цвета высоких витражей. — Вот, — сказал он наконец, — нашел его. — Он вытащил брошюру, озаглавленную Томас Чаттертон: сын Бристоля. — Это то, что вам надо.

Он склонил голову набок и стал в ожидании

смотреть на Филипа. Тот, помедлив, спросил:

— Сколько?

— Это уж сколько вам не жалко. Мы ведь в храме Божьем.

Филип начал судорожно обыскивать карманы джинсов и наконец извлек фунтовую монету.

— Этого хватит?

— Хватит, и вполне. — Старик быстро забрал монету и слегка приподнял ее правой рукой, одновременно протягивая Филипу брошюру. Затем, под внезапным наплывом доверительности, он снова взял его под руку и сказал: Ну, а теперь, раз всё так славно, я вам кое-что покажу. Он повел Филипа к северному крыльцу, и свет из-за полуоткрытой двери падал на правую половину его тела, на морщинистую шею, старое пальто и дрожащую руку, которая по-прежнему сжимала монету. — Вон там, — сказал старик, открывая дверь и указывая на улицу поодаль, — вон там — его дом. Но это только фасад, — всё, что осталось. — Филип взглянул в том направлении, куда показывал старик, и увидел какую-то раскрашенную поверхность, водруженную возле главной дороги. — Его дважды передвигали, так-то. А теперь это просто развалины. — Он снова склонил голову набок и скосился на Филипа. — Еще что-

нибудь хотите узнать?

— Нет, спасибо. — Филип почувствовал смутную тоску. — Я увидел достаточно.

— Значит, уже уходите, да? — Он проводил Филипа по лестнице до дворика. — И помните, — сказал он, когда Филип зашагал прочь, — его они никогда не найдут, никогда в жизни. Он не оставил и следа.

но Взор мой прикован к тебе

Над головой привычно шумели чайки, когда Филип обогнул церковь Св. Марии Редклиффской и увидел Чарльза, который уже ждал его за углом: он стоял, прислонясь к южному порталу, сложив руки и насвистывая про себя. У его ног лежали два пластиковых мешка, и на миг Филип с удивлением подумал уж не ходил ли тот за покупками.

— Привет, — сказал он замогильным голосом.

Чарльз поднял взгляд, словно удивившись.

— А, привет-привет. Надо же здесь повстречаться. Ну что, пойдем? — Он пнул булыжник, отставший от мостовой, и тот отлетел к кладбищенским плитам. После беседы с Пэтом он пребывал в хорошем расположении духа и, направившись по тропинке к главной дороге, продолжал насвистывать.

Филип поспешил догнать его.

— Пища? — спросил он, задумчиво глядя на две пластиковых сумки, которыми Чарльз размахивал в воздухе.

— Пища для ума. Он отдал их мне. — Он кивнул в сторону Брамбл-Хауса.

— Ты видел владельца картины?

— Не уверен. Кажется, я видел — как это говорится? — его друга, что ли. Видимо, он гомосексуалист. — Филип зарделся, а Чарльз громко рассмеялся. — Он всё мне отдал. — Он взмахнул сумками еще выше, когда они переходили главную улицу. — Он форменный псих. Ты когда-нибудь видел Сестер-Уродок в пантомиме?

Филип его не слушал.

— Дом.

— Что?

— Это дом Чаттертона. — Филип кивнул на фасад, который совсем недавно показал ему старик. — Вернее, всё, что от него осталось.

Они подошли поближе к стене. Кроме нее, действительно, ничего больше не осталось. В ней было четыре окна и дверь, все свежевыкрашенные, а толщина самой стены составляла дюймов шесть; когда проезжали машины, она сотрясалась.

— Вот так карточный домик, — весело сказал

Чарльз, входя в сад, который раскинулся позади этого сиротливого сооружения. Там стояли солнечные часы, а вокруг их основания виднелись стихи. Чарльз наклонился прочесть их:

Кабы нещадный Рок, чья жатва – дни, мгновенья,
Узрел Поэта нежное цветенье,
То жадный серп сподобился б отвесть,
И сей росток доныне мог бы цвесть.

— Какие отвратительные стихи. Терпеть не могу кладбищенских куплетов. — И тут же добавил: — Поторопимся на поезд. А то нас не дождутся. Доберемся до Паддингтона. А потом расшифруем Чаттертона.

О сладостный Обман

— "Томас Чаттертон родился на Пайл-стрит, на расстоянии всего нескольких ярдов от приходской церкви Св. Марии Редклиффской". — Филип читал вслух брошюрку, купленную у старика, и, когда поезд тронулся с Бристольского вокзала, прервался на миг, чтобы взглянуть на темно-красное здание Боврилской фабрики. — "Его отец служил там хористом, но он умер, не дожив трех месяцев до рождения Томаса".

— Как жаль. — Чарльз уже вынул все матери-

алы из пластиковых сумок и теперь сортировал перед собой на оранжевом пластмассовом столике машинописные страницы, старые письма и разрозненные бумаги. — Поэтому они и дом могли себе позволить только в одну стену?

Филип с унынием посмотрел на заброшенный путепровод, а затем продолжил чтение:

— "Томас посещал знаменитую Колстонскую школу в Бристоле…"

— Ну конечно же, Колстонс-Ярд. Мне кажется, я повстречал его старую учительницу гимнастики.

— "…но прежде всего, он занимался самообразованием в архиве, располагавшемся над северным портиком церкви. Там, в двух старинных сундуках, он обнаружил некоторые средневековые документы, касавшиеся истории Бристоля и строительства самой церкви Св. Марии Редклиффской. Воспламененный этими познаниями и любовью к древности, он сам начал сочинять стихи на средневековый лад. Эти поэмы, известные как "Роулианский цикл" — по имени вымышленного им средневекового монаха Томаса Роули, возвестили начало романтического течения в Англии и, хотя в позднейшие годы обнаружилось, что это всего лишь подделка,

сфабрикованная Чаттертоном, они тем не менее сделались залогом его вечной славы".

Чарльз выхватил у Филипа брошюрку.

— Ненавижу это выражение — "вечная слава". — Он поднял голос: Избитое клише. — Оно в самом деле угнетало его. — Есть здесь что-нибудь новенькое? — Он быстро пролистал брошюру до самого конца и прочитал вслух заключительную фразу: — "Чаттертон знал, что подлинный гений состоит не в поиске мыслей или идей, никогда прежде не встречавшихся, а в создании новых удачных сочетаний".

— Верно, уныло пробормотал Филип.

— И это, — продолжал Чарльз, — сделалось залогом его вечной славы.

Состроив гримасу, он перебросил брошюру обратно Филипу, а потом оторвал полоску от очередной страницы Больших ожиданий, скатал ее в шарик и отправил в рот. Он устроился поуютнее в своем теплом кресле и, принявшись что-то бормотать себе под нос, постепенно развеселился.

— Новые удачные сочетания. Новые удачные сочетания. Так значит, выходит, — спросил он, жуя, — что нам просто нужно крутиться вокруг слов?

— О Боже. — Филип, углубившись в чтение

брошюры, не расслышал вопроса. — Как его имя? — Его голос звучал очень серьезно.

— Легион?

— Как звали человека, которому все это принадлежит? — Филип указал на груду бумаг, которые Чарльз вывалил на стол.

— Я бы не сказал, что они ему действительно принадлежат. Прошлое не принадлежит никому…

— Как его имя?

— Джойнсон.

Филип отобрал у Чарльза Большие ожидания, а затем снова стал зачитывать вслух из брошюрки:

— "Ребенком Чаттертон обожал старинные книги, и бристольские книготорговцы хорошо знали его. Особенно подружился он с неким Джойнсоном…" — Здесь Филип сделал ударение, и его отрешенный голос зазвучал почти меланхолично: — "…которому принадлежала книжная лавка на Крикл-стрит. Дошли рассказы о том, как он, бывало, просиживал среди пыльных шкафов этого магазина все утро, с жадностью проглатывая все книги, какие только Джойнсон мог предложить ему. Часто они с книгопродавцем беседовали о прочитанном; говорили даже, что

Джойнсон и стал его подлинным наставником, так как, по-видимому, именно он познакомил мальчика с сочинениями Мильтона, Каупера,[27] Дайера[28] и многих других поэтов. Впрочем, он получил отличное вознаграждение за свои труды, поскольку Джойнсону посчастливилось стать первым издателем Чаттертона. Спустя двадцать лет после самоубийства поэта (этот печальный юноша покончил с собой в возрасте семнадцати лет)", — тут голос Филипа стал еще глуше и замогильнее, — «спустя двадцать лет после его самоубийства Джойнсон издал и напечатал первый поэтический сборник Чаттертона». Чарльз смотрел в окно.

— Но у него же была картина. Он знал, что Чаттертон не убивал себя. Он знал, что тот все еще жив!

— Значит, это была их тайна, — мягко проговорил Филип. Тут поезд с внезапным толчком

---

[27] Примечания: 27

Уильям Каупер (1731–1800) — поэт английского предромантизма, в чьем творчестве большую роль играли религиозные мотивы и внимание к глубоким социальным противоречиям своего времени. Автор двухтомного сборника Стихотворений и поэмы «Задача». В старости страдал от душевной болезни.

[28] Примечания: 28

Джон Дайер (1699–1758) — английский поэт и художник, автор "Руин Рима" и поэмы «Руно», посвященной британской торговле шерстью. Находился под заметным влиянием Мильтона.

остановился, и он, уже повеселев, продолжил: — Неполадка с сигнализацией. Видимо, застряли на стрелке. — В ранней юности Филип был заядлым "трейн-споттером",[29] и с тех пор его живой интерес к таинствам железнодорожной «кухни» не пропадал. — Можем долго здесь простоять.

Чарльз по-прежнему смотрел в окно.

— Но почему это было их тайной? К чему было притворяться, будто Чаттертон мертв? — И с возросшим нетерпением он вновь обратился к бумагам из Брамбл-Хауса. Когда поезд дернулся, они рассыпались по всему столу, и только теперь Чарльз заметил большой коричневый конверт, на котором было написано красным карандашом «Хрупкое». Он разорвал конверт, в спешке поранив о его острый край большой палец, и извлек какие-то листки. Это была бумага грубой выделки, покрытая пятнами и потемневшая по краям, а некоторые страницы были испещрены круглыми желтыми точками вроде мелких подпалин.

Чарльз поднес их к лицу, чтобы обнюхать.

— Пыльные, — сказал он Филипу, который с

---

[29] Примечания: 29

"Трейн-споттингом" в Англии называется особый вид хобби «фотоохота» за локомотивами. Существуют специальные клубы, где трейн-споттеры показывают друг другу новые снимки еще не «учтенных» моделей.

любопытством за ним наблюдал. — Я не прочь отъесть кусочек. — Поперек каждой страницы бежало множество неразборчивых строк коричневыми чернилами; казалось, кто-то писал второпях или под влиянием некого мощного чувства, поскольку на полях каждого листка были вписаны по вертикали добавочные строки. По-видимому, неизвестный автор был вынужден втиснуть весь свой текст в сколь возможно теснейшие рамки. Да, разобраться нелегко, — сказал Чарльз. — Мне понадобится лупа. — Он перевернул последнюю страницу и, не сдерживая возбуждения, прочел вслух: "Т.Ч"

— А? — Поезд вновь тронулся, и Филип немедленно отвлекся. Повтори-ка.

— Тут внизу подпись — "Т.Ч."

Он заметил на краю листа полоску крови, вытекшей из его пореза, и с кислым видом протянул пачку бумаг Филипу, сам же принялся зализывать пораненный палец. Тогда Филип, пролистав бумаги, прочитал следующее:

— "Древность была вверена моим заботам словно слепой пророк, ведомый мальчиком. Я продавал свои Стихи и книгарям, и хотя в Лондоне меня ждал некоторый успех, по большей части слава Томаса Роули ходила по Бристолю, и

торговля моими трудами велась весьма бойкая. Нашелся один книгопродавец, заподозривший истину, сиречь — что стихи эти моего собственного..." — Филип смолк. — Не могу слово разобрать. То ли сожаленья, то ли вожделенья.

Чарльз все еще сосал палец, то и дело вынимая его изо рта, чтобы изучить ранку.

— Сложи их обратно в конверт. Я сейчас не могу их разглядывать. — Но мысленно он уже разрешил загадку Томаса Чаттертона и теперь с наслаждением восхищался миром. Он осторожно обернул большой палец «клинексом», но вскоре уронил салфетку на пол, взявшись за другой лист бумаги. — И вот опять! сказал он. — Тот же почерк. — Затем он прочел: — "Поднимись же ныне из своего Прошлого, словно из Праха, что окутывает тебя. Когда Лос услыхал это, он поднялся с плачем, испустив первородный стон, и Энитармон ввергласъ в мрачное Смятение".

— Блейк. — Филип поглядел на пустое сиденье рядом с собой, как будто кто-то только что уселся туда. — Это Уильям Блейк.

— Я знаю. — Чарльз внезапно совершенно успокоился. — Тогда почему это подписано инициалами "Т.Ч."? — Чувствуя все большее возбуждение по мере того, как поезд вез их все

ближе к дому, Чарльз прочел еще одну строку с той же страницы: — "Страждя и пожирая; но Взор мой прикован к тебе, О сладостный Обман".[30]

[30] Примечания: 30

"Craving amp; devouring; but my Eyes are always upon teee, O lovely Delusion" — цитата из поэмы Уильяма Блейка Вала, или четыре Зоаса (Ночь седьмая, строки 306–307).

5

Наугад пробираясь сквозь несущуюся людскую толпу, Вивьен Вичвуд направлялась по Нью-Честер-стрит в "Камберленд и Мейтленд". В утреннем свете мир опять был новым: всё казалось свежевыкрашенным, сверкающим, как бока семги, уже выложенной для продажи в рыбной лавке «Ройялти» на углу улицы. Но Вивьен думала о Чарльзе, и впечатления от яркого дня перечеркивало воспоминание о том, каким больным и трясущимся он был два дня назад. В субботу вечером он вернулся из поездки в Бристоль с Филипом. Он был так воодушевлен, что плюхнул обе пластиковые сумки Эдварду на плечи, и мальчик, сморщив нос, заглянул внутрь.

— Где ты подобрал этот мусор? Чем-то дохлым пахнет.

— Не дохлым, Эдвард Несъедобный, а очень даже живым. Он сделает твоего бедного папу настоящей знаменитостью. — Но, проговорив эти слова, он задумчиво уставился на сына: внутри его головы вновь смутно зашевелилась какая-то далекая боль.

В комнату вошла Вивьен, и Филип поднял руку

в приветствии, одновременно краснея.

— Что это еще такое? — спросила она мужа.

— Куча мусора! — радостно вскричал Эдвард и обеими руками стиснул сумки.

Чарльз отобрал их у сына.

— Это бумаги Чаттертона, — сказал он торжественно. — Я их обнаружил.

Вивьен озадаченно взглянула на Филипа, ища подтверждения этой новости, но тот задумчиво глядел на башмаки Эдварда.

— Это правда? — спросила она.

— Да, это правда. — С бурным воодушевлением, встревожившим Вивьен, Чарльз взял сумки и вывалил их содержимое на диван. Он принялся расхаживать вокруг, бормоча: — Пиастры! Пиастры!

Эдвард, вторя ему, стал кричать:

— Йо-хо-хо, и бутылка рома!

Потом Чарльз услышал, как у него под черепом лопается воздушный шар, и, ощутив внезапную тошноту, тяжело осел на диван.

Вивьен увидела, как он побледнел, и, отодвинув бумаги, села рядом, чтобы утешить его.

— Не трогай документы, — сказал Чарльз. — Не повреди их. Они очень хрупкие. — Он просидел несколько минут со склоненной головой, а Фи-

лип тем временем, по знаку Вивьен, подхватил Эдварда, чтобы унести из комнаты.

— Что это с папой? — громко спросил мальчик.

Чарльз взглянул на него.

— Это проклятие Чаттертона, — проговорил он мягко. Он попытался улыбнуться, но лицо его почему-то осталось неподвижно.

Вивьен приложила ладонь к его холодной щеке.

— Тебе надо снова сходить ко врачу, — сказала она. — Теперь я не на шутку опасаюсь.

— Не могу я все время ходить по врачам. У меня уйма работы. — По крайней мере, это он собирался сказать, указывая на стопки бумаг, — но Вивьен услышала, как он пробормотал только: — Эджис доксон. Фистула дон. Он попытался встать, но не сумел, и через несколько минут Вивьен пришлось, крепко держа, вести его к кровати.

— Он сам не свой, — сказала она Филипу. — Ему надо отдохнуть.

На следующее утро ему вроде бы стало лучше, и когда Вивьен стала объяснять, как она встревожилась накануне, он лишь потрепал ее по щеке и рассмеялся. Бывали времена, когда ее удивляло странное бесчувствие мужа, но она сознавала, что это бесчувствие направлено в первую оче-

редь на него самого. Если прежде он не желал обращать внимания на их бедность, то теперь он точно так же не желал обращать внимания на собственную болезнь.

сон разворачивается

— Разумеется, он был величайшим художником сороковых годов — быть может, за исключением Джоан Кроуфорд.[31] Я имею в виду не ее игру, а ее волосы. Это было героично, если только дерево может быть героичным. Доброе утро, Вивьенна. — Камберленд разговаривал с Мейтлендом, когда Вивьен вошла в галерею. — Рад тебя видеть наконец в столь сплошном цвете. Как качается маятник? — На нем была рубашка в тонкую полоску, застегнутая так туго, что, казалось, вокруг шеи сдавлена петля; здороваясь с Вивьен, он поворачивал голову очень медленно, чтобы как можно дольше не показывать крупную бородавку, торчавшую на его тонком бледном лице. — Но когда я вижу это платье, я тревожусь о человеческой цене абстрактного искусства. Какую же цену всем нам пришлось заплатить? — Вивьен ограничила свое приветствие одной лишь улыбкой. Второй ее начальник, Мейтленд,

---

[31] Примечания: 31
Джоан Кроуфорд (1908–1977) — американская киноактриса.

кивнул и ничего не сказал. — Я видел улыбку, Вивьенна? — Камберленд развернулся в обратную сторону, так что его бородавка снова сделалась невидимой для нее. — Или это красный зверек прошмыгнул по твоему лицу? — Он махнул в ее сторону рукой, сложив пальцы словно для благословения, а потом возобновил разговор с молчаливым Мейтлендом. — Так или иначе, этот аукционист, должно быть, от Дикинса и Джонса. Тебе не кажется, что в коричневом костюме человек выглядит каким-то расчетливым? Всегда подозреваешь — уж не сам ли он его связал. И все-таки я не мог удержаться от этих Сеймуров.

Вивьен, упорно продолжая улыбаться, — несмотря на то, что на нее уже не обращали внимания ни тот, ни другой, — зашагала по галерее к своему небольшому кабинету в дальнем конце. Эта прогулка всегда доставляла ей удовольствие: галерея была столь прохладна, бледна, прозрачна (картины как будто мерцали на светло-серых стенах), что ее собственные ощущения словно понемногу испарялись, и наконец она достигала своего рабочего места; это был стол исполнительного секретаря мистера Камберленда и мистера Мейтленда.

Сегодня утром там уже сидела довольно полная

молодая женщина. Она полировала ногти, но, завидев Вивьен, тотчас же бросила пилку в свою ярко-красную сумочку.

— Извини, старушка, — сказала она. — Я, кажется, в твоем седле? — Она соскользнула со стола и захлопнула свою сумочку.

— Доброе утро, Клэр. — Вивьен уже отчасти обрела свою всегдашнюю живость, проявлявшуюся на работе.

— Голова на взводе, Зам тоже. — Это относилось к Камберленду и Мейтленду. — Они тут отхватили трех Сеймуров. Три обнаженки. — Вивьен знала, что так Клэр называла обнаженную натуру: она уже привыкла к девчачьему жаргону своей сотрудницы. — Другая школа в ярости.

— Что же это за школа?

— Старый дилер Сеймура, Сэдлер. Голова говорит, что тот плевал на аукцион.

Тут из-за двери показалась бородавка Камберленда.

— Знаешь, Клэр, была когда-то такая штука, которая называлась кофе. Считалось, она помогает в разных передрягах. Она оказывала ужасающее действие на бедняков, а еще вызвала революцию в Южной Америке.

Клэр подпрыгнула, чуть не наскочив на него.

— Да, сэр! Будет сделано. — И она исчезла из комнаты, оставив после себя лишь едва ощутимый запах пудры.

— Она мила как никогда, правда, Вивьенна? Милее и быть не может, даже если постарается. — Вивьен ничего не ответила; она всегда испытывала какую-то неловкость, оставаясь наедине с Камберлендом. Она принялась деловито разбирать и перекладывать письма и накладные, лежавшие на столе. В силу странной особенности ее характера, хотя она всерьез рассматривала себя частью галереи, когда находилась где-нибудь еще, — приходя сюда, она чувствовала себя человеком посторонним, если не совершенно чуждым. — У тебя такой эдвардианский вид, когда ты занята, Вивьенна. Очаровательный такой этюдик, право слово. Какая трагедия, что ты родилась не в ту эпоху.

Вивьен уже привыкла к манере своего начальника и знала, что тот ожидает от нее ответа в тон. Порой казалось, что он задевает других нарочно — чтобы с удовольствием услышать, как задевают его самого.

— Вам бы хотелось в галерее меня повесить? — спросила она его.

— Да нет, не то чтобы. Так, набросать.

— А потом растянуть и четвертовать?

— Ну скажем, расположинить — так как-то спокойнее. — И оба рассмеялись над мрачной сценкой, которую только что придумали. — А знаешь, Вивьенна, страна в тебе нуждается. Кое у кого трудности. — Так он обычно называл Мейтленда, и они уже собрались было вместе отправиться к нему, как вернулась Клэр, неся кофе. Камберленд взглянул на напиток с ужасом: — Да он такой черный, Клэр, что я даже не знаю — пить его или пощадить. Они углубились в галерею и встретили там Мейтленда, который стоял, прислонившись к стене и держа одну из картин Сеймура у себя над головой. Он был толстеньким коротышкой, и его руки едва-едва вытягивались в высоту, как будто намертво там замерев. Вивьен не знала, сколько времени он простоял в таком положении, но по его лбу уже стекала струйка пота.

Камберленд тоже заметил это.

— Ни дать ни взять благородный дикарь. На месте Вивьенны я бы уже сгорал от страсти. — Мейтленд зарделся, но ничего не сказал, а его партнер, приблизившись на цыпочках, передвинул его руки на дюйм или около того. Вивьенна, дерзай быть мудрой, дерзай быть грубой. Теперь

кое-кто в правильном положении? Он не будет тут стоять вечно, ты же понимаешь. Хотя, думаю, мы можем водрузить ему на голову вазу, и выйдет менада. А критики и не разберут, что к чему.

Вивьен взглянула на картину, изображавшую обнаженную на пляже, а лицо Мейтленда тем временем делалось все багровее. Казалось, он уже слегка задыхается.

— Она слишком мала, — сказала Вивьен, — слишком мала для этой части стены.

— Ну, Мейтленд. Слышишь — она слишком мала. Тогда что толку держать ее, раз она слишком мала.

Мейтленд с удрученным видом прислонился к стене.

— Мне кажется, если поместить рядом две… — продолжала Вивьен.

— Может быть, кое-кто явит величайшую милость и поднимет сразу два холста? — Мейтленд со вздохом взял по картине в обе руки и поднял их над головой. От совершенного усилия глаза его несколько выкатились, и Камберленд сразу заметил происшедшую перемену. — Говори же, Вивьенна, пока кое-кто не обратил тебя в камень. Теперь-то он вылитый мифический персонаж.

Она увидела, как трясутся руки Мейтленда от

непосильной ноши.

— Вот теперь то, что надо, — быстро сказала она.

Мейтленд, по лбу которого пот лил ручьем, тревожно взглянул на своего партнера, ожидая подтверждения такого решения. Камберленд немного помолчал, задумчиво поглаживая бородавку.

— Ну, — сказал он наконец, — мне кажется, она блестяще справилась с задачей. — Казалось, будто он отважно рвется защитить Вивьен от какой-то враждебно настроенной толпы.

Клэр захлопала в ладоши.

— Пятерка с плюсом, молодчина. Покажись-ка всему классу.

Мейтленд соскользнул по стене вниз, бережно положив обе картины на светло-серый ковер, прежде чем окончательно рухнуть на пол. Он раскрыл рот, собираясь что-то сказать, но тут в кабинете Вивьен зазвонил телефон, и Клэр побежала к нему, хихикая от возбуждения при мысли, что она первая снимет трубку. Вскоре она вернулась.

— Это тебя, Виви. Какой-то мужчина. — Камберленд на миг зажмурился и издал гулкий смешок. — Он не назвался.

Это был Чарльз. Он редко звонил Вивьен на работу, а когда это происходило, он всегда умудрялся говорить таким тоном, как если бы звонил из другой страны.

— Алло! Вив? Это ты?

— Да, это я. Что-то случилось? — Все ее страхи внезапно вернулись, и, склоняясь над столом, она расслышала в своем голосе нотку паники.

Но Чарльз, казалось, этого не заметил.

— Да ничего не случилось. Все прекрасно. — Ничего не ответив, она подождала, пока он снова заговорит. — Я тут пытаюсь вспомнить, — продолжал он, — когда же мне нужно начать работу на Хэрриет Скроуп. Я при тебе об этом случайно не упоминал?

Она почувствовала, что это не главная причина его звонка.

— Вы договорились на сегодняшнее утро. Я тебе вчера вечером напоминала.

— Отлично! Я же чувствовал, что куда-то опаздываю. — Он помолчал, пытаясь угадать ее настроение. — Ах да, кстати. Ты не могла бы сама пройтись по магазинам после работы? Раз я теперь загружен. — Вивьен согласилась. — Хорошо. Тогда все в порядке. — Чарльз, явно обрадовавшись, что его освободили от хозяй-

ственных дел, заговорил доверительнее. — Я позвонил Флинту, — сообщил он, — и знаешь, он меня пригласил сегодня вечером зайти к нему чего-нибудь выпить. Ты не возражаешь? — Он произнес эту новость так, словно не могло быть ничего естественнее, хотя Вивьен знала, что они с Эндрю Флинтом не встречались со времен университетской учебы. С тех пор Флинт сделал себе громкое имя как романист и как биограф, но Чарльз редко о нем упоминал, разве что в качестве привычного предмета шуток в разговорах с Филипом. — Ну совсем как в старые добрые времена, говорил он теперь Вивьен. В его голосе звучала победная нотка, и ей было совершенно ясно, что это открытие Чаттертоновых рукописей внезапно придало ему такую самоуверенность. Но знала она и то, что такой бодрый настрой в конце концов сойдет на нет.

— Почему бы тебе не показать ему свои стихи? — спросила она. — Может быть, он поможет их напечатать. — Наступило молчание, и Вивьен поняла (с опозданием), что как раз этого говорить не следовало. — Не забудь про Хэрриет, — поспешно добавила она. — Хочешь, я позвоню ей вместо тебя?

— Знаешь, кое-что я в состоянии сделать и

сам, — ответил Чарльз и повесил трубку.

Ее застал врасплох голос Камберленда.

— Всякий раз, как звонит какой-нибудь мужчина, кое-кто становится несносен. Он издает странные громкие стенанья, так что его приходится выводить в парк. — Оба начальника бесшумно вошли в кабинет.

— Это был всего лишь мой муж. — Вивьен заставила себя улыбнуться.

— А, муж! Я знавал когда-то одного мужа.

Вивьен улыбнулась, на этот раз более естественно.

— Знаете ли, они до сих пор существуют.

— Должно быть, мы вращаемся в совершенно разных кругах, Вивьенна. Я последний раз видел живого мужа на Британском фестивале. И то дело происходило в темноте.

Мейтленд высунул язык, видимо, выражая отвращение, и тут в кабинет возвратилась Клэр, полухихикая и полушепча, сообщившая:

— На площадке новый игрок.

— О Боже. — Камберленд иногда уставал от ее намеков. — Кто-нибудь может для меня перевести?

Клэр, видимо, обиделась и добавила уже быстрее:

— Он сказал, что его зовут Берк. Или Джерк.

— А, мистер Мерк. — Камберленд выплыл в галерею, заранее вытянув руку: он всегда гордился своим умением верно произвести первое впечатление. — Мы как раз о вас говорили. — Камберленд явно ожидал этого посетителя.

— Вот как? — Стюарт Мерк вынул руки из карманов своих мешковатых льняных брюк и подался к Камберленду. — Клевые штучки, — сказал он, глядя на картины, уже развешанные по стенам галереи. Они входили в выставку произведений абстрактного искусства из Польши, организованную Мейтлендом. Наверно, пользуются всеобщим вниманием?

Камберленд не уловил в его голосе иронии, но не был полностью уверен в ее отсутствии.

— Ну, нам они нравятся. Да и Польша теперь весьма романтична, вы не находите? Со всеми этими католиками и их моржовыми усами?

— Вы это про Леха Валенсу?

— На самом деле, я больше думал про женщин. Вивьенна! Блокнот!

Когда из кабинета показалась Вивьен, Мерк даже не счел нужным скрыть живой интерес.

— Милая курочка, да? — пробормотал он Камберленду.

— Я никогда не справлялся о ее происхождении…

— Еще бы!

— …но о яйце и речи быть не может.

Когда же все уселись в кабинете Камберленда, тот представил Стюарта Мерка как последнего помощника Джозефа Сеймура, который работал с художником вплоть до его кончины три месяца тому назад. Мерк и выставил на аукцион те три картины, которые купил Камберленд, а теперь он хотел договориться о продаже нескольких других.

— А почему, — спросил его Камберленд, — вы избегали Сэдлера? Ведь он все-таки был дилером Сеймура.

— О' кей. Верное замечание. — Мерк открыто восхищался Вивьен, которая стенографировала их беседу. — Я не слишком быстро для вас говорю? — Он самодовольно улыбнулся ей, прежде чем вернуться к заданному вопросу. Сэдлер — прохвост.

Камберленд не совсем понял, что это значит.

— Вот это, наверно, и есть жестокая откровенность. Но вы позволите и мне надеть свою шляпу галерейщика? — Он воздел руки к голове, уже вообразив себе нечто черное и довольно суровое,

быть может, с пришпиленной брошью. Позволите мне тоже небольшую жестокость?

— Пожалуйста. Может, мне даже понравится.

— Как к вам попали эти картины?

Мерк вытащил пачку «Собрание» и зажег сигарету. Когда он выпустил колечко дыма в пространство, разделявшее его и Камберленда, у того затрепетали ноздри.

— О'кей. Мне отдал их старик. Мы некоторое время работали вместе, но вам ведь об этом известно, да? — Камберленд попытался изобразить удивление, но в действительности он был хорошо осведомлен и о сеймуровской манере работать и о роли самого Мерка. — Когда старик умер, Сэдлер не мешкая заявился в мастерскую.

— Да, с дилерами нелегко. Смерть их ничуть не пугает. Она сулит им жирный куш.

— Но ему уже ничего не перепало, верно? Сеймур оставил все свои последние работы мне.

— Поэтому, естественно, его подкосила столь внезапная утрата. Для Сэдлера крокодиловы слезы и крокодиловые туфли — это идеально подобранные аксессуары.

— Мне досталось всё. За оказанные услуги, да? Старик никогда не любил расставаться с деньгами. — Мерк выпустил еще одно кольцо дыма

в потолок, и все четверо стали наблюдать, как оно медленно поднимается, а потом, легонько дрогнув, улетучивается.

— Но у вас имеются доказательства?.. — вновь заговорил Камберленд.

— Собственности? Да. — Сунув сигарету в рот, Мерк вытащил из кармана пачку бумаг, перевязанную голубой тесьмой. Он бросил связку Камберленду, и тот ловко поймал ее одной рукой. — Можете сверить с цифрами на изнанке картин, верно? Он был очень методичен. — Мерк снова уселся в кресло и улыбнулся Мейтленду, которого, казалось, несколько встревожило такое внимание. — Много лет назад я мог бы пойти своей дорогой. Я мог бы сам встать на ноги и заняться собственным творчеством. Я отдал ему четыре года своей жизни, вот так-то. — Он быстро склонился к столу, чтобы затушить сигарету, и Мейтленд вжался поглубже в свое кресло. — А теперь я хочу, чтобы это окупилось. — На миг в его голосе послышалась нотка угрозы, но затем он продолжал с прежним мягким лондонским выговором: — Вот и весь мой рассказ, да?

— И весьма неплохой рассказ. — Камберленд все это время тщательно изучал бумаги, которые швырнул ему Мерк. — Пожалуй, достоен пера

самих братьев Гримм. — Он искоса взглянул на Мейтленда. — А что думает об этом мой коллега и дорогой друг? — Мейтленд, достав носовой платок, вытирал пот со лба. Он надул щеки и ничего не сказал. — Так вот мое мнение. Мистер Мерк…

— Можете называть меня Стью.

— Стью. Мы купим ваши картины. Мы доверимся вашему рассказу, но только при условии, что больше ничего не произойдет.

спящий пробуждается

Филип Слэк всматривался в ряды темных книг; потом он включил у себя над головой лампу и в ее ярком свете увидел красные, коричневые и зеленые обложки томов. Их корешки были захватаны и потерты, а многие названия так выцвели, что можно было разобрать лишь отдельные буквы, а верхние края — за которые обычно берутся читатели, снимая книгу с полки, — были затрепаны. А за пределы того светового круга, в котором он стоял, книги отбрасывали резкие тени. Он находился в «штабелях» — в подвале библиотеки, где он работал, куда отправлялись все забытые или ненужные тома. Одни книги были свалены стопками по углам, в опасной близости к сырым стенам подвала, а другие — беспорядочно разбросаны по полу. Ему пришло в голову, что это,

наверное, книжные черви стащили их с полок, прежде чем сожрать. В этом помещении стоял назойливый и затхлый запах разложения, но именно этот запах действовал на Филипа успокаивающе и благотворно.

Он спустился сюда, чтобы посмотреть, нет ли где упоминаний о Томасе Чаттертоне, и — так как подозревал, что в старых книгах можно обнаружить кое-какую позабытую истину, — вверился поиску по принципу sortes Vergilianae.[32] И вот он принялся блуждать по узким проходам между полками, на ходу включая свет и слегка касаясь сыроватых книжных корешков; наконец он остановился наобум и снял с полки тот том, на котором замер его палец. Красный коленкор его обложки покрывала пыль, но смахнув ее рукой, Филип явственно разобрал имя автора и название: Хэррисон Бентли, Завещание. Книга вроде бы подходила для его поиска, и он раскрыл ее. Страницы романа были слегка выпачканы — по ним дугой тянулись светло-бурые пятна, а, дойдя до фронтисписа, Филип прочел, что книга

[32] Примечания: 32

Вергилиевские жребии (лат.) — так в средние века назывался способ «гадания» по Энеиде, когда оттуда наугад выбирали строку для толкования (Вергилий же в ту пору слыл магом и чародеем, предсказавшим рождение Христа в своей четвертой эклоге). Для Филипа это просто метод "поиска наобум".

была издана в 1885 году Салливеном и Бриджесом с Патерностер-Сквер, 18. Филип поднес ее к лицу, будто собираясь полакомиться, и стал бегло перелистывать страницы: пусть он иногда оказывался медлительным и нерешительным в своих сношениях с миром, зато читал он всегда быстро и жадно. Он знал, что подлинное удовольствие ждет его только в книгах.

И вскоре сюжетная линия романа сделалась для него ясной: биограф некоего поэта, везде поименованного К., обнаруживает, что предмет его изучения под конец жизни был слишком болен, чтобы сочинить те стихи, которые и принесли ему вечную славу; и что в действительности вместо поэта их написала его жена. Этот сюжет показался Филипу до странности знакомым, но он не был уверен, то ли он уже читал этот самый роман несколько лет назад, то ли он напоминал ему какие-то собственные мечтания. Оторвавшись от чтения, он перелистнул последние страницы книги и затем взглянул на оборот обложки, где рекламировалась "Самая свежая публикация мистера Бентли". Она называлась Сценический огонь, и краткий пересказ ее содержания, набранный петитом, излагал историю одного актера, который воображает, будто одержим духами

Кина,[33] Гаррика[34] и других великих исполнителей прошлого, — и вследствие этого делает триумфальную сценическую карьеру. И снова эта история показалась Филипу знакомой; он столь отчетливо узнавал ее ходы, что окончательно убедился, что уже читал об этом где-то и что это не просто игра его собственного воображения. Он понимал суть явления, называемого дежа-вю, но не думал, что это понятие применимо к книгам: ведь коли так, то как же можно доверяться собственному чтению?

Он праздно водил пальцем по водяному знаку на последней странице, как вдруг его осенило: он читал историю, рассказанную в Сценическом огне, в каком-то романе Хэрриет Скроуп. Названия его он не помнил — да это было и неважно, — а речь там шла о поэте, который воображал, будто одержим духами умерших писателей, и который, тем не менее, слыл самобытнейшим поэтом своей эпохи. И тут же Филип вспомнил, где он мог читать раньше Завещание Хэррисона Бентли: в другом романе Хэрриет Скроуп рассказывалось,

---

[33] Примечания: 33

Эдмунд Кин (1789–1833) — один из величайших английских трагических актеров; прославленный исполнитель роли Отелло.

[34] Примечания: 34

Дэвид Гаррик (1717–1779) — английский актер, драматург, поэт.

как подлинным автором многих «посмертных» публикаций одного писателя оказывается его секретарша; она так хорошо знала его стиль, что без труда научилась подделываться под него, — и лишь въедливые исследования некоего биографа позволили разоблачить обман. Это весьма напоминало сюжет того романа конца XIX века, который Филип держал сейчас в руках. Он выронил книгу, и шум от ее падения отозвался гулким эхом в библиотечном подвале.

Филип был удивлен своим открытием, тем более что романы Хэрриет Скроуп ему нравились. Когда Чарльз впервые рассказал ему, что собирается пойти к ней в помощники, Филип прочел их с жадностью и удовольствием; его восхитило ее умение сочетать жестокость с комедийностью, хотя, когда он изложил свое мнение Чарльзу, его друг просто пожал плечами и сказал: "Беллетристика порядком выродившаяся форма". Филипу пришлось согласиться с таким суждением — ведь Чарльз, как-никак, был натурой куда более творческой и изобретательной, чем он сам, — и все же он продолжал с радостью предаваться этому низменному удовольствию.

Так что означали эти заимствования у Хэрриет? Так или иначе, Филип твердо полагал, что на

свете существует лишь ограниченное количество сюжетов (ведь сама действительность тоже конечна) и что, вне сомнения, их с неизбежностью воспроизводят в различных контекстах. А то, что два романа Хэрриет Скроуп похожи на сочинения Хэррисона Бентли, написанные значительно раньше, — быть может, всего лишь совпадение. Он не был особенно склонен порицать ее еще и из-за собственного опыта. Однажды он попытался написать роман, но бросил это занятие после сороковой страницы: писал он мучительно медленно и неуверенно, а кроме того, даже те страницы, которые он с таким трудом завершил, пестрели образами и фразами, взятыми у других писателей, нравившихся ему. Это была мешанина из чужих голосов и чужих стилей, и поскольку различить в этом хоре собственный голос было почти невозможно, Филип решил отступиться от своего замысла. Так имеет ли он право осуждать теперь мисс Скроуп?

Он подобрал с пола Завещание и бережно поставил на место. Затем, чтобы как-то успокоиться после своего странного открытия, он взял с полки соседний томик. Это был сборник литературных воспоминаний под редакцией вдовствующей леди Мойнихан, и сразу же его внимание при-

влекли гравюрные листы, иллюстрировавшие текст и защищенные тонкой нежной бумагой, как это было принято в книгоиздании той поры. Он стал листать их и наконец остановился на одной сцене, показавшейся ему знакомой; взглянув на сопроводительную подпись под гравюрой, он прочел: "Памятник Чаттертону в бристольском церковном дворе". На странице напротив этой иллюстрации имелся небольшой текст: там говорилось о романисте Джордже Мередите, "который в первые месяцы 1856 года, доведенный до крайности и помышлявший о самоубийстве после того, как его оставила жена, сидел в мрачных окрестностях церкви Св. Марии Редклиффской в Бристоле — здесь вот, под самой сенью Чаттертонова памятника. Он купил склянку ртути с мышьяком, намереваясь свести счеты с жизнью, но едва только поднес он роковой сосуд к своим бледным губам — как вдруг почувствовал чью-то руку на своем запястье. Подняв глаза, он увидел юношу: тот стоял рядом и воспрещал ему пить. Когда он опустил склянку, юноша исчез. Так призрак Томаса Чаттертона, вовремя вмешавшись, спас молодого Джорджа Мередита для литературы. Я думаю, едва ли моим читателям ведома история более леденящая и

вместе с тем благородная". Филип прислонился к подвальной стене и попытался представить себе описанную сцену…

Он почувствовал, что кто-то смотрит на него. Это была Хэрриет Скроуп, а за ней, лицом в тени, стоял Хэррисон Бентли. Филип, вздрогнув, качнулся вперед и открыл глаза; в гортани накопилась сухость, как бывает после сна, и он ощутил, что рубашка на спине пропиталась сыростью каменной стены. Между штабелями виднелись озерца света — прямо под лампочками, включенными Филипом, но теперь он с неожиданным испугом смотрел на ряды книг, тянувшиеся во тьму. Казалось, достигая своих теней, они уходят вглубь, создавая некий темный мир, где нет ни начала, ни конца, ни повествования, ни смысла. И если ступишь за порог этого мира, то окажешься в гуще слов; ты будешь топтать их ногами, натыкаться на них головой и руками, но если попытаешься ухватиться за них — они растают в пустоте. Филип не осмеливался повернуться спиной к этим книгам. Еще не время. Должно быть, подумалось ему, они разговаривали между собой, пока он спал.

Наконец он добрался до лестницы и поднялся в главный зал библиотеки и (думая, что его отсут-

ствие уже могли заметить) с опущенной головой, глядя на голубой линолеумный пол, быстро прошел к своему столу. Там лежало несколько новейших поступлений, которые ему предстояло занести в каталог, и по мере того, как он постепенно погружался в работу, его тревога унималась. Библиотека была не совсем спокойным местом, но давала ему некое зыбкое убежище, и он успел привыкнуть к звукам шагов, кашля и случайного шепота и бормотанья, которые производили читатели, являвшиеся сюда в дневные часы. И разве стал бы он, знавший, какое удовольствие доставляют книги, отказывать в нем другим?

В справочном отделе на одном из зеленых пластиковых стульев сидел бродяга и, быстро переворачивая страницы словаря, высоким голосом быстро разговаривал сам с собой. (Интересно, подумал Филип, может, он делал так в детстве?) Пожилая женщина в коричневой шали, наброшенной на плечи, стояла на коленях на полу в отделе беллетристики; перед ней были раскрыты две книги, но спутанные лохмы все время лезли ей в глаза, и она со стоном откидывала их назад. Впрочем, библиотечные служащие давно привыкли к ее присутствию и не пытались вмешиваться. Рядом со столом Филипа распола-

гался длинный читательский стол, у одного края которого всегда сидел молодой человек с ярко-рыжими волосами; он опирался о стол локтями (на рукавах его пиджака ткань была истерта до дырок) и, как обычно, сидел, уставившись в нераскрытую книгу. Как-то раз Филип спросил у него, не хотелось бы ему почитать что-то особенное, и тот очень спокойно ответил: "Да, в общем, нет". И все же он являлся сюда каждый день. И запах в библиотеке стоял все время один и тот же — кислый душок ветхой одежды, смешанный с острой вонью немытых тел; как выразился однажды главный библиотекарь, эта смесь составляла "общественный пар от людского супа". Филипу вспомнилось стихотворение, где мир сравнивался с огромной больницей, но что, если на самом деле это огромная публичная библиотека, в которой люди не способны читать книги? Между тем, те, кто сидел сейчас поблизости, казалось, смирились с этим; они были спокойны, беззащитны и бедны. Возможно, было бы куда лучше, если бы они в ярости устроили бунт и разрушили библиотеку, но нет — они сидели тут и уходили в час закрытия. Казалось, даже самые сумасбродные из них вполне довольствуются этим.

На столе Филипа было оставлено несколько

издательских каталогов, поскольку одной из его обязанностей было читать все анонсы новых книг и выписывать для библиотеки те из них, которые казались наиболее подходящими. Среди них был скромный перечень книг одного университетского издательства, и хотя там предлагались книги, которые лишь изредка оказывались библиотеке по карману, он заглянул туда с некоторым интересом. И интерес этот обернулся внезапной дрожью узнаванья, когда он дошел до анонса одной скорой публикации: О дивный мальчик: Влияние Томаса Чаттертона на творчество Уильяма Блейка. Прямо под заглавием была помещена иллюстрация — несомненно, принадлежавшая самому Блейку, — изображавшая юношу с пылающими волосами, в виде солнечной эмблемы, и с руками, распростертыми в приветственном жесте. Далее следовало краткое изложение: "О влиянии Томаса Чаттертона на поэтов-романтиков писали уже не раз, но в труде профессора Брилло впервые подробно исследуется воздействие «Роулианских» поэм Чаттертона на лексику и просодию стихотворных эпических произведений Уильяма Блейка. Профессор Брилло исследует также те приемы, посредством которых Блейк вводит находящуюся у него в

подсознании фигуру Чаттертона и мотив самоубийства в свои тексты, и размышляет о влиянии Чаттертоновой одержимости средневековьем на мировосприятие самого Блейка. Как утверждает профессор Брилло в своем предисловии: "Это единственная тема, к которой блейковеды, по всей видимости, не желают обращаться, ибо она влечет за собой вывод, что на Блейка оказали влияние сочинения фальсификатора и плагиатора. Однако не будет преувеличением предположить, что без творчества и влияния Томаса Чаттертона поэзия самого Блейка могла бы принять совершенно иную форму". Хоумер Брилло — профессор Центра специальных исследований в области информации при университете Вэлли-Фордж, штат Вайоминг". Филипу вспомнились строчки, которые Чарльз цитировал в поезде, когда они возвращались из Бристоля; это были явно слова самого Блейка, но под ними стояла подпись Т.Ч. Однако долго думать об этом ему не пришлось: в дальнем углу библиотеки раздался жалобный писк: один из компьютеров вышел из строя и теперь настойчиво требовал к себе внимания, пища, как раненая птица. Филип поспешил ему на выручку, и рыжеволосый юноша проводил его взглядом.

а сон все длится

— Ну, добро пожаловать, Чарльз. — Эндрю Флинт приветствовал его на пороге своей квартиры на Расселл-Сквер. — Добро пожаловать ко мне в dulce domum.[35] В смиренную обитель на четвертом этаже без лифта. Что бы это означало для англичан? Я так и понятия не имею. — Он заметно раздобрел за те двенадцать лет, что они не виделись с Чарльзом, но в глазах его сквозила прежняя нервная паника. — А где супруга?

— Вивьен допоздна работает.

— Наверно, в мрачном заточенье. — Он провел старого приятеля в едва обставленную комнату. — Вот и моя святая святых, — сказал он оправдывающимся тоном. — Можно тебя соблазнить?

— Прости?

— Nunc est bibendum?[36]

— Что?

— Выпьем?

Чарльз попросил водку-мартини, причем его самого поразил такой выбор. Хотя они пробыли

---

[35] Примечания: 35

Сладостный дом (лат.) — видимо, шутливая калька английского выражения "sweet eome".

[36] Примечания: 36

"Нам пить пора..." (Гораций, Оды, I, 37, 1. Перевод Г. Церетели.).

в обществе друг друга всего несколько секунд, Флинт с облегчением выскользнул на кухню, а перед тем, как принести Чарльзу заказанную выпивку, он сверился с карточкой, куда заранее вписал перечень тем для разговора. Список гласил: "Работа, Поэзия, Прошлое". И когда он возвратился в комнату, неся два стакана на дорогом подносе из чеканной меди, первый из означенных пунктов уже вертелся у него на кончике языка.

— Ну, Чарльз, расскажи мне, чем ты занимаешься. Или, может, за что принимаешься? Достоин ли труженик своего ярма?

— Да знаешь, тут, собственно, не о чем говорить.

Флинт мысленно перечеркнул строчку «Работа»: было ясно, что у Чарльза ее нет.

— А что же люди поделывают, в частности? Mutatis mutandis,[37] разумеется.

— Разумеется. — Повисла короткая пауза. — Если не считать того, что ты достиг успеха, — Чарльз произнес это как можно непринужденнее.

— Не редкость в метрополии, увы. И — eorribile

---

[37] Примечания: 37
Зд.: более или менее, приблизительно (лат.).

dictu[38] — феномен чаще всего временный. — Всякий раз, как взгляд Флинта грозил встретиться со взглядом Чарльза, он упорно отводил глаза.

Чарльз из-за этого тоже ощутил неловкость.

— Эндрю, ты еще пишешь стихи? — Когда-то они познакомились в поэтическом кружке, устраивавшем чтения в подвальчике одного из кембриджских колледжей; а как-то раз, во время долгой и хмельной вечеринки, выяснилось, что оба любят одних и тех же современных писателей-французов, и потому решили сделаться друзьями.

— Eelas,[39] нет. Отошел. Муза выпустила меня из своих когтей, если мне будет позволено прибегнуть к олицетворению.

— Отчего же? Ведь это свободная страна.

— Ага, свободы воли захотелось. Ты что, Берка[40] читаешь? — Флинт расслышал раздражение в собственном голосе и поэтому, смягчив тон,

---

[38] Примечания: 38
Страшно вымолвить (лат.).

[39] Примечания: 39
Увы (фр.).

[40] Примечания: 40
Эдмунд Берк (1729–1797) — англо-ирландский философ, политический деятель, оратор. Автор сочинений "Философское исследование о происхождении наших идей о возвышенном и прекрасном" (1757) и "Размышления о Французской революции" (1790).

добавил: — А это что у нас такое? — Он указывал на коричневый конверт, который Чарльз положил на стеклянный столик рядом со своим стулом. — Ты сочинил поэму? — В его голосе уже не слышалось прежнего воодушевления.

— Да нет, это не поэма. — На самом деле, Чарльз захватил с собой страницу из Чаттертонова манускрипта, чтобы показать Флинту. — Я вот все думал, — проговорил он, вытаскивая лист, — может быть, ты сумеешь определить ее… — Он замолк, подбирая нужное слово.

— Происхождение? — В университетские годы Флинт изучал рукописные материалы такого рода.

— Насколько я помню, ты интересовался графо…

— Палеографией? — Флинт взял из рук Чарльза лист бумаги и поднес его к свету, который шел от украшенной лепниной итальянской лампы, небрежно водруженной на плексигласовую подставку в углу комнаты. — Дэремская лилия, — сказал он.

— Это вроде джерсейской лилии?

— Нет. — Флинт был так увлечен, что даже не рассмеялся. — Это, собственно, водяной знак. Отчетливый и неистребимый. Но почему я говорю

неистребимый? Едва ли так. Быть может, неискоренимый? — Все это время он внимательно изучал текст документа. — Это английский круглый почерк, сказал он наконец, — но заметны тут и явные следы вычурного школьного письма. Это явствует из восходящих линий. А вот здесь, in extenso, видна и секретарская рука. — Казалось, Чарльз был озадачен. — Знаешь ли, такое случалось сплошь да рядом, когда один человек прибегал сразу к нескольким стилям. Вспомни епископа Тьюксберийского. Но, пожалуй, лучше не вспоминай. Мне кажется, он был социнианцем.[41] — Казалось, Чарльз был озадачен еще больше. — Всё моя amabilis insania.[42] ее беспокойся, заразную стадию я уже миновал, О — взгляни же — какие великолепные минускулы! Должно быть, дело рук какого-нибудь антиквара.

— Я знаю, — самодовольно сказал Чарльз. — У

---

[41] Примечания: 41

Социнианцами называли приверженцев рационалистской христианской секты, существовавшей в XVI веке и проповедовавших учение итальянского богослова-мирянина Фауста Социна, иначе — Фаусто Сочини, или Соц(ц)ини (1539–1609). Социнианцы придерживались рационального толкования Священного Писания, Иисуса считали простым человеком, отрицали учение о Троице и учили, что душа умирает вместе с телом, но души тех, кто стойко блюл заповеди Христовы, воскреснут.

[42] Примечания: 42

Излюбленное безумие (лат.).

меня и датировка есть. Просто интересно, согласишься ты или нет.

— Чувствуется изрядная спешка. — Впрочем, Флинт явно наслаждался своим умением разбирать старинный почерк. — Знаки препинания и заглавные упорядочены, но, с другой стороны, между жирными и тонкими чертями… Боже милостивый, вот так оговорка!..чертами нет существенной разницы. Ну что ж, рискну ли я датировать? — Его старый приятель ничего не сказал, и Флинту пришлось продолжить: — Да, рискну. Дорогой Чарльз, experto crede,[43] а не мне. Но я бы предположил — не позднее 1830-го…

— Точно. — Чарльз кивнул, как если бы он уже провел дотошное исследование, и теперь только ждал, что Флинт подтвердит его выводы.

— …а поскольку водяной знак с дэремской лилией вошел в обиход не раньше 1790-го…

— Начало XIX века! Я так и знал! — Чарльз поднял стакан с водкой и залпом осушил его.

Флинт вернул ему рукопись.

— Расскажи теперь, в чем дело?

Было время, когда Чарльз рассказал бы ему все без утайки, и они вместе порадовались бы такому

---

[43] Примечания: 43
Поверь знатоку (лат.).

исключительному открытию, — но теперь он сдержался. Он понял, что, по сути, совсем не знает своего друга.

— Расскажу, — сказал он, — расскажу, когда смогу. — Но он сам устыдился своей скрытности и посмотрел в опустевший стакан.

— Давай по второй. — Так или иначе, Флинт испытывал лишь умеренное любопытство и, почувствовав смущение Чарльза, благодарно удалился на кухню, унося пустые стаканы. Он сверился со своим списком тем и поставил галочку напротив строчки «Поэзия».

— Могу я полагать, — спросил он, возвратившись в комнату, — что лавровый венок по-прежнему покоится на твоем челе?

— Что?

— Ты по-прежнему пишешь стихи?

— Да. Разумеется. — Чарльза, по-видимому, задел такой вопрос. — Я думал, тебе попадалась моя последняя книжка.

— Mea culpa[44]… — покраснел Флинт.

— У меня же масса времени, — быстро добавил Чарльз. Он запрокинул голову набок — этот жест Флинт прекрасно помнил. — Я никуда не тороп-

---

[44] Примечания: 44
Зд.: виноват (лат.).

люсь. Это движение головой вызвало внезапную боль, и Чарльз неуютно поежился на стуле. — У меня еще полно времени.

— Терпение — конечно же, ценное качество для серьезного художника, хотя порой оно приобретает свойство...

— Можно мне еще выпить? — Чарльз проглотил остатки водки, стремясь заглушить боль, и теперь снова с готовностью протягивал стакан.

— Жажда замучила, верно? — Флинт был рад очередной раз ускользнуть на кухню; он перечеркнул «Поэзию» и, вернувшись с двумя наполненными стаканами, приступил к третьей намеченной теме — к «Прошлому».

— Года идут непоправимо, верно? Их не остановить. Кто это сказал Теннисон? Нет, Гораций. Гораций Уолпол.[45] — Он поднял глаза — взгля-

---

[45] Примечания: 45

Гораций (Хорэс) Уолпол (1717–1797) — автор первого «готического» романа "Замок Отранто" (1765), который он пытался выдать за перевод средневековой итальянской хроники (!); меценат и любитель старины, издавший пять томов "Анекдотов о живописи в Англии". Упомянут он, скорее всего, недаром: сохранилась переписка Уолпола с Чаттертоном (1769 г.), который послал ему для издания свои «находки» — вымышленные рассуждения монаха Роули о древней саксонской живописи. Вначале Уолпол проявил доброжелательную заинтересованность, но потом, усомнившись в подлинности текстов и усмотрев в этом оскорбление для себя, обошелся с Чаттертоном холодно и презрительно. Тот в ответ сочинил ядовитую хулу в стихах, не забыв помянуть и подлог с Отранто.

нуть, уловил ли Чарльз его шутку, но тот смотрел в стену прямо перед собой. Ведь кажется, только вчера мы… — Он остановился, так как заранее не подготовил подходящего примера; Чарльз неподвижно глядел на стену, и Флинт сделал очередной большой глоток.

— … были молоды. Мы больше не юные вожди, знаю сам, но куда мы ведомы? Каковы прогнозы, доктор?

— Да у меня все в порядке, — ответил Чарльз, взглянув на Флинта. — Все прекрасно. — Боль отступала, но Чарльз, который совершенно не привык пить водку, чувствовал себя несколько сумбурно. — Но поговорим о тебе, продолжал он. — Что ты делаешь последнее время?

— Без комментариев. — Флинт долго тер глаза, а прекратив эту процедуру, обвел комнату туманным взглядом. — Ну, на самом деле у меня значительные трудности. Мне трудно… — Не то, чтобы ему просто не хотелось говорить о себе: по-видимому, он был на это неспособен.

Чарльз этого не понял.

— Но над чем ты сейчас работаешь? После романа?

Флинт почесал лицо и принялся рассматривать свои ногти, не осталось ли под ними кожных

чешуек.

— Я пишу биографию Джорджа Мередита, — сказал он торопливо, английского поэта и романиста.

Чарльз, почувствовав себя лучше, вытянулся на своем стуле.

— Я знал, это в тебе сидит. — На миг он позволил себе роскошь притвориться, будто они снова студенты университета, и его собственная, Чарльзова, звезда, еще только восходит. — Ведь ты так усердно работал. Ты всегда был честолюбив. — Это удивило Флинта, который вовсе не ощущал, что обладает сколько-нибудь определенными качествами характера. — Я очень за тебя рад. — В этот миг Чарльз говорил совершенно искренне.

— Да нет же! — воскликнул Флинт, внезапно разгоряченный водкой. — Я просто поденщик! — Он взглянул на Чарльза, ожидая, какова будет его реакция. — Я мошенник. Может, я продался? Может, я пустился на компромисс? — От такой мысли он, казалось, пришел в восторг.

Чарльз осушил стакан и попытался очень серьезно посмотреть на Флинта, правда, его взгляду отчего-то было трудно сфокусироваться на нем.

— Ты хочешь оправдаться передо мной? Я правильно понимаю?

— Ничего подобного. Ничего я не хочу! — Флинт потерял нить мысли (если она была), забыв, что собирался сказать. — Я тобой восхищаюсь, Чарльз. Чарли. Ты остался верен поэзии. Ты ничуточки не изменился.

Чарльзу было приятно слышать эти чувствительные излияния, но воодушевление Флинта пропало так же быстро, как и появилось, и он впал в задумчивость.

— Но в конечном итоге, — пробормотал он, — это не имеет значения, так ведь?

— Ты хочешь сказать — потому, что в конечном итоге мы умираем?

Флинт угрюмо кивнул.

— Ты знаешь, — продолжал он, снова оживившись, — ты знаешь, бывает, что я прохожу через вон ту дверь. — Он неопределенно махнул в сторону названного предмета. — Когда я прохожу через эту дверь, я иногда вот о чем думаю. Я думаю: ну хорошо, Эндрю Флинт, эсквайр, романист и биограф, разве кто-нибудь может обещать, что ты когда-нибудь вернешься? Разве кто-нибудь может обещать, что ты не умрешь? — Он сделал особый упор на последнее слово, а затем быстро поднялся, ринулся на кухню, где поставил галочку рядом со словом «Прошлое», и возвратился

в комнату с бутылкой водки, уже наполовину приконченной. И налил по новой.

Чарльз склонился над стаканом, пытаясь вспомнить, что он собирался сказать своему другу.

— Ты слишком долго жил один, — сказал он. — Ты слишком напряженно работаешь. Тебе не следует так много работать. — Он немного помолчал. — Я женат уже одиннадцать лет. — Он сделал паузу, чтобы взвесить следующую мысль. — И очень доволен жизнью.

— Да, знаю. — Флинт вытянул руку, чтобы сочувственно коснуться друга, и опрокинул свой стакан.

— И ты не прав — все имеет значение. Огромное значение. Ты только подумай: они все существуют рядом с нами, смотрят на нас: Блейк, Шелли, Кольридж…

— И Мередит.

— И Мередит. И все они влияют на нас.

Флинт внезапно помрачнел.

— А знаешь, Эндрю? Хочешь кое-что узнать? Это тайна, но я с тобой поделюсь. Ты ведь настоящий друг. У них это всё — от Чаттертона. Ты не знал раньше? А я вот знаю.

— Ничего удивительного. — Флинта, видимо,

не очень заинтересовала услышанная новость, но внезапно он подался вперед:

— Это потрясающе — какую уйму денег можно зашибить сочинительством. Знаешь, сколько я получил за свой роман? — Чарльз мотнул головой, и тут же боль возвратилась к нему. — А ты попробуй угадай.

— Не хочу.

— Ну давай же, рискни.

— Я правда не хочу знать. — Чарльз не мог справиться с болью и чувствовал, что вот-вот наступит головокружение. Он взглянул вниз и заметил, что пуговка на его левой манжете болтается на тонкой ниточке. Он схватился за нее, но она упала на пол.

— Тогда давай я покажу тебе свою умную машину, — говорил Флинт. — Она стоила целого состояния.

— Да нет, правда…

— Пойдем. Она тебе понравится. — Чарльз нетвердо поднялся, и Флинт провел его в небольшой кабинет. Там на его рабочем столе стоял компьютер. Четыре тысячи фунтов, — сказал Флинт с гордостью. Он включил машину и, пока комнату заполнял глухой гул, нажал на три или четыре клавиши подряд. В левом верхнем углу

появилось слово «Библиотека», и по экрану, мерцая в янтарном свете, поползли ряды латинских фраз.

— Мне уже пора, — говорил Чарльз. — Моя жена…

— Ах да, верно. Разумеется. Счастливое семейство. — Вид компьютера, казалось, несколько протрезвил Флинта, и он проводил Чарльза до парадной двери квартиры. — Мы должны это в скором времени повторить. — Говоря это, он глядел в сторону. — Нам правда надо держать связь. — Потом он заметил на лице Чарльза странное выражение и с некоторой тревогой схватил его за руку: — Как ты себя чувствуешь?

Чарльз стоял, тяжело прислонившись к двери, и ему померещилось, что он услышал такие слова: "Я твой покорный слуга". Но, увидев, что Флинт обеспокоенно смотрит на него, пробормотал:

— Все в порядке. Как ты любил говорить в прежние времена? Должно быть, это семга. — Он ощутил, что дверь под ним ходит ходуном. — Помнишь про семгу?

— Я вызову тебе кэб. И не забудь свою рукопись. — Флинт вышел с ним на улицу, и только когда он довел Чарльза до такси, тот вспомнил, что у него с собой очень мало денег. Но он позво-

лил усадить себя в машину и захлопнуть дверцу. Он даже умудрился улыбнуться и помахать рукой, когда такси тронулось.

Флинт поднялся к себе, чувствуя облегчение от того, что встреча наконец закончилась. Он аккуратно вымыл стаканы, выбросил бутылку водки теперь уже совсем пустую, — поставил на прежние места стулья, на которых они сидели, и снова отправился в свой кабинет. Он включил компьютер и некоторое время не мигая смотрел на яркий экран.

* * *

— Остановитесь! — сказал Чарльз примерно в миле от своего дома. И пробормотал, как будто говоря самому себе: — Простите. На большее у меня не хватит.

Когда водитель открыл окошко, он приготовился расплатиться.

— Все в порядке. Ваш друг обо всем позаботился, — сказал тот и быстро уехал.

А Чарльз прошел пешком остававшееся расстояние до дома. Было уже темно, и улицы застилал туман; его со всех сторон окутывали испарения, и, когда он взглянул вниз, ему на миг показалось, что его ноги утопают в снегу. Между тем, он топ-

тал туман, и его легкие шаги не отдавались эхом.

— Есть в мире боль, — сказал он вслух, — но всем принадлежит она. Рядом с ним шагал кто-то, кто услышал это и кивнул в знак согласия. Чарльз повернулся к этому невидимому спутнику. — Сон разворачивается, — сказал он. — Спящий пробуждается, а сон всё длится. — И он тут же осознал, что слова эти не его собственные, а чужие.

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

Се, стихъ новейшій моего сложенья,
Найлучшій плодъ смиреннаго уменья.
Къ Джону Лидгейту. Томасъ Чаттертонъ
Вмигъ перенесся я во Оны Дни,
Когда держалъ Піита плоти пленъ.
И зрелъ Деянья ветхой старины,
И Свитокъ Судебъ оку былъ явленъ.
И зрелъ, какъ Рокомъ мечено, Дитя
Тянулось к Свету, будто бы шутя.
Гисторія Уилліама Канинга. Томасъ Чаттертонъ

Роман французский этот не по нраву?
Отчего?
Ты неестественным его находишь…
Ужели? Милый мой, все это жизнь:
А жизнь, как говорят, достойна Музы.
Современная любовь. Сонет 25. Джордж Мередит

— Как это может быть неестественным? — Мередит достал носовой платок из кармана своих лиловых брюк и накрыл им лицо. Теперь его

голос слегка приглушала ткань. — Теперь ты видишь общие для человеческого рода черты, свободные от индивидуального выражения. Так как же маска может быть неестественной?

— Но мне как модель нужен ты. Именно ты. Твое лицо. — Уоллис зажмурился, когда в комнату хлынул зимний солнечный свет и эмалированные китайские вазы на каминной полке внезапно полыхнули огнем.

— Мое лицо, но не я сам. Мне ведь нужно быть Томасом Чаттертоном, а не Джорджем Мередитом.

— Но это будешь именно ты. В конце концов, я могу писать только то, что вижу. — Ища поддержки, Уоллис взглянул на Мэри Эллен Мередит, но та в эту минуту казалась рассеянной: она изучала собственную ладонь, сжимая и разжимая кисть правой руки.

Мередит рассмеялся и поднялся с дивана, на котором лежал раскинувшись.

— И что же ты видишь? Реальное? Идеальное? Как ты узнаешь, в чем разница? — Они оба спорили так весь день, и, к большому неудовольствию Мэри Эллен, ее муж не желал прекращать этих споров. — Когда Мольер создал Тартюфа, французский народ неожиданно обнаружил этого

персонажа возле каждого семейного очага. Когда Шекспир выдумал Ромео и Джульетту, весь мир научился любить. Так где же здесь реальность?

— Значит, так ты смотришь и на собственную поэзию, если я правильно понимаю? — Говоря это, Уоллис не мог удержаться от того, чтобы снова не взглянуть на Мэри: на ее волосы, щеку и плечо так ложился свет, что она напомнила ему один из образов Джотто, чью живопись он совсем недавно изучал в Истории Турнье.

— Вовсе нет. Я не мечу так высоко. Все, на что я могу притязать, — это лишь замкнутая комнатка, тесное пространство для наблюдений, где я даю волю своему перу. Разумеется, существует некая реальность…

— Ага! Теперь ты запел по-другому!

— …Но — собирался я добавить — отнюдь не такая, которую можно изобразить. Не существует таких слов, которые могли бы определить неопределенный предмет. Горизонт. — Мередит снова растянулся на диване и, казалось, принялся всматриваться в свою жену. Она ответила ему кратким взглядом.

— Мой муж гораздо более высокого мнения о своей поэзии, нежели желает показать нам, мистер Уоллис. Он весьма горд.

— Да, Уоллис, почему бы тебе это и не изобразить? Гордыня, Гибнущая в Чердачной Каморке. В самый раз для Королевской Академии. Или поместил бы это туда, к прочим правдивым выдумкам. — Мередит указывал на книжный шкаф черного дерева, уже украшенный группами персонажей Чосера, Боккаччо и Шекспира.

"Нет, — подумал Уоллис, — она творение не Джотто, а скорее Отто Рунге[71]".

— Мне пора, — сказал он мягко. — Я должен начать работу, пока не стемнеет.

Мэри поднялась со стула, и ее платье ярко-синего цвета взметнулось вокруг нее волной, будто она была некой богиней, выходившей из Средиземного моря.

— Джордж, ты должен проводить мистера Уоллиса до остановки. Иначе он заблудится в этом тумане.

— В каком еще тумане, дорогая?

Она позвонила в колокольчик, чтобы слуга принес Уоллису его Ольстер,[72] а пока они ждали,

---

[71] Примечания: 71

Филипп Отто Рунге (1777–1810) — немецкий художник, близкий неоклассицизму. Большую часть его творчества составляют портреты.

[72] Примечания: 72

Ольстер — длинное и просторное пальто (первоначально — из особой ирландской шерсти).

Мередит подпрыгивал на ковре позади них; он делал невидимым мечом выпады в спину своего друга.

— Нет, я уж не дам ему остановки, — сказал он. — Вот, получай, и еще, и еще.

* * *

Они оба вышли из дома на Фрит-стрит, и пока они медленным шагом шли к остановке кэба, Уоллис заметил, что Мередит утратил ту искусственность манер, которую он сохранял в присутствии жены. Он стал рассказывать о каких-то картинах художников Назорейской школы,[73] которые видел накануне в Сент-Джеймской галерее, и Уоллиса поразило его воодушевление.

— Я люблю детали, — сказал Мередит, когда они повернули на Сохо-Сквер. — Терпеть не могу пышные эффекты, разве что они проистекают из

---

[73] Примечания: 73

Назореями называли членов Братства Св. Луки — группы, основанной в 1809 г. несколькими молодыми немецкими художниками (Ф. Овербеком, Ф. Пфорром и др.), мечтавшими вернуться к средневековому духу в искусстве и выступавшими против господствовавшего в XVIII веке неоклассицизма. Они преклонялись перед мастерами позднего Средневековья и раннего Возрождения и отвергали позднейшую живопись. Назореями их прозвали сперва в насмешку над их нарочито библейским обликом. Эта группа предвосхитила появление в Англии прерафаэлитов в середине XIX века.

мелочей. Стэнфилды и Маклизы[74] — это сущий театр, сущий Диккенс на холсте. — Лучи закатного солнца в последний раз касались теплой коры деревьев, стоявших на площади, а на серый камень окрестных домов лился мягкий свет. В воздухе висел смутный туман, но, казалось, он лишь расширял свет — как будто его молочные прожилки разрастались вовне и превращались в дым. В одном из домов сверкали две высокие оконные рамы, и Мередит указал на них другу: — Это и есть то, что ты называешь электротипированием?

Уоллис где-то витал мыслями, и он лишь с некоторым усилием уловил последнюю ремарку друга.

— Дает вполне кейповский эффект,[75] правда? — Некоторое время они шли молча, а потом Уоллис прибавил: — Видишь, как в сумерках все цвета меркнут, переходя друг в друга. — Он указал на клочок оберточной бумаги, который ветер

---

[74] Примечания: 74

Дэниел Маклиз (1806–1870) — ирландский художник, создатель исторических полотен. Прославился прежде всего серией литографических портретов современных знаменитостей и двумя масштабными фресками, выполненными им в Королевской галерее в Палате лордов.

[75] Примечания: 75

Альберт Кейп (1620–1691) — голландский живописец эпохи барокко, прославившийся мирными сельскими пейзажами, для которых характерна поэтическая трактовка света и атмосферы.

носил между деревьями: — При таком освещении только синий и белый сохраняют свою яркость.

— Да, милый Генри, все меркнет. — Замогильный тон Мередита рассмешил их обоих, но затем он добавил тем же траурным голосом: — И, думаю, это правда, что мы видим природу глазами художника.

— Ну, только если ты довольствуешься копированием. Но погляди-ка, Уоллис взял Мередита под руку, и они пересекли площадь, — замечаешь, как свет, просачиваясь сквозь листья, становится голубым? Никому еще не удавалось запечатлеть этот эффект на холсте. Опиши его в стихотворении, Джордж, и он — твой.

— Я уже перестал понимать, что такое мое или чужое.

У стоянки на Оксфорд-стрит ждал один-единственный кэб, и дыхание лошади явственно окутывало клубами пара сгорбленную фигуру извозчика.

— В Челси! — крикнул Мередит, захлопнув дверцу за своим другом.

Кэбмен, посасывавший глиняную трубку, лишь на миг обернулся, а потом взмахнул кнутом. Мередит взглянул на Уоллиса через приоткрытое окошко.

— Разумеется, все это — наваждение, — сказал он. — Искусство — всего лишь еще одна игра. — Но Уоллис снова думал о Мэри Эллен Мередит; он посмотрел на ее мужа, не слыша, что тот говорит, а потом лошадь умчала его прочь.

Когда Мередит остался в одиночестве, с его лица сбежали краски, и он отошел от остановки кэба с озадаченным видом. Ему пока что не хотелось возвращаться домой, и он отправился побродить по Оксфорд-стрит. В сгущавшейся темноте лица прохожих казались более четкими, а их одежда и телодвижения, казалось, рассказывали ему историю жизни этих людей, словно умоляя понять их. Город превратился в один просторный театр — однако не театр его воображения, а театр Астли[76] или Ипподром — безвкусный, кричащий, удушающий, реальный. Он наткнулся на оброненный газовый рожок, приготовленный для того, чтобы в него вставили ламповый фитиль, и двое мальчишек заверещали от восторга. «Узнаёт тебя мамаша?» — выкрикнул вслед ему один из

[76] Примечания: 76

Филип Астли (1742–1814) — английский театральный антрепренер, в 1770 г. основавший в Лондоне так называемый "Амфитеатр Астли" — первую современную разновидность цирка. Там выступали наездники, канатоходцы, клоуны. В 1794 г. театр попал под покровительство принца Уэльского и герцога Йоркского и стал называться Королевским амфитеатром искусств.

них, а второй подхватил припев: «Что с твоей ногой-бедняжкой?» Мередит рассмеялся вместе с ними, а затем, неожиданно развеселившись, вытащил из кармана несколько мелких монеток и швырнул их мальчуганам. Они принялись елозить по мостовой, нашаривая мелочь, а он легкой походкой вернулся на Фрит-стрит. Однако на углу он замедлил шаг и принялся нарочито насвистывать, приближаясь к своему дому.

Едва заслышав шаги мужа, Мэри подошла к камину в форме греческой вазы, а когда он вошел в комнату, осталась стоять к нему спиной.

— Что это ты делаешь? — спросил он. Но спросил очень мягко.

— Ничего. — Потом она добавила: — Я думала.

— И о чем же ты думала, драгоценная моя?

— Не знаю. Не могу вспомнить. — Она по-прежнему стояла к нему спиной, и в этот миг он понял, что в действительности очень плохо знает ее. За окном по улице проскакали две лошади, и она с улыбкой повернулась к нему. Я думала об этом, — сказала она. — Я думала о звуке.

* * *

Этот миг и припомнился Мередиту две недели спустя, когда он получил письмо от Генри Уолли-

са. За завтраком он прочел его Мэри:

— "Мой дорогой Мередит, надеюсь, ты все еще жаждешь позировать мне". (Стилист он никудышний, дорогая, но можно я продолжу?) "Я зазываю тебя столь скоро после нашей conversazione,[77] потому что удача весьма мне улыбнулась. Помнишь Питера Трэнтера, который как-то раз присутствовал на нашей пирушке в Голубых Шестах? Это он тогда утопил в Темзе свой жилет, если припоминаешь..." — Тут Мередит прервался, чтобы посмотреть, доставило ли его жене удовольствие это отступление, но та лишь приподняла брови. Такова мужская жизнь, моя дорогая, — проговорил он, но отнюдь не извиняющимся тоном. Затем он вернулся к письму: — "И вот случилось так, что несколько вечеров тому я имел с ним беседу, и совершенно случайно он сообщил мне, что его закадычный друг, некий Остин Дэниел, этот Дэниел художник-декоратор у Астли, возможно, тебе небезызвестен. Это он использовал микеланджеловские фигуры для пантомимы Зачарованного Дворца, а владелец сказал, что они слишком малы. Но я уклоняюсь в сторону (да, дорогой Уоллис, уклоняешься).

---

[77] Примечания: 77
Беседы (итал.).

Так или иначе, вдруг выясняется, что этот самый Дэниел нанимает теперь ту самую комнату, где скончался Чаттертон. Я попросил Трэнтора немедленно зайти к нему, дабы спросить, могу ли я использовать это помещение pro re,[78] на что Дэниел охотно согласился. Мой дорогой Мередит, не сомневаюсь, ты поймешь, сколь это важно, и, кабы я был уверен, что ты по-прежнему готов мне позировать, — я убежден, что смогу создать произведение, которое окажется достойным тех идеалов, о коих мы с тобою говорили. Настоятельно прошу тебя, отошли мне сегодня же свой ответ. Мое почтение миссис Мередит, которую, смею надеяться, можно будет уговорить вместе с нами посетить роковое жилище Чаттертона. Твой покорнейше, Генри Уоллис".

Мередит отложил письмо в сторону.

— У него подпись с росчерком.

— А что это за идеалы, о которых он упоминает? — Мэри уже собиралась встать из-за стола, но помедлила, ожидая ответа.

— Ему хочется быть современным. Ему хочется изобразить какой-то новый мир. Видишь ли, у бедняги Уоллиса куча фантазий.

---

[78] Примечания: 78

Зд.: в качестве нужного предмета (лат.).

— Хотелось бы, — невозмутимо ответила Мэри, — чтоб и у тебя хоть какие-нибудь имелись.

* * *

Мередит взбирался по лестнице дома на Брук-стрит в Холборне, следуя за горничной, которая открыла ему дверь.

— Смотрите под ноги, сэр, — прокричала она (хотя он шел за ней по пятам). — Где-то здесь зазор между досками. Можете здорово грохнуться. Мередит засмеялся, и она подпрыгнула. — Ах, сэр, — выговорила она, — я и не знала, что вы так близко. — Она с хихиканьем побежала вперед, и вот уже проворно забарабанила в дверь на крошечной лестничной площадке — самой верхней в доме. — К вам тут один господин! — прокричала она, а потом, с новым хихиканьем, пронеслась мимо Мередита и побежала вниз по ступенькам, на ходу подвязывая тесемки своего чепца.

Он выждал некоторое время, а потом, не услышав изнутри никаких звуков, осторожно отворил дверь; но быстро отпрянул назад, увидев на кровати тело Уоллиса с волочащейся по полу рукой. Тогда тело заговорило:

— Не пугайся, Джордж. Я репетирую твою роль.

— Ах, приношу свои извинения. Я же не знал, что это театр. Полагаю, частный.

— Чем лучше я в тебя перевоплощусь, милый Джордж, тем лучше я тебя напишу. — Уоллис приподнялся и сел на край кровати. — А миссис Мередит не пришла с тобой? — Он задал этот вопрос небрежным тоном — так, словно ответ не имеет для него совершенно никакой важности.

— Нет, она не смогла прийти. Явился ее дражайший папочка и настоял на том, чтобы прокатить ее по парку, словно некий великовозрастный Фаэтон. На самом деле, с тех пор, как муж прочел ей письмо Уоллиса, Мэри больше не упоминала о позировании, и он счел, что ей это неинтересно.

Уоллис быстро встал.

— А теперь скажи, как тебе нравится моя каморка? — Он вытянул руку, словно представляя его этой комнатенке, которая, надо сказать, была столь тесна, что Мередит на миг почувствовал себя чужаком, вторгшимся в кукольный домик.

— Ты пришел как раз вовремя. Я успел закончить первые наброски.

— Так вот где умер несчастный поэт. — Мередит обернулся кругом, и его сапоги заскрипели по ветхим деревянным доскам пола. — Как там сказано у Шелли? Еще не отлетел от розы блед-

ной смертный трепет?[79] Наверно, вздор. Он ощупал кровать и оперся на нее коленями, чтобы выглянуть из окна, на крышу Фернивалз-Инн, за которой виднелся почерневший купол Св. Павла. Твой друг спит на очень жесткой постели.

Уоллис разбрасывал по полу мелкие клочки бумаги.

— Остин Дэниел живет ниже. Это комната его служанки.

— А, той девушки?

— Ее зовут Свинка. Не спрашивай, почему. — Мередит и не собирался спрашивать; он с любопытством наблюдал за Уоллисом, продолжавшим кидать себе под ноги обрывки бумаги. Уоллис поймал его взгляд. — Кэткотт, повествуя о смерти Чаттертона, — сказал он, — сообщает, что рядом с телом нашли клочки разорванной рукописи. Я рад, что тебя забавляют мои скудные попытки добиться правды жизни.

— Зови это правдоподобием.

— Зови это как хочешь. Это одно и то же.

— Ну, в любом случае, это та самая комната. — Мередит оперся локтем о подоконник; его

---

[79] Примечания: 79

"Rose pale, eis solemn agony eas not yet faded from eim..." цитата из «Адонаиса» П.Б. Шелли (строфа XLV, посвященные Чаттертону строки 400–401).

бледное лицо и рыжие волосы вырисовались силуэтом на фоне зимнего неба. — От поэта к Свинке. Но эта комната — вовсе не хлев. — Он оглянулся на стул и столик, аккуратно поставленные у изножья кровати тщательно протертые и отполированные, хотя, судя по их старинному виду, ими вполне мог пользоваться еще сам Чаттертон. Кровать относилась к той же эпохе: маловероятно, чтобы Свинка знала, что спит на смертном ложе, но, быть может, ей снятся дурные сны? На подоконнике возле Мередита стояло небольшое растение, и, приглядевшись к его тонкому и гибкому стеблю, вившемуся по оконному стеклу, он догадался, что это, наверное, ее единственное имущество.

Уоллис вытащил из-под кровати видавший виды деревянный ларь.

— Это не Свинкин сундук, — сказал он. — Но она дала нам любезное разрешение его использовать. — Он откинул крышку: внутри было пусто. Тогда он набил сундук рукописями, а потом придвинул его вплотную к выбеленной стене. Отойдя в противоположный угол, он стал рассматривать подготовленную сцену. — Чего-то недостает, — пробормотал он себе под нос.

— Меня?

Уоллис не расслышал вопроса. Он размашисто приблизился к Мередиту, склонился над ним и распахнул окно. В каморку ворвался холодный ноябрьский воздух. Затем он передвинул деревянный стульчик на несколько дюймов в сторону и набросил на него свое пальто. Он подошел к сундуку и перевернул его, поместив под некоторым углом к стене. Потом он снова отступил в угол каморки.

Мередит с интересом наблюдал за всеми действиями друга.

— Ну как, Генри, все становится правдоподобнее?

— Вот когда ты будешь лежать мертвым на постели, только тогда все станет правдоподобным. — Теперь он в первый раз оглядел Мередита. — Ты не мог бы снять пальто и сапоги?

— Тогда я стану настоящим Чаттертоном и непременно умру. Ты не чувствуешь, как дует из окна?

Уоллис, усевшись на табуретку, положил себе на колено деревянную доску.

— Ну так закрой, закрой его, — сказал он рассеянно. — Теперь я знаю, как все было. Я сумею вспомнить.

Он взял большой лист рисовальной бумаги и

поместил его на доску, приколов сверху парой деревянных гвоздиков:

— Брось мне свои сапоги и пальто, Джордж. Их не должно быть видно. Мередит исполнил его просьбу: — А теперь ляг на кровать, — голос Уоллиса звучал повелительно, но он уже погрузился в работу: — Теперь повернись ко мне головой. Вот так. — Он повернул собственную голову так, что теперь его взгляд упирался в пол: — Нет, у тебя такой вид, как будто ты собираешься уснуть. Позволь себе роскошь умереть. Ну давай же.

Мередит устроился на кровати поудобнее. И сразу же почувствовал, что ему что-то вонзилось в спину.

— Ты когда-нибудь читал, — спросил он, — сказку о принцессе на горошине? — Он приподнялся и обнаружил маленькую красную пуговку, лежавшую под ним на простыне. Он спрятал ее в брючный карман и снова лег. — Смерть я еще могу вынести, — сказал он в пустоту. — Чего я вынести не могу — так это изображения смерти.

— Свесь правую руку на пол. Вот так. — Уоллис сам опустил руку, так что его пальцы коснулись деревянных досок. — И сожми пальцы в кулак. Сожми их так, как будто держишь что-то. Мне нужно видеть моторные движения твоей руки.

Мередит последовал его указаниям, но его молчание продлилось недолго.

— Мне кажется, Генри, будто я стараюсь схватить пустоту. Уж не эмблема ли это всей жизни поэта? Быть может, это некий символ?

Но Уоллис уже рисовал задуманную сцену; он пользовался черным мелом, закрепив его в специальном держателе, и сохранял молчание до тех пор, пока не закончил набросок изгиба Мередитовой руки.

— Детали я допишу в мастерской. Сейчас мне нужно только общее впечатление.

— Понимаю. Значит, величайший реализм — это еще и величайшая фальсификация? — Уоллис снова ничего не ответил, продолжая быстро делать набросок. — Можно мне… — начал было Мередит, но Уоллис, подняв руку с мелом, остановил его.

— Пожалуйста, полежи несколько минут спокойно, Джордж. Мне нужно схватить это выражение. — Две или три минуты он работал молча. — Теперь можешь говорить.

— Теперь мне нечего сказать. — Но Мередит не мог долго молчать. Генри, я не рассказывал тебе, что прошлой ночью мне приснился Чаттертон? Я проходил мимо него по какой-то старой лестни-

це. Что это означает?

— Полагаю, лестница — это эмблема. Как ты там говорил? Лестница — это эмблема времени.

— Но почему я показывал ему куклу? — Мередит посмотрел на потолок, впервые заметив, какой он ветхий, какой почерневший от сажи и копоти, и как одно из темных пятен приняло очертания человеческого лица. Испытав внезапное угнетение, он подумал, что, быть может, это пятно и было последним, что Чаттертон увидел на земле, — как узник, который смотрит на стены своей темницы перед тем, как его уводят…

Он закрыл глаза и попытался представить себе ту последнюю тьму. Но не смог. Он был Джорджем Мередитом. Он знал только то, что знал Джордж Мередит. Для него еще не было спасения.

— Лежи-ка спокойно. Мне нужен этот свет на твоей руке. — Пока Уоллис работал, его язык слегка высовывался изо рта. Затем внезапным размашистым движением он что-то написал в правом нижнем углу, отложил мел и прислонился к стене. — Я так рад, что мы сюда пришли, — сказал он. — Это та самая комната. Это та самая кровать. Это лондонское освещение. Реальность, Джордж, существует только в зримых вещах. — Он огляделся вокруг и явно остался доволен всем,

что увидел.

— Теперь мне можно пошевелиться? — Мередит сел на кровати и потер правое плечо. — Полагаю, ты закончил?

— На сей момент — да.

— Момент! Мне он показался веком. — Уоллис покраснел, и Мередит поспешил прибавить: — Не подумай только, что я возражаю. Мне очень нравится. Такой восхитительный способ провести утро. А потом, через несколько дней, я приду к тебе в мастерскую, ты меня нарядишь и сделаешь маленькую картину маслом. Правильно я говорю? — Уоллис кивнул. — И это будет тоже восхитительно. Потом ты перенесешь эту маленькую картину на большой холст. Пройдет несколько недель, или даже месяцев, и картина будет готова. Снова восхитительно. — Уоллис с любопытством рассматривал свет, падавший Мередиту на лицо, и вот он взял чистый лист рисовальной бумаги и принялся за новый эскиз. Но пока Мередит продолжал, он улыбался. — Это будет очень мило, только не нужно рассуждать о реальности. Ты создашь костюмированную драму, трагическую сцену, достойную Друри-

Лейна.[80] Эти твои зримые вещи — сценические подпорки, сущая бутафория.

— Замри! — Уоллис взмахнул своим мелом. — Замри в таком положении! Закрой глаза и ни о чем не думай. Освободи свой ум, пока я тебя буду рисовать.

— Нет ничего легче.

Уоллис молча работал, а Мередит, казалось, погрузился в сон, и тишину нарушало лишь сердитое жужжанье мухи, тщетно пытавшейся вылететь через закрытое окно. Но неожиданно раздался стук в дверь, и художник, раздосадованный таким вторжением, громко крикнул:

— Кто там? — Через некоторое время они оба услышали какие-то приглушенные звуки, словно кто-то доверительно беседовал с самой дверью. Кто там? — снова выкликнул Уоллис.

Дверь тихонько приоткрылась, и из-за нее показался кончик чьего-то носа. Мередит сел и громко расхохотался.

— Свинка, милая Свинка, входи же!

Та осторожно вошла.

---

[80] Примечания: 80

Театр Друри-Лейн — старейший английский театр, открытый в 1663 г. В 1674 г. после пожара был перестроен знаменитым архитектором Кристофером Реном. В 1809 г. театр снова сгорел, и новое здание открыли в 1812 г.

— Извините меня, сэры. Я не знала, одемшись ли вы, и поэтому сказала ей обождать. — Она мотнула головой куда-то в сторону лестницы.

— Свинка, милая Свинка, ты случайно не родственница Фрэнсису Бэкону?

— Я из Троттеров, сэр. Троттеры из Хаммерсмита, вот кто мы есть. — Она слегка расправила чепец и взглянула на Мередита, словно ожидая, что тот с ней не согласится. — И я рада сказать, все мы, Троттеры, в прислугах. Потом она вспомнила, зачем явилась к Уоллису. — Там внизу какая-то дама любезнейше желает подняться к вам, если вы благоволите, сэр. Изволите, чтоб я ее отвела прямо сюда, или оставить ее там, где она сейчас?

— Она не назвалась? — спросил он, и в этот самый миг в комнату вошла Мэри Эллен Мередит.

Уоллис от неожиданности вскочил с табуретки, и его рисовальная доска полетела на пол.

— Простите, — сказала Мэри. — Кажется, я пришла не вовремя, как всегда.

— Нет. Вовсе нет. Нет. — Уоллис со Свинкой принялись ползать на коленях по полу, соревнуясь друг с другом в попытках подобрать наброски, соскользнувшие с доски. — Мы уже все закончили. — Уоллис махнул Свинке рукой, чтобы та ушла. Она поднялась, оглядела всех по очереди и

удалилась из комнаты.

Мередит лежал на кровати, сложив руки под головой, и улыбался своей жене.

— Извини меня, дорогая, мне нельзя шевелиться. Я ведь мертвый или умирающий поэт.

— Знаю. Вернее, я знаю, что ты его изображаешь. — Она повернулась к Уоллису, который уже поднялся с пола и теперь, склонив голову, приводил свои наброски в порядок.

— Мой муж — образцовый натурщик, мистер Уоллис?

— Ну… — Уоллис взглянул на нее в смущении.

— По крайней мере, я образцовый поэт. Я притворяюсь, что я — это другой.

— Так вот эта знаменитая чердачная каморка. — Казалось, она не обращает внимания на мужа, но Уоллис заметил, как нервно она поигрывает ниткой янтаря на запястье; она крутила ее вокруг руки, и падавший из окна солнечный свет переливался по бусинам, разбрасывая цветные вспышки по тесной комнатенке.

— Подумай только обо всех страстях, что бушевали здесь, дорогая. И вот на этой самой кровати.

— А я думала, ты мертвец, Джордж.

— Вот видишь, и мертвецы иногда разговаривают.

— Можно мне взглянуть на наброски, мистер Уоллис? — Она поспешно повернулась к художнику. Пока она рассматривала работы, выполненные им за это утро, он стоял рядом.

— Видите, — говорил он, — как падает тень. Но простите меня.

— Простить вас? Простить за что? — Она произнесла это невольно, продолжая поигрывать янтарным браслетом.

— Полагаю, вы все уже знаете о таких вещах. Джордж так щедр на слова…

— Нет, поверьте, я ничего не знаю. Джордж никогда не говорит о серьезных вещах. Со мной, во всяком случае. — Она изучала набросок, изображавший ее мужа мертвым на постели.

Пока они беседовали вдвоем, Мередит снова принял позу Чаттертона и, искривив шею еще более неудобным образом, прошептал своей жене:

— Почему бы тебе не посмотреть на великий подлинник, вместо того чтобы сверлить взглядом оттиски с него?

— Джордж, ты же всегда советовал мне доверяться именно первому взгляду.

Все трое рассмеялись над этими словами, и громче всех сам Мередит.

— Но разве я не тот предмет, который мог бы

воспламенить твою душу? Ведь я, как говорит Генри, так реалистичен.

— Да ты едва ли вовсе реален, — она говорила очень мягким тоном, продолжая изучать рисунки.

— Так ты находишь меня неестественным, дорогая?

— Ты куда естественнее на бумаге.

— На моей — или на этих набросках?

— И там, и здесь.

— Так значит, я — фальшивка, а мои сочинения — нет?

— Этот вопрос ты должен задать своему зеркалу.

— Но мое зеркало — это ты.

— Нет. Я всего лишь твоя жена. — Уоллиса поразила та откровенность, с которой они разговаривали друг с другом в его присутствии, но Мэри вновь к нему повернулась, словно ничего особенного не произошло. — Расскажите мне, что вы будете делать дальше с этими набросками, мистер Уоллис. Мне хочется знать все в подробностях, так что ничего не упустите. — Она бросила беглый взгляд на мужа, который, все еще сохраняя свою лежачую позу, смотрел на них обоих с едва заметной улыбкой. — Джордж, разумеется,

будет притворяться, что не слушает, но на самом деле все услышит. Таково уж его обыкновение.

— Таково уж обыкновение целого света, дорогая.

Но она уже внимала Уоллису, который поднес к свету свой последний набросок.

— Когда я закончу этот рисунок, мне потребуется смочить его водой, и тогда я набросаю нужные тени серым. После этого я наложу нужные краски и дам им высохнуть; а когда они затвердеют, я прорисую акварельной кисточкой все детали. Что касается света…

— Прочь, чертов свет! — Мередит снова лежал, уставившись в потолок.

— …Что касается света, то мне нужно лишь тронуть рисунок водой, а затем потереть его кусочком хлеба. Таков, по крайней мере, мой способ.

Мередит заворочался, и маленькая кровать заскрипела под ним.

— Хлеб и вода — вот чем всегда были живы поэты. Ты знала об этом, любовь моя? Ты ведь, наверно, слыхала про любовь в шалаше?

Но они оба настолько углубились в свою беседу, что не обратили на него никакого внимания.

— С реальностью не поспоришь, миссис Мере-

дит. Это комната Чаттертона, в точности такая, какой и была…

— И все здесь осталось прежним? — Мэри оглядела каморку, и, всматриваясь в окружающие предметы, даже не остановила взгляда на муже, словно и тот был частью старой мебели.

— Да, здесь все прежнее! — Уоллис уже преисполнился такого воодушевления, что даже этот бесхитростный вопрос вызвал у него радостную бурю согласия. — В точности прежнее! И понимаете — если мне сейчас удастся воссоздать эту комнату, она будет запечатлена такой навечно. Даже это хилое растеньице, самое хрупкое из всего, что тут есть, — и оно обретет бессмертие! — Придя в возбуждение, он коснулся ее руки своей, но тут же ее отдернул. Но Мэри и не шевельнулась. Он продолжал, не вполне понимая сам, о чем он теперь говорит: — Я сидел здесь и всматривался во всю эту сцену. Я провел так много часов, прежде чем ты пришел, Джордж… — Он порывисто повернулся к Мередиту. — …Но я тебе уже рассказывал. И комната почему-то становилась все ярче, пока я за ней наблюдал. Вы можете себе такое представить?

— Да, — ответила Мэри. — Очень хорошо представляю.

— И если я передам эту яркость на своем полотне, она никогда не померкнет.

— Чего не скажешь о несчастном поэте. — Мередит издал притворный стон.

— Но смерть тоже будет воссоздана, разве вы не видите? — Уоллис отступил в сторону от Мэри и теперь обращался к обоим супругам: Достоверность комнаты нужна мне для вящей достоверности смерти. Не могу же я изображать прием мышьяка, конвульсии, пену у рта. Разве что дать тебе яду, Джордж…

Мэри тяжело опустилась на стул у изножья кровати, и Мередит рассмеялся.

— Не следует посвящать мою драгоценную половину во все тайны реальности, Уоллис. Они могут оказаться опасными для тех, кто не привык к ним.

— Реальность здесь не причем, Джордж, — проговорила Мэри. — Это из-за духоты в комнате.

Мередит, не вставая с постели, дотянулся до чердачного оконца и распахнул его, а затем продолжал:

— Я был бы счастлив, Генри, пускать пену изо рта, коли тебе того захочется. Я очень восприимчив к трагедии — разве не правда, дорогая?

— Несомненно, ты восприимчив к тому, что

тебе нравится воспринимать.

— Но трагедия — моя сильная сторона.

— Зато комедия — твоя слабая сторона.

Уоллису показалось, что они разыгрывают перед ним какое-то театральное представление, впрочем, он понял в то же время, что они говорят всерьез. Неожиданно Мередит встал с кровати, пробормотав: "Я принесу тебе воды", вышел из комнаты.

Уоллис подобрал свои этюды и принялся деловито перекладывать их, хотя они уже лежали в нужном порядке. Он протер рукавом рисовальную доску и бережно поставил ее в угол. Наконец он выпрямился и посмотрел на Мэри.

— Джордж — замечательный натурщик, — сказал он. — Он так спокойно лежал на этой кровати…

Он замолк, а Мэри поднялась со стула, оставив крупную складку в Ольстере [Ольстер — длинное пальто свободного покроя.], который повесил туда Уоллис, и принялась ходить взад-вперед по комнате.

— Мне здесь и вправду нравится, — сказала она как будто сама себе. Наверное, здесь такое укромное место. Как будто уголок, который можно схоронить внутри себя. — Она подошла к окну,

перегнувшись через кровать, чтобы достать до него. — А если бы мне надоедали собственные секреты, я бы выглядывала в окошко и смотрела на улицы внизу и гадала бы о чужих секретах. Она повернулась к Уоллису: — А вы когда-нибудь думаете о таких вещах?

Тот некоторое время помолчал.

— Могу только гадать о ваших секретах.

— Ах нет. Вам не стоит этого делать.

— Он предлагал написать твой портрет, дорогая? — Мередит возвратился в комнату, неся стакан воды, и, по-видимому, до его слуха донеслись последние слова жены. — У Уоллиса глаз наметан на красивые формы, что бы он там ни толковал о грубой действительности. — Мэри торопливо отошла от кровати и взяла у мужа стакан воды, но пить не стала. — Она не отравлена, дорогая моя.

Уоллис не мог этого больше выносить.

— Я должен вас оставить, — сказал он. — Мне нужно забрать свои краски у Беллью. — Он забрал свою доску и наброски. — Думаю, мистер Дэниел будет рад, если вы вдвоем останетесь здесь и отдохнете.

— Нет…

— Нет, это совсем ни к чему, мистер Уоллис. —

Они оба заговорили разом.

Мередит рассмеялся, смущенный их обоюдным нежеланием оставаться друг с другом наедине.

— Не оставляй меня на милость Свинки, Генри. Она ведь только и говорит, что о Троттерах да Хаммерсмите.

Уоллис торопился уйти.

— Ну, так значит, я буду ждать тебя на следующей неделе в своей мастерской? — Прежде чем открыть дверь, он окинул комнату прощальным взглядом: — Там тебе, по крайней мере, будет удобно, Джордж.

Они стали спускаться по ступенькам, и Мэри шла первой по узкой лестнице.

— Делай со мной что хочешь, Генри, — отвечал Мередит. — Я полностью в твоем распоряжении.

— Он хочет сказать, что ему просто нечем заняться, мистер Уоллис.

Они миновали первую площадку, и в голосе Мередита послышались резкие нотки:

— Откуда тебе знать, дорогая? Мы ведь почти не видимся. — Но потом он засмеялся и легонько коснулся рукой ее плеча. — Не тревожься, Генри. Видишь ли, такова современная любовь. Втайне мы обожаем друг друга. Правда, Свинка?

Служанка поджидала их внизу лестницы; ед-

ва завидев их, она захихикала и бросилась к парадной двери. Когда они переступали через порог, она отвесила каждому маленький поклон, а потом, пробормотав: "Хорошенький сегодня денек выдался", — очень плотно затворила за ними дверь.

Они прошлись по Брук-стрит до Холборн-Хилла, но Уоллис так заботился о своих набросках, что подозвал кэб, как только они вышли на главную улицу. Открыв дверцу, он замешкался.

— Может, вас подвезти до Фрит-стрит? — спросил он у них. — Мне это по пути.

Мередит, казалось, был не прочь принять предложение, но Мэри покачала головой.

— Нет, — сказала она, шагнув в сторону от теплого внутреннего пространства кэба. — Нет, мы лучше пройдемся пешком.

— Нам нужно больше дышать воздухом, — пояснил Мередит. — Ведь, как никак, я только что был отравлен.

Кэб тронулся с места, а Уоллис продолжал наблюдать за ними, глядя из заднего окошка. Они углублялись в Холборн, как будто погрузившись в беседу, а может быть, просто склонив головы. Кэб свернул на Грей-Иннз-Лейн, и Уоллис, глубоко вздохнув, достал свой последний рисунок,

изображавший Чаттертона на смертном одре. Но он не мог на нем сосредоточиться. Он обернулся, но Мередиты уже исчезли из вида.

…То, верно, сон: рука бессильно на пол
Свисает, никнет голова. Теперь
Ни звука. Притвори плотнее дверь.
Современная любовь. Сонет 15.
Джордж Мередит

Пока Мередиты шли по Парадайз-Уок, Генри Уоллис стоял у окна своей мастерской; это было большое окно на третьем этаже, выходившее на Челси-стрит, и комнату за спиной художника заливало зимнее солнце.

Надо сказать, сам дом как будто специально был придуман для живописца: в этом недавно построенном здании были комнаты с высокими потолками, широкими окнами и ощущением простора. Все это как нельзя лучше подходило Уоллису, хотя иногда, когда дул ветер с Темзы, протекавшей в сотне ярдов отсюда, от некоторых доносившихся оттуда запахов его выворачивало наизнанку. Он даже здесь боялся холеры. Зато здешний свет был совершенно особенным: этот сверкающий свет отражался от поверхности воды, проливаясь на фасады домов и на окрестные поля подобно некой волне, явившейся на сушу

издалека, из морей; и этот свет, оказавшись здесь, в лондонском предместье, был свободен от примеси дыма, который — как было заметно даже отсюда упорно висел над самим городом.

Мередит шел чуть впереди жены, с явным смятением всматриваясь в таблички с номерами новых домов. Уоллис заметил, что Мэри не смотрит ни на дома, ни на мужа, а ступает в сторону реки, вперив взгляд в землю. И вот Мередит уже стоял посреди дороги и махал ему рукой.

— Мы здесь! — прокричал он. — Твой мертвый поэт и его супруга здесь! Лицо Мэри было по-прежнему обращено в сторону, но, как только он собрался отойти от окна, она взглянула на него и улыбнулась. Мередит яростно стучал в дверь. — Впустите меня! — кричал он. — Впустите меня, или я умру на улицах Челси!

Уоллис торопливо сбежал по ступенькам в длинную прихожую. Он гордился тем, что не держит слуг, хотя, по правде говоря, у него все еще имелась кухарка; но она редко отваживалась выходить из своего нижнего этажа и жила в вечном страхе повстречать кого-нибудь из натурщиц своего нанимателя. Изредка доносившиеся с кухни возгласы или стоны были единственными напоминаниями о ее присутствии в доме, и

Уоллис уже окрестил ту часть дома Тартаром. Он открыл входную дверь; там стояла одна Мэри. Он сделал шаг назад; никто из них не вымолвил ни слова; а потом Мэри слегка наклонила голову влево. Уоллис посмотрел внимательней за порог и увидел Мередита, который развалясь лежал на пыльной земле и как будто задыхался.

— Поэт принял яд из-за разбитого сердца, — говорил он, хватаясь руками за горло. — Поэт принял яд. — Он взглянул на них. — Вы — великаны в царстве кокни. Пожалуйста, помогите мне. — Мэри, не говоря ни слова, вошла в дом, а Уоллис схватил его за руку и поставил на ноги.

Она ждала их в прихожей.

— Эти цветы совсем как настоящие, — сказала она.

У Уоллиса на стенах висели обои с подсолнухами, и их краски весело переливались, контрастируя с белой лестницей и полированными дощатыми полами.

Мередит дотронулся до маленького терракотового бюста, стоявшего возле ступенек, и ощутил прохладу его головы. Он крепко сжал ее рукой и проговорил:

— Такова современная жизнь, любовь моя. — И потом добавил: — Все так ярко.

Уоллис посмотрел по очереди на них обоих, пытаясь угадать, не захочется ли им продолжить беседу здесь; но они замолкли, и он начал подниматься по лестнице, ведя их в мастерскую.

— А тут, — сказал он через плечо, — сцена из старинной жизни. Не столь яркая, как вы сейчас увидите.

Войдя в мастерскую, Мередит расхохотался: кровать, деревянный ларь, столик и стул — все было в точности таким, каким он видел это в прошлый раз на Брук-стрит. Эти предметы были расставлены возле дальней стены мастерской, под окном, выходившим в длинный сад; а на подоконник Уоллис поставил горшочек с розовым кустиком — точно такой же, как в Чаттертоновой каморке. Потом Мередит заметил чье-то тело на кровати. Только подойдя к ней поближе, он понял, что это костюм.

— Я взял эту одежду напрокат у Натана, — сказал Уоллис.

Мередит ощупал светло-серую рубашку и пурпурные бриджи, пытаясь представить себе, кто надевал их в последний раз.

— Надеюсь, — сказал он, — они придутся мне впору?

— Я же снял с тебя мерку, как портной с покой-

ника, Джордж. Теперь я знаю твой размер, как свой собственный.

— Мелочь, зато моя собственная. — Казалось, Мередит ликовал при мысли о том, что ему предстоит облачиться в этот костюм. — А что ты сделаешь с моим телом, когда меня найдут мертвым вот в этом?

Уоллис рассмеялся.

— Я собираюсь залакировать его. Это придаст плоти более естественный вид.

— Мне показалось, я ощутил дух бальзамирующей нильской жидкости.

— Нет, это повеяло спиртным духом.

— Так вот, значит, какие духи участвуют в сем действе воскрешения.

Мэри отошла от них в сторону, и, пока они разговаривали, принюхивалась к глиняным бутылочкам с мартиновым спиртом. Потом она заметила собственное отражение в высоком позолоченном зеркале, водруженном в угол мастерской, и быстро поднялась; она осмотрелась и стала изучать кисти, плошки для смешивания красок, склянки с краской и палитры, в беспорядке разбросанные по двум деревянным столам. К стенам мастерской было приколото несколько набросков, и, подбираясь к ним, она заметила

множество старых картин Уоллиса, поставленных боком за выцветшую японскую ширму. Прямо перед ширмой стоял высокий мольберт, и Мэри пробежала пальцами по его боковой стороне, чувствуя под рукой шероховатость древесины. Холст был натянут совсем недавно, и на него уже был нанесен грунтовой слой ослепительно белой краски: она была столь яркой, что Мэри зажмурилась, и у нее перед глазами возникли мелкие загогулины или закорючки. Никому не дано воспринимать пустоту, подумала она: глаз поневоле создает формы, как язык рождает слова.

— Если и шапочка впору, — говорил Мередит, — тогда нужно надеть ее. Но где же шапочка?

Она снова всмотрелась в выбеленный холст и попыталась представить себе, как туда можно будет перенести этот нарочно воссозданный образ Чаттертоновой комнаты. Но ей ничего не удалось увидеть. Все это время она ощущала только присутствие Уоллиса, и теперь она шагнула за ширму, словно намереваясь оградить себя от источника тепла. Она подобрала одну из картин, изгнанных туда на хранение, и увидела на полотне обнаженную женщину; ее вздернутые груди были розовыми и блестящими.

— Эти бриджи чересчур тесны, — услышала она голос своего мужа. Слишком много Природы и слишком мало Искусства.

Она очень аккуратно поставила на место картину и вышла из-за ширмы.

— Скажи спасибо, Джордж, — проговорила она, — что мистер Уоллис не собирается изображать тебя без бриджей. — Она заметила удивление на лице художника и слегка смутилась.

— Продолжай же, дорогая. Продолжай, — усмехнулся ей Мередит. — Раз уж ты упомянула неупоминаемое, то выкладывай и остальное, я жду.

— Я только хотела сказать… — Она заколебалась. — Я только хотела сказать, что должна теперь оставить вас вдвоем. Мне пора.

— Но…

— Нет, мистер Уоллис. Я ведь пришла только затем, чтобы довести Джорджа до нужного дома. Он ведь сам ни с чем не справляется — правда, ничуть не справляется. — В дверях она обернулась и быстро проговорила: — До свиданья, Джордж.

— Адье, миссис Чаттертон.

Уоллис поспешил за ней вслед, чтобы отпереть уличную дверь, и, прежде чем выйти, она приостановилась.

— Надеюсь, — произнесла она, сама не вполне понимая, что говорит, надеюсь, я вас не напугала… — Ей удалось вновь овладеть собой. — Надеюсь, я не застала вас врасплох, явившись сюда вместе с мужем. Мне было по пути…

— Да нет, что вы. Мне только жаль, что…

— А теперь мне пора. До свиданья, мистер Уоллис.

Не успел он договорить своей фразы, как она отвернулась и зашагала в сторону реки.

— Вы идете не в ту сторону! — прокричал он ей. — Миссис Мередит! Дорога — в том направлении!

Она взглянула на него и — словно и не слышала, что он ей сказал, просто покачала головой и улыбнулась, а потом, завернув за угол, направилась к Челси-Уорф. "Эта никому не уступит", — подумал Уоллис, возвращаясь в мастерскую.

Мередит уже полностью облачился в тот наряд середины XVIII века, который подыскал ему Уоллис.

— Ну, как я в этом выгляжу?

— Да ты — вылитый Чаттертон. — Уоллис подошел к одному из деревянных столов; краски он заранее растер и смешал в нескольких глиняных плошках, и теперь оставалось лишь поместить

их на палитру. Ему почудилось, что Мередит смеется. — Нет, правда, ты очень на него похож. Ты не знал, что у вас обоих рыжие волосы?

Мередит молчал.

— А как тебе удалось уговорить Свинку, — спросил он немного погодя, пожертвовать всем ради искусства?

— Свинку? — Уоллис по-прежнему склонялся над столом.

— Как ты уговорил ее одолжить тебе ее жалкую мебель? — Мередит подпрыгивал на кровати.

— Мне жаль тебя разочаровывать, но это вовсе не Свинкина мебель. Я все это купил сам. Разве ты не замечаешь разницы?

Мередит вдавил палец в подушку, лежавшую в изголовье кровати.

— Наверно, все это способствует вящей достоверности? Когда ты что-то покупаешь, когда оно — твое собственное, обретает ли оно более глубокую реальность? — Теперь он улегся на саму постель и задрыгал в воздухе ногами, рассматривая только что надетые туфли с пряжками. — Ты так не думаешь?

Уоллис снял с мольберта большой холст и вместо него натянул холст поменьше, на котором уже сделал подмалевок окончательной композиции.

Сверху он приколол два наброска, уже с пометками, требуемых для готовой работы цветов. Он перенес мольберт в середину мастерской.

— Помнишь, как ты лежал тогда в каморке, Джордж?

— Нет. Ты должен задать этот вопрос Чаттертону.

— Ты лежал вот так. — Уоллис показал ему один из набросков.

— Да ты какой-то воскрешенец, Генри. Я смотрю, ты мертвых возвращаешь к жизни.

Уоллис вернулся к мольберту.

— Положи голову набок. Пусть твоя левая рука будет слегка прижата к груди. Хорошо. Теперь опусти правую руку, так чтобы она свешивалась на пол. Хорошо. Очень хорошо.

— Мне, кажется, полагалось сжимать в руке какой-то яд?

— Склянка смотрится лучше на полу. Это поддерживает композицию.

— В таком случае, давай вовсе отбросим реальность. Выбросим ее в окно. Открестимся от нее. — Но, говоря все это, он придал своему телу то положение, которое показал ему Уоллис; в действительности, он так хорошо запомнил предсмертную позу Чаттертона, что принял ее не

задумываясь.

Уоллис выбрал кисть с конским волосом и окунул ее в смесь охры с медно-красной краской: это был цвет волос Чаттертона — как и Мередита. Он работал спокойно и вдумчиво; казалось, его настроение ничем не нарушаемой сосредоточенности передалось и натурщику: тот закрыл глаза и, казалось, спал, склонив голову набок. Но Уоллис прекрасно разбирался в выражениях человеческого лица и потому догадывался, что Мередит размышляет — и размышляет мучительно.

Оба хранили молчание, и вскоре Уоллис настолько погрузился в работу, что видел на своем холсте уже не индивидуальное лицо, а обобщенный человеческий образ. Он раздумывал, как лучше высветить тесную комнатку, и вдруг ему пришло в голову, что ему следует обнаружить тело так, как это, должно быть, сделали другие — в тот августовский день, когда вскоре после рассвета слуги проснулись и учуяли горький запах мышьяка, просачивавшийся из-под жильцовой двери, и, взломав чердачную дверь, нашли бездыханное тело поэта. И вот, мысленно войдя в ту комнату вместе с остальными, Уоллис сразу же увидел, как на тело Чаттертона ложатся косые

лучи солнца, как оплывшая свеча потухла от их прихода и как на внезапно образовавшемся сквозняке разбросанные бумаги беспорядочно закружились по полу. Теперь он принялся писать бледное лицо поэта.

— Ты больше не встречался с Чаттертоном на лестнице?

— Что-что?

— Во сне. Ты мне рассказывал, что видел Чаттертона.

— Нет, теперь мне сны иные снятся.

— Какой ты стал вдруг напыщенный, Джордж.

— Не забывай, я был мертв. — Слова эти прозвучали слишком резко, и Мередит поспешил добавить: — Собственно, я думал о том, как бы ввести яд в любовное стихотворение. — Он открыл глаза. — Но, мне кажется, хотя бы раз его должна принять женщина — а ты, как думаешь, Генри?

Уоллиса почему-то смутил этот вопрос.

— Любопытно, почему ты так мало говоришь о своей поэзии.

Мередит рассмеялся.

— Потому что я так много говорю обо всем прочем?

— Нет, я хочу сказать, что ты так красноречиво

рассуждаешь о живописи…

— О твоей живописи, во всяком случае.

— …И вместе с тем ты всегда как будто избегаешь разговоров о своей работе. — Говоря это, Уоллис намечал контуры будущих теней.

— Да просто говорить здесь совершенно не о чем.

— Ты хочешь сказать, это все нереально?

— Да нет, не в этом дело. Нет ничего реальнее слов. Они-то и суть сама реальность. Дело в другом: все, что я делаю, превращается в эксперимент — я действительно не понимаю, почему, и, дай Бог, никогда этого не пойму, — и до тех пор, пока работа окончательно не завершена, я никогда не знаю, выйдет ли что-то достойное или же грош этому цена.

В этот момент Уоллис старался уловить оттенок дыма, который должен был исходить от потухшей свечи.

— Но как же ты можешь экспериментировать с реальностью? Ведь тебе остается ее только отобразить.

— Как это делаешь ты? А как тогда быть с твоей склянкой яду, которая чудесным образом поменяла свое местоположение?

— Но ведь сама склянка — настоящая. Она-то не

менялась. — Он нашел нужную смесь неаполитанских белил с кобальтовой синью и принялся осторожно наносить мазки собольей кисточкой, изображая дым.

— Мы с тобой в одной лодке. Тебе знакомо это выражение? Генри, я сказал, что слова реальны, но не говорил, что то, что они описывают, тоже реально. Наш любимый мертвый поэт сотворил монаха Роули из ничего, из пустоты, — а между тем, жизни в нем больше, нежели в любом средневековом священнике, действительно существовавшем на свете. Выдумка всегда более реальна. Можно мне теперь встать? У меня рука затекла. — Уоллис кивнул, а потом отступил назад, чтобы рассмотреть, как вышел на холсте дым от свечки. Мередит, вдохновленный начатой темой, подпрыгнул с кровати и принялся расхаживать по мастерской, стараясь при этом не глядеть на картину. — Но Чаттертон создал не просто одного человека. Он выдумал целую эпоху и сделал ее образную систему своей собственной: никто ведь толком не понимал средневекового мира, пока Чаттерттон не вызвал его к жизни. Поэт не просто воссоздает или описывает мир. Он действительно творит его. Вот почему его боятся. — Мередит подошел к Уоллису и впервые

поглядел на холст. — И вот почему, — добавил он спокойно, — именно такой всегда будут представлять себе истинную смерть Чаттертона. Ты не чувствуешь запаха гари?

Уоллис тревожно оторвал взгляд от картины и увидел густой столб дыма, валившего за окном.

— Ах, Боже мой! — вскричал он. — Там, должно быть, пожар! — Но одновременно он обратил внимание на то, как поочередно пересекают друг друга темные и светлые полосы дыма.

Огонь, видимо, полыхал около реки, и они оба выбежали из дома. На камнях мостовой у Мередита расстегнулась одна из туфель с пряжками (он и забыл, что вышел в костюме), а пока он склонялся застегнуть ее, Уоллис уже пристал к небольшой толпе на углу Парадайз-Уок и Челси-Уорф. Какой-то работяга показывал на тыльную сторону дома XVIII века, стоявшего у реки.

— Это было в том саду, — говорил он. — Разгорелось-то быстро, да потом и унялось. — Ветер менял направление, и дым постепенно рассеивался, а над водой неслись хлопья золы с пеплом.

— Так никакой опасности не было? — спросил Уоллис.

— Нет, ни капельки.

Сзади подошел Мередит, и Уоллису почудилось,

будто тот бормочет: "Пускай горит, пускай горит", но не успел он оглянуться в его сторону, как увидел Мэри, которая показалась из того дома, держа на руках ребенка.

— Миссис Мередит! — окликнул он ее. — Миссис Мередит! Сюда! — На какой-то краткий миг испуга ему пришло в голову, что это именно она почему-то стала зачинщицей пожара. Мэри отдала ребенка молодой женщине видимо, служанке из того дома, — и направилась в сторону Уоллиса. Она с счастливым видом улыбалась, и он подумал, что она увидела своего мужа рядом с ним; но теперь, обернувшись, он обнаружил, что Мередит куда-то исчез.

— Я и не знал, что вы все еще здесь, — сказал он. — Я... — Тут он заметил на ее на левой щеке темное пятнышко, похожее на тень. — Вы не пострадали?

— Нет. — Она рассмеялась. — Ни чуточки. Это было всего лишь шале мисс Слиммер.

Мисс Слиммер была поэтесса, которая жила в этом доме возле реки, писать же предпочитала в деревянном амбарчике (который она звала своим шале) в нижней части сада. Она нечасто выходила из дома, но Уоллис время от времени видел, как его соседка прогуливается по Парадайз-Уок:

тесемки на ее шляпке были полуразвязаны, а юбки порой волочились по дорожной грязи. Она была женщина крупная, но ее несколько грозный облик не находил ни малейшего отражения в ее изысканно-патетичных стихах.

— А почему вы держали на руках ребенка? — Задав этот вопрос, он сразу же покраснел, а Мэри, уловив его внезапное смущение, сдержала улыбку.

— А что, мистер Уоллис, вы решили, что это мой ребенок?

— Да нет, вовсе нет. Конечно, нет. Мне просто было любопытно…

— Это дочка экономки мисс Слиммер. Девочка так залюбовалась зрелищем, что не хотела покидать дом, но я испугалась, что она задохнется от дыма. Как гласит поговорка — нет дыма без огня?

Непривычное и неожиданное физическое возбуждение оживило ее черты: Уоллис никогда еще не видел ее столь счастливой. Внезапный порыв ветра донес до него запах обугленной древесины; он не знал, что ему еще сказать.

— Работа над Чаттертоном идет полным ходом, — пробормотал он. И затем, уже более уверенно: — Вы зайдете на нее взглянуть?

Теперь она несколько успокоилась.

— Нет, пока еще не время. — Она на миг коснулась его локтя. — Мне бы хотелось посмотреть уже на готовую картину. Можно?

— Да. Разумеется.

— Тогда напишите мне, когда она будет закончена, и я приду. — Уоллис не нашелся, что на это ответить. — Я бы предпочла увидеть ее без суетливого присутствия моего мужа…

— Он только что был здесь…

Она оставила без внимания это сообщение.

— Он воображает себя моим суфлером. Он считает, будто сама я ни о чем судить не умею. А потому в его обществе я, разумеется, столь же нема, как то и положено всякой дворцовой прислуге. — Уоллис никогда прежде не слышал, чтобы она говорила столь вольно, но он ведь никогда прежде и не оставался с ней наедине.

— Мэри! Мэри! — Грудной возглас мисс Слиммер заставил их отпрянуть друг от друга, хотя они всего лишь вели обычную беседу, и только. — Мэри, милая, ты совершенная героиня. Ты спасла жизнь этой бедняжке, этой маленькой бедняжке! — Мисс Слиммер обильно потела и то и дело подносила ко лбу льняной носовой платок.

— Да там не было ни малейшей опасности,

Эгнес.

— Ни малейшей опасности! Да ты только взгляни на меня! — И в самом деле, вид у нее был такой, словно она лишь несколько мгновений назад чудом спаслась от какого-то стихийного бедствия. Ее бумазейное платье было в нескольких местах разодрано, а на лице виднелись следы пепла и копоти: там, где по ее щекам прокатились градины пота, под серым налетом проглядывали бороздки белой кожи. На самом деле, она разорвала бумазею собственными руками. — Если бы вам вздумалось изобразить меня, мистер Уоллис, то разве что во образе Лотовой жены или какой-нибудь гарпии.

Эта фраза прозвучала не как утверждение, а скорее как вызов.

— Вы отлично выглядите, мисс Слиммер. Мне кажется, вы больше походите на Офелию.

Та в ответ улыбнулась, но довольно мрачно.

— По крайней мере, — продолжала она, — мои рукописи целы. Я уже отослала свое последнее стихотворение в Наблюдатель, а все прочее вверено заботам публики. Мою Музу опалили, но она уцелела, спасшись из огня. — Она повернулась к собеседникам спиной, чтобы еще раз окинуть взором сцену недавнего пожара; толпа уже разо-

шлась, и виднелся лишь тонкий столб дыма, плывший в сторону реки. — Но мое шале! Мое бедное шале! — Она переплела пальцы. — Как нужно заламывать руки? — спросила она. — Я никогда не умела этого делать как следует, даже в детстве. — Затем она резко обернулась. Мистер Уоллис, мы говорили о вас как раз перед самой катастрофой. Вы знаете, что миссис Мередит… — тут мисс Слиммер с жалостью поглядела па нее, — …что миссис Мередит — большая поклонница ваших работ.

Уоллиса очень обрадовало одобрение Мэри, о котором он и не подозревал, и он уже собрался было поблагодарить ее, как вдруг мисс Слиммер воздела руку.

— Нет-нет, прежде чем вы скажете хоть слово, мистер Уоллис, я должна вам сознаться, что принадлежу к старой школе. Я обретаюсь в царстве Идеального. — Произнося последнее слово, она слегка приподняла подол платья. — И потому для меня неприемлем ваш новый предмет — Чаттертон. Мэри вспыхнула, словно, рассказав своей подруге о последней картине Уоллиса, она выдала некую тайну. — Этот средневековый стиль оскорбляет мои чувства, в нем все так искусственно. Как это у вас, художников, говорится?

Пастишь. Это все — пастишь. По мне, так поэзия должна быть прямой, и рождаться она должна из вдохновенья. Тогда она будет простой, и будет она истинной. Уж я то знаю. У меня есть публика. Верно я говорю, моя героиня? Мэри кивнула, хотя, по правде, ей порой казалось, что стихи Эгнес Слиммер были бы куда интересней, если бы правдиво отражали ее сильную личность. Искусство должно идти от сердца, где зарождаются все наши чувства. — Прижав руку к груди, она, казалось, призывала в свидетели поименованный орган, но выяснилось, что она всего лишь извлекала чистый носовой платок. — Оно должно быть подлинным, — продолжала она. — Что проку в подражании другому подражанию?

— Я не согласна, Эгнес. — Говоря это, Мэри улыбалась Уоллису. — Иногда не стоит прислушиваться к голосу рассудка. Иногда следует поступать именно так, как нравится.

— Это я зову гедонизмом, Мэри, а он вовсе не пристал молодой женщине. — Она перевела взгляд на Уоллиса. — А где мистер Мередит? Он ведь вам позирует, не так ли?

Мэри перехватила этот взгляд и заметила, что ее подругу начинают одолевать какие-то подозрения.

— Мой муж выряжен в старинный костюм, Эгнес, и наверняка прячется сейчас от тебя. Тебе ведь было бы неприятно обнаружить у себя под дверью поэта, явившегося из XVIII века.

— Мистер Мередит — и ряженый! Вот уж никогда бы не подумала.

— Да он же всегда ряженый. Что за слово ты произнесла? Он всегда и есть пастишь.

— Ну, тогда лучше разыщи его. Иди и разбуди его. — Этот довольно странный ответ прозвучал, если так можно сказать, уже в отсутствие самой Эгнес, потому что она зашагала домой сразу же, как заговорила.

Они снова остались вдвоем.

— Вы зайдете ко мне? — спросил Уоллис.

Мэри поглядела в спину удалявшейся мисс Слиммер. Казалось, она собирается догнать ее, но она явно колебалась.

— Что значит — зайду к вам?

— Вы зайдете ко мне повидать Джорджа? Наверно, он ждет нас.

Мэри, по-видимому, вздохнула с облегчением.

— Ах, нет. Джордж никого не ждет — даже самого себя. Он слишком горд. Но знаете ли что? — Она собралась уходить. — Думаю, Эгнес сейчас нуждается во мне больше. — Она покинула его, а ветер

между тем снова переменил направление, и Уоллиса, медленно направившегося к мастерской, окутали клочья дыма.

Мередит сидел на кровати, одетый уже в собственную одежду.

— Ты ведь закончил со мной, Уоллис, не правда ли? — Его голос звучал уныло. Он подобрал костюм и торжественно вручил его художнику. — Я уже начал уставать от своей роли.

Уоллиса удивило, почему тот ни словом не обмолвился ни о появлении жены, ни о собственном внезапном исчезновении из толпы.

— Да, Джордж. Твоя роль окончена. — Он швырнул одежду в угол, и там она превратилась в бесформенную кучу. — Но не беспокойся…

— Я никогда не беспокоюсь.

— Получится прекрасная картина. — Он немного помолчал. — А ты знал, что в том доме находилась твоя жена?

Мередит, не обратив внимания на этот вопрос, принялся расхаживать по комнате, еще раз рассматривая заготовку к картине.

— Я обрету бессмертие, — сказал он, слегка просияв. — И не благодаря поцелую, а благодаря кисти. Когда забудутся все наши мелкие страсти, я все-таки останусь. Вот это и есть бессмертие. —

Он указал на тело, изображенное на холсте. — Но кто это — Мередит или Чаттертон?

— Наступит время, когда даже ты сам перестанешь видеть разницу.

— Ты хочешь сказать — когда и меня поглотит время? — Он громко рассмеялся, будто именно такой участи ему самому больше всего хотелось. Но спустя сорок — или четыреста — или даже четыре тысячи лет — как буду я как будет он — как будет оно выглядеть тогда? — Внезапно из кухни на нижнем этаже донесся звон посуды и визг: это кухарка Уоллиса разбила блюдо.

Мередит не отводил глаз от собственного изображения, и Уоллис положил руку ему на плечо.

— Со временем телесные цвета, разумеется, поблекнут. Ты это имеешь в виду?

Мередит снова рассмеялся.

— Но ты же и сейчас видишь, как я бледен. — И потом прибавил: — Мэри тоже бледна. Ты заметил?

Он вцепился в край холста, и Уоллис мягко отвел его руку.

— Поосторожней с картиной, Джордж. Она все еще очень хрупка. — Он отнес полотно к окну и принялся разглядывать ее на свету. — Разумеется. Со временем выцветут и растительные краски.

Зато минеральные краски даже спустя века останутся точно такими же.

— Моя растительная любовь. — Мередит тоже подошел к окну и увидел последние следы дыма, поднимавшегося от погубленного шале. — След всякой вещи сотворенной — всего лишь мысль в тени зеленой. — Он взглянул ввысь туда, где дым растворялся в ярком небе. — Так и от меня когда-нибудь останется всего лишь мысль. Всякий, кто посмотрит на эту картину, отчасти подумает и обо мне. А теперь мне пора, — сказал он. — Моя жена может…

— Я выйду с тобой. — Казалось, Уоллис лишь испытал облегчение от того, что его друг уходит, и никак не попытался удержать его. — Но постараемся не повстречаться с Эгнес Слиммер. Знаешь, я только что с ней говорил.

— Знаю. Я все видел.

Уоллис стоял к Мередиту спиной: наклонившись подобрать свой Ольстер, он оставался в таком положении несколько дольше необходимого. Затем он повернулся к нему и показал пальто.

— Это мое или твое? — Он продолжал протягивать его, как будто веля Мередиту взять его. — Они так похожи, что я их не различаю.

— Это твое, Генри. У меня нет Ольстера.

Уоллис быстро надел его.

— Ты никогда не мерзнешь?

— Нет. Никогда. — Но когда они вышли на улицу, Уоллис заметил, как тот поеживается на ветру. Они шли к реке молча. Мередит решил сесть на колесный пароход, который отправлялся от пристани в Челси до Вестминстера. Проходя мимо дома мисс Слиммер, Уоллис взглянул на него с опаской; вместе с тем он сам не вполне понимал, отчего стыдится встретить ее вновь. Мередит созерцал грубую поверхность дороги.

— Воздействие этой картины, — заговорил он внезапно, — окажется иным, нежели все то, что сейчас доступно нашему пониманию. И вовсе иным, нежели все то, что ты задумываешь, Генри. То же самое происходит с поэмой или романом. — Уоллису померещилось чье-то лицо в подвальном оконце, и он на миг остолбенел. — Конечное воздействие, которое твое творение окажет на мир, никогда невозможно ни предугадать, ни рассчитать, ни подстроить. Мередит смотрел на мутную поверхность воды. — Вот что я разумею под его реальностью… — Где-то отворилась и захлопнулась дверь. — Ее можно только ощутить. Ее нельзя описать словами. — Он по-

медлил, будто прислушиваясь к звуку чьих-то торопливых шагов. — А все-таки слова нас преследуют, цепляются за нас, дразнят нас.

— Мистер Мередит — минутку, пожалуйста. — Это была мисс Слиммер. Она была еще в нескольких ярдах от них, но шла очень быстро.

— Вот мой пароход, Генри, мне надо поторопиться. Прощай. — Он побежал к причалу, а мисс Слиммер, тяжело дыша, внезапно остановилась.

— Я только хотела передать ему это, — сказала она и протянула томик своих стихов под названием Песни осени. Уоллис пожал плечами и, отвесив учтивый поклон, поспешил уйти прочь.

Но он чувствовал себя слишком неуютно, чтобы возвращаться в мастерскую, и потому отправился к реке. Вдоль ее берега тянулась улочка, по которой он часто прогуливался ранними вечерами; она называлась Уиллоу-Пэссидж — Ивовый Переулок, из-за подстриженных ив, которые росли по обеим ее сторонам, — и ему нравилось сидеть здесь и делать наброски. Он находил, что эти деревья в высшей степени живописны в своей перспективе, и часто с головой уходил в созерцание их общих очертаний, но сегодня вечером ему казалось, будто они ходят ходуном и выворачиваются на ветру несоразмерные,

нескладные, просто какая-то возмущенная масса на фоне неба. Обычно он сидел на одном и том же месте, где покрытый травой берег перерастал в невысокий холм, и теперь он поспешил туда в надежде обрести отдохновение от собственных путаных мыслей. Он улегся на мягкую землю, закутавшись в пальто, и праздно, без своего привычного любопытства, воззрился на иву, росшую на противоположной стороне дороги.

Но и лежа там, он начал различать узоры на коре дерева: ее растрескавшаяся пестрая поверхность принимала формы и очертания, которые он не мог не узнать. Потом ему стало казаться, что самих узоров уже недостаточно: их строение и цвет обусловливались как расположением на дереве, так и очертаниями деревьев, тянувшихся по обеим сторонам, и точно так же их тени и оттенки заимствовались у переменчивого света окружающего мира. Но если все это невозможно воспроизвести — ибо разве можно надеяться запечатлеть на холсте саму жизнь, — то как же он сможет изобразить саму человеческую форму? Затем его встревожила и другая мысль: как мог он взывать к душе Чаттертона, если полагал, что сейчас его собственная душа запятнана? Ведь он устремился к Уиллоу-Пэссидж с таким жгучим

нетерпением, потому что полагал, что поступил со своими друзьями скрытно или даже обманно: как же такой человек, как он, сумеет живописать человеческое тело во всей его славе?

Он бросил взгляд на темнеющие в сумерках поля Челси, и лишь спустя некоторое время он заметил фигуру женщины; согнувшись, она срезала ивовые прутья с кустов, росших у края канавы за деревьями. Должно быть, она почувствовала на себе его взгляд, ибо в тот же миг выпрямилась и поглядела на него: Уоллис видел, как она откидывает от лица рыжие волосы. И вот уже Мэри Эллен Мередит бежала к нему, вот она говорила: "Я знала, что вы сюда пошли. Я ждала вас". Но он по-прежнему был один. Женщина продолжала смотреть на него, а потом грубо расхохоталась и, подобрав свою корзинку с ивовыми прутьями, поспешила в сторону Пимлико. Его воображение обмануло, вернее, он сам обманул собственное воображение.

* * *

На следующее утро он приступил. Он подготовил холст; гипсово-клеевой грунт был теперь совершенно гладким, и, коснувшись его, художник почувствовал, как очертания задуманных

образов водят его пальцем… вот здесь будет лежать тело, а здесь бессильно упадет рука. Он принялся смешивать хлопья свинцовых белил с льняным маслом, пока не добился нужной консистенции, а затем поместил краску на промокательную бумагу, чтобы удалить излишек масла. Нет ничего чистого, подумал он, все запятнано. Он взял французскую кисть, окунул ее в краску и начал покрывать холст слоем блестящего белого грунта, двигаясь слева направо, пока подмалевок не был полностью готов. Он отступил назад, чтобы рассмотреть свежеокрашенную поверхность, высматривая трещинки или пятна неровной яркости, но все вышло гладко. Это была стадия, предшествовавшая всякому цвету, и на мгновенье Уоллису захотелось сделать выпад кистью, шлепнуть холст или намалевать на нем какие-нибудь дикие неразборчивые значки, пока это сверканье не будет нарушено и затем навеки погашено.

Однако, наблюдая, как эта абсолютная белизна медленно высыхает на холсте, он уже видел «Чаттертона» как окончательное единство света и тени: рассветное небо вверху картины, смягчающее свет до меццотинто, с листьями розового кустика, обращенными вверх, чтобы отразить

его серые и розовые оттенки; тело Чаттертона в середине картины, нагруженной более густым цветом, дабы выдержать натиск этого света; а затем — главная масса темноты, бегущая понизу. Уоллис уже знал, что для Чаттертонова пальто, переброшенного через стул, он возьмет капут-мортуум или красный марс, и что для насыщенного цвета его бриджей понадобится тирийский пурпур. Но эти мощные тени сохранят тонкий контраст с соседними прохладными тонами: серая блуза, бледно-желтые чулки, белизна тела и розовато-белый цвет неба. Затем эти прохладные тона оживят теплый коричневый цвет пола и более темные коричневые тени, падающие на него; а их, в свой черед, уравновесят сдержанные оттенки утреннего света. Так все двигалось к центру — к Томасу Чаттертону. А здесь, в этой неподвижной точке композиции, сочно мерцающее одеяние поэта и его блестящие волосы будут символизировать душу, которая еще не успела покинуть тело; которая еще не отлетела через открытое чердачное окно в прохладную даль нарисованного неба.

Все это ясно предстало перед мысленным взором Уоллиса, и тут же, увидев уже готовую картину, он понял, что на холсте она никогда не

будет столь же совершенной, какой пребывала сейчас в его уме. Ему не хотелось терять этого совершенного образа, но в то же время он знал, что, лишь совершив «падение» в зримый мир, она обретет хоть какую-то реальность. Он взял палитру и, сделав быстрый вдох, приступил к работе.

Что мы такое? Звери. Лишь потом
Те существа разумные, на ком
Тень бледная лежит могилы дальней
И отблеск вечный участи печальной.
Здесь и царит Любовь, могучее светило.

Современная любовь. Сонет 30.
Джордж Мередит

"Чаттертон" был закончен. Он взял соболью кисточку и, окунув ее в черную лужицу слоновой кости, написал в нижнем правом углу картины: "Г. Уоллис. 1856 г." И в этот завершающий миг произошел всплеск мощи — во всяком случае, такое ощущение возникло у Уоллиса: совершая свой последний рывок к жизни, картина сделалась чрезвычайно яркой и, казалось, засияла, прежде чем принять подобающую ей торжественную недвижность. И тогда Уоллис понял, что в нее перелилась душа Чаттертона — душа, не пойманная в ловушку, а обрадованная тем, что

ее увековечили; она помедлила здесь, среди этих красок и форм, прежде чем выпорхнуть через окно, которое Уоллис оставил для нее открытым. Когда она улетит — а он знал, что она исчезнет, как только другие придут взглянуть на его произведение, — оно начнет жить совсем другой жизнью, превратившись в очередную картину в мире прочих живописных полотен. И Уоллис с какой-то жалостью поглядел на лицо Мередита, ставшее посмертным ликом Чаттертона, — но это была не жалость к себе самому, оттого что он закончил работу, а жалость к той вещи, которую он создал. Изображенная им чердачная каморка стала эмблемой мира — мира тьмы, где литература — это рассыпанные по полу клочки бумаги, где аромат — это запах умирающей розы, где источник света и тепла — это потухшая свеча. До сих пор он и не сознавал, что таково его истинное видение мира. Но затем он расхохотался над собственной грустью: ведь, в конце-то концов, это его триумф. Это его бесподобное творение. Теперь ни он сам, ни Чаттертон никогда не умрут полностью. Он еще раз взглянул на написанное им лицо, а затем принялся быстро покрывать холст копаловым лаком.

А в этот же самый миг Джордж Мередит с

любопытством рассматривал Панча — куклу в миниатюрной педельской шляпе и в красном пальто, с белым галстуком, подвязанным у подбородка. Марионетка пела:

Меня подкузьмила дуреха-жена:
Пихнула, что мочи есть, наземь она.
Да, видно, не больно драчунья сильна:
Под глазом синяк – вот и вся недолга.

Мередит дотронулся до плеча жены и прошептал:

— Как ты думаешь — я бы смог научиться сочинять такие стишки?

— Нет. В них слишком много чувства. — Отвечая, Мэри неотрывно смотрела на сцену; представление ее занимало, а тут как раз появилась Джуди, и Панч свирепо замахнулся на нее тростью.

— По вкусу ли тебе мое наставленье, милая Джуди?

Мередит снова прошептал:

— У меня тоже есть чувства. — Как будто желая отмахнуться от него, Мэри сделала несколько шагов вперед, поближе к будке, где Джуди летала из стороны в сторону.

— О, ради Бога, мистер Панч. Довольно! — ве-

рещал в притворном испуге высокий голосок марионетки.

— Нет, еще один маленький урок. Вот тебе! Вот! Вот! — Джуди повалилась на подмостки, так что над сценой торчала одна голова. Панч продолжал колотить ее, а она, защищая голову, приподняла вялую руку. — Еще, дорогая женушка?

Редкая толпа посмеялась над этим, а потом засмеялась еще громче, когда Джуди подняла голову и взмолилась своим жалобным голоском:

— Нет-нет, довольно.

Мередит подошел к Мэри.

— Вот образцовая жена — разве нет?

А Панч добавил:

— Я думал тебя вскорости удовольствовать.

Мэри неожиданно повернулась прочь, и ее муж, бросив прощальный взгляд на сцену, последовал за ней. Они были в Хаундздитче. Стоял февраль, было холодное субботнее утро, и, так как им нечем было себя занять дома, они решили посетить Тряпичную ярмарку — а вернее, им настолько не терпелось поскорее выйти из дома, что определенной цели у них не было; и лишь когда они увидели омнибус до Бишопсгейта, они сели в него и приехали сюда. И вот теперь, когда Панч победно вопил над распростертым

телом Джуди, Мэри вошла во дворик, который вел к самой Ярмарке. На грязной веревке висели дешевые ковры и коврики для камина, и Мэри остановилась поглядеть на них, пощупала засаленную ткань. Мередит поборол искушение остеречь ее от грязи, забившейся в эти тряпки.

— Только вообрази, — сказал он, — сколько Панчей и Джуди по нему прошлось?

Она уже собралась что-то ответить, но тут к ней приблизился владелец ковровой лавки; это был очень высокий мужчина с необычайно мягким голосом.

— Мадам… — он так растянул это слово, что оно показалось почти свистящим. — Я — единственное живое существо, у кого имеются эти товары.

Он положил руку слишком близко к ее руке, и она отпрянула.

Мередит, пробурчав:

— У нас и камина-то нет, зачем нам коврик для камина, — взял ее под руку и увел из дворика.

Когда они вышли в мощеный проулок, Мэри залилась смехом.

— Мой спаситель! — говорила она. — Ты спас меня от выбивальщика ковров!

Они несколько углубились в главную часть Ярмарки, осторожно пробираясь между скольз-

кими лужицами устричного сока, затекшего в ямки на булыжниках. Среди рыночного шума и гвалта Мередит сразу повеселел; он остановился между двумя грудами шляп и, взяв по шляпе в каждую руку, принялся жонглировать. Но такое веселье явно раздражало Мэри, и она, не дожидаясь мужа, направилась к отделу старых перчаток, сваленных в кучу на прилавке. Казалось, она рассматривает их очень внимательно, потому что низко склонила голову над ними, но, нагнав ее опять, он заметил, что она плачет. Рядом с перчатками стоял деревянный ящик с ржавыми ключами, и Мередит, вне себя от изумления, подобрал один из ключей и, погремев им, спросил:

— Что случилось?

Она продолжала смотреть на перчатки, перебирая и перекладывая их правой рукой.

— Ничего не случилось. Что могло случиться?

Из-за прилавка появился маленький ребенок; у него на шее болтался старый синий шарф.

— Премилые перчатки, мисс. Премилые чудесные перчатки для премилой леди. Без единого пятнышка.

Мэри улыбнулась мальчику и отвернулась, а муж последовал за ней по пятам; она направилась в боковой проход, где в несколько рядов

висели старые миткалевые платья; одни из них еще являли следы былого лоска, другие же выцвели, а оборки на них износились и истрепались. К тревоге Мередита, они напоминали вереницы повешенных женщин, которые легонько покачивались на ветру. Мэри зашла за один из рядов, сразу же пропав из виду, и он стал раздвигать платья, чтобы поговорить с ней; грубая ткань хлестнула его по лицу, и на миг он ощутил кислую застарелую вонь одеколона.

— Ну что-то ведь все-таки случилось. Скажи мне. — Она пошла дальше по проходу между платьев, и Мередит поплелся за ней по другой стороне, глядя на ее ноги. — Скажи мне!

Она вновь показалась с другого конца рядов и взяла его под руку, словно утешая его.

— Я хочу уйти на время. — Они стали быстро удаляться с этой торговой улочки, и впервые оба почувствовали, что боятся друг друга.

— Не понимаю, что ты хочешь этим сказать. — Он почти прорычал эту фразу, и она отдернула руку.

— Я хочу уйти от тебя. Это ты можешь понять?

Он остановился, ловя ртом воздух. Ему казалось, что сейчас его стошнит прямо здесь, на виду у толпы.

— Я думал, что ты счастлива.

— Счастлива? Нет. Я никогда не была счастлива. — Сосредоточившись на собственной решимости оставить его (теперь, когда она наконец высказала ее вслух, эта решимость лишь возросла), Мэри не сводила взгляда с груды старых штанов, наваленных на длинную доску. Старик, сидевший за этим прилавком, поймал ее напряженный взгляд и поднял мизинец, словно привлекая ее внимание. Ее поразил этот жест, она покраснела и зашагала дальше. Мередит по-прежнему шел рядом с ней, стараясь поспевать за ее быстрым шагом.

— Это неправда, — сказал он. — Мы всегда были счастливы. — Она ничего не ответила, и он, приняв ее молчание за признание его правоты, продолжал, уже более спокойным тоном: — Так почему же ты плачешь?

— Я плачу от жалости к тебе, Джордж.

— Что-что? — Он затащил ее под старый навес какой-то лавчонки, куда не проникал яркий дневной свет. Ему не хотелось видеть ее лицо слишком отчетливо — пока не хотелось.

— Я должна оставить тебя.

Он отшатнулся от нее и ступил на порог лавки.

— Как его имя? — Казалось, она покачала

головой. — Как его имя? Как его имя? — Это прозвучало как шутовская скороговорка комиков из Креморн-Гарденз; потом он повернулся и, не видя ничего вокруг, шагнул внутрь лавки. Он знал одно имя, но произнести его при ней он не мог: он боялся, что, стоит произнести его вслух, как тот, кому оно принадлежит, внезапно предстанет перед ними. — Взгляни-ка, — сказал он, все еще стоя к ней спиной, — тут раскиданы картины. — Когда Мэри вслед за ним вошла в лавку, он указывал на угол, где к деревянному чемодану было притиснуто несколько старых или грязных холстов. Мередит подошел и подобрал один из них. Это был портрет немолодого мужчины без парика, сидевшего возле свечи; его правая рука покоилась на стопке книг с неразборчивыми названиями на корешках. — У него знакомое лицо, миссис Мередит, — сказал он. — Быть может, это какой-то поэт? — Дрожащими руками он поднес портрет к свету, падавшему из открытого дверного проема, и на мгновенье Мэри увидела, что на холсте изображено лицо самого Мередита — изборожденное морщинами в одинокой старости. — Как вы полагаете, миссис Мередит, это подлинный человек или только натурщик? — Он поставил картину на место и вытер пальцы о

рукав куртки. — Наверное, только художнику это ведомо.

— Здесь слишком тесно, — сказала она и вышла из лавки.

— Мы еще увидимся? — угрюмо выкрикнул он ей вслед. Но он не хотел идти за ней. Ему не хотелось выходить отсюда на свет, и он повернулся к владельцу лавки, который внимательно наблюдал за ними из-за небольшого дубового прилавка. — Берегите эту картину, друг мой, — сказал Мередит. Это ценнейшее произведение.

— Вы знаете художника, сэр?

— О да, я знаю художника. Я очень хорошо знаю художника.

* * *

— Нет, я не хочу ее видеть. — Но потом она добавила более спокойным тоном, не желая его обидеть: — Не теперь. Вы мне покажете ее позже? — Ей не хотелось видеть своего мужа, лежащего мертвым, теперь, когда она покинула его — пусть даже его смерть и была всего лишь изображением на холсте. Но Уоллиса так обрадовал ее неожиданный приход, что все ее слова уже не имели никакого значения.

Когда он отпер дверь, Мэри стояла на улице,

обратись к нему спиной.

— Я вижу, Эгнес отстроила заново свое шале. — Затем она резко обернулась и прочла столь явственное изумление на его лице, что громко рассмеялась. — Вы же помните — я сказала, что приду.

— Да. Разумеется. — А потом — сам не вполне понимая, что говорит — он добавил: — Я всегда знал, что вы придете.

Так они оба стояли на пороге, не двигаясь с места, пока Мэри не заглянула внутрь дома через его плечо.

— Можно?

— Ах да. Простите меня.

Он пока не хотел слишком близко подходить к ней, поэтому, войдя в прихожую, она сама сняла плащ и с улыбкой подала ему. Но Уоллис не мог вспомнить, что с ним нужно делать, и продолжал держать его в руках, ведя ее вверх по лестнице в мастерскую. Она заговорила первой.

— Картину скоро выставят?

— В Хогартовской галерее.

— Это ему понравится. Он часто говорил о ней.

Уоллис ничего не сказал на это; молодым художникам было хорошо известно о том, что Мередиты расстались, — но знала ли она, что это

ему известно?

— Хотите чаю? — наконец спросил он. И, не дожидаясь ее ответа, он встал и налил в чайник воды из крана в углу мастерской. Ему нужно было занять себя чем-то, чтобы собраться с мыслями. — Видите — я здесь как первобытный человек, миссис Мередит. — Он покраснел: ведь он не хотел так называть ее. — Я хотел сказать…

— И что же это? — Она продолжала улыбаться.

— Что?

— Что у вас за чай?

— А-а. — Он почувствовал облегчение. — Боюсь, только сушонг.

Теперь они оба почему-то смеялись.

— А я думала, что сушонг — это такой стиль в живописи, мистер Уоллис. — Она выговорила его имя очень тщательно.

— Нет, вы, верно, думали про марикомо.

— На самом деле, я ни о чем не думала вовсе.

Они сидели молча, пока свист чайника не заставил Уоллиса вскочить. Когда он принес ей чай, у него все еще дрожали руки. Она сделала глоток и поморщилась.

— Вы уверены, что это чай, а не масляная живопись?

Он тоже попробовал.

— Простите. — Он выплеснул остатки чая в деревянную мисочку. — Я тоже чувствую привкус мастики. Должно быть, в этих чашках я держал лак.

Она отставила свою чашку.

— Теперь я готова. — Он безмолвно воззрился на нее. — Я готова посмотреть картину.

Но теперь уже он не торопился показывать ей портрет: не оттого, что боялся услышать ее мнение о самой картине, а скорее оттого, что тревожился, не зная, какое впечатление произведет на нее вид ее мужа, лежащего на кровати.

— Я принесу ее сюда, — сказал он осторожно. — Я держу ее в своей комнате.

— Нет. Нет, отведите меня к ней. Я хочу увидеть ее такой, какова она сейчас. Без всяких церемонных представлений. — Она явно нервничала не меньше его самого.

Он повел ее по лестнице в свой кабинет. Шторы были задернуты, оберегая от дневного света холст, недавно покрытый лаком.

— Позвольте, я отдерну их, сказал он, поспешив к окну. — Вам будет лучше видно.

— Можно мне сперва осмотреть ее в тени? Я пока немного боюсь ее. Уоллис провел ее в дальний угол, где и стояла картина, водруженная на ноч-

ной столик черного дерева; в тени ее страстные краски казались еще более буйными, а белизна изображенного тела — еще более ослепительной. Душа Чаттертона еще не отлетела из нее.

— Не бойтесь ее, — проговорил Уоллис. — Ведь именно эта картина помогла нам… — Он замолк, не решаясь продолжать. Но она не смотрела на холст: она смотрела на него. Его левое веко нервно подергивалось. Ей захотелось потрогать его глаз и унять эту дрожь, захотелось коснуться его лица. И вот, стоя возле «Чаттертона», она сделала это.

6

Таковы обстоятельства, имеющія касательство токмо до моея совести, но я, Томасъ Чаттертонъ, по прозвищу Томъ-Гусиное-Перо, Томъ-Одинъ-Одинешенекъ, или Бедняга Томъ, привожу ихъ здесь заместо Завещаній, Показаній, Дарственныхъ и протчихъ тому подобныхъ крючкотворныхъ бумагъ. Итакъ, принимайте нижеследующій Разсказъ какъ онъ есть, хотя Лучшаго, могу поклясться, вамъ не поведалъ бы Никто иной: ибо кто присутствовалъ при моемъ Рожденіи, какъ не я самъ, хотя, можетъ статься, то былъ одинъ изъ редкихъ Случаевъ, когда Матушка моя породила лучшій плодъ, нежели когда-либо выходилъ изъ моей Головушки. Родился я на Пайлъ-стритъ, въ месяце Апреле Господня Лета 1752-го, въ семъ зловонномъ Умете Бристоле, въ твердой и незыблемой Надежде, да унижаемъ, попираемъ и презираемъ буду отъ благочестивыхъ и многочтимыхъ уроженцевъ сего Града, кои, подобно Андроцефалогамъ, Умъ свой имеютъ тамъ, где Удъ помещаться долженъ. Отцу моему мертву бывшу, кругомъ меня объ ту пору находились Женщины, каковое дело вполне причиною

могло явиться того (такъ объяснялъ я своей Матушке, отъ чего зашлась она Смехомъ, ажъ до Плача), что малым ребенкомъ поражали меня незапные гистерическіе Припадки: ибо отчего бы мне, великому Пародисту, и не передразнивать было слабый Поль? А если и не Женщины, то тоска, Сплиномъ рекомая, томила меня. Одна из первыхъ Сатиръ моихъ, писанная мною о седми годахъ отъ роду, сему предмету посвящалась.

Отецъ мой былъ певчимъ въ церкви Св. Маріи Редклиффской, яже располагалась насупротивъ дома нашего на Пайлъ-стритъ въ толикой близости, что съ легкостію могъ я счесть все трещинки въ ея каменной Кладке; а поелику преставился онъ за три всего месяца до собственнаго моего Рожденія, то нередко мне взбредало на умъ, что мне слыхивать приводилось его пеніе, въ утробе матерней сидючи: отсель и собственная моя любовь къ Музыке, къ темъ даже нестройнымъ Напевчикамъ, кои долетаютъ изъ Общественныхъ Садовъ и затуманиваютъ очи мои Слезами. Матушка моя была доброй женщиной и не уставала наставлять меня въ Добродетеляхъ и похвальныхъ Качествахъ Отца моего: "Твой Батюшка, — говаривала она, — толико любилъ сію Церковь, какъ-еслибъ собственными Рука-

ми ее выстроилъ". После она вздыхала, а после смеялась, откладывая Нитку съ Иголкою, дабы заключить меня въ Объятія. "Отчего мы такъ нахмурились? — спрашивала она, видя мой насупленный взглядъ, устремленный на нее. — Боже, какого ты послалъ мне малыша, что такъ печалится воспоминаніямъ своей бедной Матери!"

Вечерами я сиживалъ съ нею у Очага, обвивъ Руками ея шею, а она разсказывала мне старинныя гисторіи. "Триста летъ тому назадъ, — сказывала она, — церковный Шпиль поразилъ ударъ Молніи, и тотъ рухнулъ, упавъ на коровій Выгонъ по соседству — тамъ, где теперь лавки Пирожника и Книгаря". Триста летъ назадъ! Слова сіи, словно Заклятіе, завораживали меня: въ ту пору, когда не было еще на свете ни меня самого, ни даже Отца моего, эта самая Церковь уже стояла вотъ здесь! Я былъ тогда совсемъ еще Ребенкомъ, однакожъ съ техъ Дней зачастилъ къ Св. Маріи Редклиффской. Всякій разъ, входя подъ Портикъ ея, преклонялъ я главу; а быль я Мальчикомъ вздорнымъ, Выдумщикомъ одинокимъ, индо и казалось мне, будто я вступаю въ собственный моего Отца домъ (разумея сіе отнюдь не въ смысле Благочестія), и моей Фантазіи все погребальные памятники

представлялись его же Образами, закостеневшими въ Смерти, изъ лапъ коей желалъ я вырвать его. Итакъ, вы теперь видите, какъ соделался я страстнымъ почитателемъ Старины.

Въ те далекіе Дни, помнится, надевалъ я свое коричневое суконное пальто, круглую шляпу и отправлялся бродить по Полямъ, льстяся набрести на сокрытые Могильники или надписи, высеченныя въ Камняхъ. Я растягивался на скошенной траве или прислонялся къ дереву и съ восхищеніемъ устремлялъ свой взоръ къ Церкви, возвышавшейся надъ окрестными полями и тропинками. "Тамъ, — говорилъ я себе, — тамъ то место, где Молнія поразила шпиль — и тамъ то место, где прежде разыгрывали Представленія. Тамъ, на западной стороне, древніе чернецы благословили источникъ въ праздникъ Св. Маріи — и тамъ, можетъ статься, любилъ сиживать Отецъ мой вечерами, когда утомлялся онъ Пеніемъ". И всё это чудеснымъ образомъ сливалось въ моемъ воображеніи, такъ что я впадалъ въ некій Экстазъ.

О сію пору поступилъ я въ Школу подъ началомъ наставницы, где стали меня обучать, какъ высчитать цену на Зерно и на протчія подобныя надобности бристольскія (ибо не ведають иной

Любви, окромя какъ къ Выгоде, въ семъ Гноище, сей Выгребной Яме, семъ Кладбище для Купцовъ да Потаскухъ), а после того перешелъ я въ Колстонскую школу, что на Редклиффъ-стрить. Несть на свете ничего грязнее и упрямее Школяра, и изо всехъ моихъ силъ пытался я сдержать свой неумеренный Хохотъ, когда сотоварищи мои болтали о своихъ Братишкахъ и Сестренкахъ, о Родителяхъ и ручныхъ Мышкахъ, объ игре въ Мячъ и урокахъ Правописанія. Меня прозвали они Томъ-Петушокъ, или Золотой Гребешокъ, за мои рыжіе власы; но сами они такъ и не узнали, подъ какими Кличками ходятъ у меня самого. Звали меня и Томъ-Одинъ-Одинешенекъ, за мою любовь къ уединенію; но я не былъ одинокъ, ибо имелось у меня толико Товарищей, колико то было мне потребно, изъ моихъ Книгъ. Отецъ мой некогда купилъ сотню пыльныхъ Томовъ, и ихъ снималъ я съ Полокъ (распугивая Мышей) съ толикимъ Благоговеніемъ, словно бы писала ихъ собственная его Рука: и я читалъ книги о геральдике, объ Аглицкихъ древностяхъ, съ метафизическими разсужденіями, математическими изысканіями, по музыке, астрономіи, медицине и иное тому подобное. Но ничто такъ меня не завораживало, какъ Гисторическія сочиненія, и

воистину не научили бы меня толикому въ Колстонскомъ заведеніи, еликому обучался я дома: въ Школе книгъ было мало, а въ своей Каморке изучалъ я Спейтова Чосера и Камденову Британнику,[46] Персіевы Памятники[47] и Библіотеку Музъ миссъ Элизабетъ Куперъ; и пребывалъ я въ Мире и Покое, ибо міръ Отца моего сталъ схожъ съ моимъ собственнымъ.

Николи не оставлялъ я своего чтенія, но пришла и такая пора, когда я переменилъ его, ино случилось сіе темъ зимнимъ утромъ, когда Матушка моя показала мне старинную рукопись на Французскомъ, съ изукрашенными заглавными буквами и прекрасно сохранившимися древними Вычурами. "Томъ, — сказала она, — Томми, погляди-ка на сію заплесневелую Харатью, что лежала въ одномъ изъ Песенниковъ твоего отца.

---

[46] Примечания: 46

Уильям Камден (1551–1623) — английский любитель старины, первооткрыватель исторического метода, автор Британии — первого всеохватного топографического обзора Англии, написанного на латыни (1586). Незадолго до смерти он основал кафедру истории в Оксфордском университете.

[47] Примечания: 47

Имеется в виду свод Памятники старинной английской поэзии, изданный в 1765 г. Томасом Перси (1729–1811). Туда вошли английские народные баллады робингудовского цикла, любовного и фантастического содержания. С источниками — первопечатными текстами и старинными рукописями — Перси обошелся вольно, обработав их в духе сентиментальной и предромантической поэзии своего времени.

Цвета тутъ больно хороши для такой-то ветоши, какъ ты думаешь? Продадимъ ее — или пустимъ сію бумагу на Дрова?"

Я пришелъ въ изумленіе, ибо рукопись была совершенна въ своемъ роде. "Ты нашла сокровище, — сказалъ я матери, обнимая ее, — кое возпламенить можетъ премного больше, нежели токмо огонь въ зимнюю пору. Сіе поистине безподобно!" И я коснулся перстами яркихъ золотыхъ и зеленыхъ полосокъ, украшавшихъ Заглавныя буквы, коими блисталъ манускриптъ, яко Коверъ пестротканый или Лугъ цветочный.

"Ахъ, — молвить она, подивившись моему Воодушевление. — Да такаго добра куда больше въ Церкви хранится. Твой бедный Батюшка часто мне объ томъ сказывалъ".

"Дражайшая Сударыня моя и Вдовица, — рекъ я, отчего она разхохоталась паче воли своея, — дай же мне, молю, точнейшее Описаніе того места, иначе я погибну непременно".

"Ну, полно, Том, ты черезчуръ еще юнъ для погибели. Надобно мне спасти тебя". И взялась она раздумывать, где бы могъ батюшка мой найти ту Харатейную грамоту: "Никакъ, въ Ризнице? Ну нетъ, только не тамъ, ведь тамъ вечно сидитъ этотъ старикъ мистеръ Кроу съ вонючею своей

Понюшкою… Въ Башне? И то нетъ, слишкомъ ужъ высоко для него… Или — да нетъ… Ну наконецъ-то, Томъ! Это было въ запертой каморке надъ севернымъ Крыльцомъ, где поговаривали еще о Летучихъ мышахъ и всякой такой всячине. Тамъ же и все ветхіе Сундуки да Шкапы".

Я снова обнялъ ее. "Матушка, — сказалъ я, — ты одна стоишь тысячи Девственныхъ Весталокъ!" (Ибо я недавно лишь читалъ Гисторію Рима Мюди.)

"Надеюсь, что я скромна, Томъ, — ответствовала мне она, — но Девственницей меня не назовешь — коли не наступить второй Векъ Чудесь".

"Я сотворю Чудо, — рекъ я. — Я вновь озарю Прошлое яркимъ светомъ".

И я мигомъ помчался на поиски мистера Кроу, служителя при церкви Св. Маріи Редклиффской, непоседливаго старика, не разлучавшагося со своею Табакеркою и потому вечно сопевшаго и пыхтевшаго. "Мистеръ Кроу, вымолвилъ я, наконецъ нашедъ его въ Ризнице, бдяща надъ печально разложенными Разчетами, — льзя-ль мне обезпокоить васъ и попросить о ключе отъ каморки надъ севернымъ Крыльцомъ?"

Онъ хорошо зналъ меня, и зналъ, что я во всехъ отношеніяхъ сынъ своего Отца. "Тамъ нетъ ни-

чего, окромя Пыли да древнихъ Ветошей, Томъ, ответствуетъ онъ. — Ничего для маленькихъ детей".

"Мой Батюшка нашелъ тамъ Харатьи, — отвечалъ я. — Я пришелъ, чтобы отыскать другія, имъ подобныя".

"Ахъ-да, есть тамъ и Бумаги". Онъ чихнулъ и утеръ Носъ Рукавомъ, по всегдашнему своему Обыкновенію. "Но оне Изодраны и Подгнилы. Оне никуда не годятся, разве токмо пустить ихъ на полоски для Мотковъ, или на Дурацкіе Колпаки для такихъ-вотъ Мальчугановъ, какъ ты". Онъ разсмеялся и слегка фыркнулъ.

"Достопочтенный мистеръ Кроу, — началъ я, и онъ паки разсмеялся. Коли я и Дуракъ, такъ, пожалуй, явите поблажку моему Сумасбродству. Ибо говорить, что Человекъ, лишенный Разсудка, близокъ къ порогу Мудрости". "Томасъ Чаттертонъ, — сказалъ онъ, — у тебя на молодыхъ Плечахъ сидитъ старая Голова".

"Тогда старыя Бумаги принадлежать мне по Праву Первородства".

Онъ смерилъ меня Взглядомъ и затемъ улыбнулся. "Ну, — промолвилъ онъ, — правду сказать, такъ церкви боле нетъ въ нихъ нужды". И онъ повелъ меня по винтовой лестнице близъ север-

наго Крыльца къ старой каморке Архива; онъ отомкнулъ толстую деревянную дверь, а после оставилъ меня тамъ съ великою Поспешностію, поелику Хладъ сталъ пробирать его Кости (или такъ мнилось ему).

Говорятъ, будто для каждаго Человека настаетъ такой Мигъ, когда онъ зритъ, какъ разворачивается предъ нимъ вся его Судьба, словно бы въ некоемъ Виденіи, — такъ-вотъ, вообразите собственное мое Изумленіе и Радость, когда увидалъ я въ голой каменной Каморке два деревянныхъ Сундука. Я поспешилъ отпереть ихъ, а внутри безпорядочно громоздились старыя Бумаги, Пергамены, Разчеты и Разписки, словно груда Листьевъ, отряхнутыхъ наземь после Урагана. Съ превеликой бережностію и осторожностію взялся я перебирать ихъ, и казалось, будто Харатьи жгуть мне Руки — таково было мое Ликованіе при виде ихъ; одне по Латыни или по Французски писаны были, а другія изчерканы Цифирью — какъ видно, Церковные Счета или Табели о Барышахъ. Но были и такіе Обрывки, въ коихъ ясно мой взоръ различалъ Аглицкій языкъ (хотя бъ письмена сіи и глядели витіевато), и, оставивъ покаместъ протчія Бумаги въ Сундукахъ, эти я прихватилъ съ собою домой. Дрожащими Пер-

стами разложилъ ихъ я въ своей Комнатенке, и, пускай были оне попорчены и писаны исконными Готическими литерами той поры, осилилъ я ихъ безо всякаго труда: по правде сказать, и разбирать тамъ особливо многаго не было — лишь клочки Словесъ или предложений. Но мне и того было довольно: Воображеніе мое забурлило, и я взялся переписывать ихъ собственною Дланью. Здесь имелись такія выраженія, какъ "паки посылаеть семо писаніе", "далъ ми еси зелно хотеніе", "елико сонмища оныхъ премногія", — и мне тотъ-часъ пригрезилось, будто со мною, лицемъ къ лицу, говорять Мертвые; а когда взялся я выписывать слова ихъ, дотошно копируя написаніе Подлинниковъ, я словно бы сделался однимъ изъ этихъ Мертвыхъ и такъ сумелъ съ ними заговорить. Я пришелъ въ толикій Ражъ, индо, оставивъ переписываніе, обнаружилъ, что и самъ могу далее продолжать такожде: было тамъ одно премилое предложеніе, сиречь: "и пріяша его за руци и нози", и сюда я прибавилъ: "и принесоша его въ полату и покладоша ему нарочиту постелю". Самыя эти словеса были призваны изъ глубинъ существа моего, и явились съ таковою Легкостію, какъ-еслибъ я писалъ на Языке собственныя моея Эпохи. И хотя я быль тогда лишь Школяромъ, объ

ту самую пору и порешилъ я совокупить ветхіе сіи Обрывки съ собственнымъ моимъ Геніемъ: такъ возсоединиться должно Живымъ съ Мертвыми. И съ того самаго мига пересталъ я быть простымъ Мальчишкою.

Итакъ, я, Томасъ Чаттертонъ, отъ роду Двенадесяти летъ, приступилъ къ собственной моей Великой Книге Прошлаго. Первой моею задачею стало раздобыть себе не менее доброе Родословіе, нежели у всякаго Дворянина Бристольскаго, и сіе свершилъ я, совокупивъ собственныя познанія въ премудростяхъ Геральдическихъ съ некимъ документомъ, каковой — приведу тутъ свои же слова — былъ "недавно лишь найденъ въ церкви Св. Маріи Редклиффской и писанъ языкомъ оныхъ Дней". И всё сіе исторгалось изъ существа моего столь вольно, что я не въ силахъ былъ обуздать ретивой своей Изобретательности, и съ поспешностію сочинилъ Доподлинную Гисторію Бристоля и самой Церкви. Метода моя была такова: я уже разполагалъ въ Томахъ, взятыхъ съ Батюшкиныхъ полокъ или купленныхъ у Книгарей, различными Хартіями и Памятниками и протчей подобной Всячиной; къ нимъ присо-

вокупилъ я читанное у Риката, Стоу,[48] Спида, Холиншеда,[49] Леланда[50] и премногихъ другихъ изследователей Старины. Буде занималъ я по кусочку у каждаго, пусть и совсемъ краткому, я уверялся, что въ Совокупности они слагаются въ совсемъ инакій, новый Разсказъ — и словно бы уже Чаттертоновъ Разсказъ. Вставлялъ я и собственныя разсужденія касательно медицины, драмы и филозофіи, причемъ хитроумно измененныя стариннымъ Почеркомъ и Написаніемъ, коимъ я уже выучился, зато измышленныя мною съ толикою Силою, что соделались они куда подлиннее, нежели Векъ тоть, въ коемъ во плоти я обретался. Я возпроизводилъ Былое и наполнялъ его таковыми Подробностями, будто бы я наблюдалъ его сей же часъ предъ собою: такъ Языкъ

[48] Примечания: 48

Джон Стоу (1525–1605) — антиквар-елизаветинец, собиратель редких книг. В 1561 г. он издал Чосера, в 1565 г. — Свод английских хроник (Summarie of Englysee Ceronicles). Автор Хроник Англии и знаменитого Обозрения Лондона (1598).

[49] Примечания: 49

Рафаэль Холиншед (ум. ок. 1580) — английский хронист. Его «Хроники» пользовались большой популярностью и стали настоящей кладовой для многих драматургов-елизаветинцев, особенно для Шекспира.

[50] Примечания: 50

Джон Леланд (1506–1552) — капеллан и библиотекарь короля Генриха VIII, принадлежавший к видной группе английских любителей старины.

оныхъ Дней пробудилъ и самую Действительность, ибо, пусть я и ведалъ, что самъ сочинилъ сіи Гисторіи, ведалъ я и то, что оне истинны.

Но недостаточно мне было токмо Писать. Лукавые граждане Бристоля судятъ обо всемъ лишь по внешнему Виду, и для того, дабы перехитрить и посрамить ихъ, я узналъ, как придать моимъ собственнымъ Бумагамъ сходство со Стариною. Въ свою Каморку пронесъ я тайком мешочекъ толченаго Угля, изрядную плитку желтой охры и бутылочку чернаго свинцоваго порошку, коими Средствами могъ бы я сотворить видимость славнаго Века толико же верно, какъ-еслибъ мои новодельныя Бумаги извлеклись на светъ прямехонько изъ Сундуковъ Св. Маріи Редклиффской. Я натирал Харатьи охрою со свинцомъ, а порою, дабы и паче состарить свои Писанія, выволакивалъ ихъ въ Пыли или держалъ ихъ надъ Свечою — каковое действіе не токмо полностью переменяло цветъ Чернилъ, но и темнило и съеживало самое Харатью. Я былъ усерднымъ Ученикомъ, однакожъ спервоначалу въ трудах моихъ наблюдалось более безумія, нежели благоразумія; и Матушка моя, заслышавъ многоразличные Стоны и Проклятія изъ моей Каморки въ первый День, что приступилъ я къ нимъ, вошла ко мне

и увидала меня въ облаке Угольномъ. Я такъ былъ перепачканъ охрою и свинцомъ, что она воздела горе руки и сказала: "О Боже мой, ужъ не перекрашиваешься ли ты в Цыганята, Томъ?"

"Достойная Мать достойнаго сына, азъ есмь странствующій Лицедей, а сія Каморка — мой Феатръ".

Она понюхала воздухъ. "Плесневелая Рухлядь всё это, а не піеса. Фи! Чую я, виноватъ въ этомъ мистеръ Кроу!"

"Дражайшая вдовица и щедрая дама Бристольская, — отвечалъ я, — ты черезчуръ любопытна да востроноса для своего беднаго Сына. Тебе следъ покинуть мою Комнату — это моя Комната". Но, завидя, что она несколько обижена на то, я торопливо продолжилъ: "Сія плесневелая рухлядь, какъ ты выразилась, принесеть намъ Состояніе. Я набрелъ — съ помощію достопочтеннаго мистера Кроу, признаю, — я набрелъ на подлинныя Повествованія о нашемъ замечательномъ Граде и кое-какіе славные Анекдоты касательно нашихъ виднейшихъ Семействъ". (Столь велика была моя Вера въ собственное Дарованіе, что я утаилъ Истину даже оть нея.) "Найдется премного пузатыхъ Горожанъ, кои заплатятъ и впредь захотятъ платить немалую мзду за сіи Памятныя

заметы объ ихъ знаменитыхъ Предкахъ". И далее я сказалъ, приукрашивая свою добрую Шутку и исправную Уловку, обдумывая ее: "Сіе усладить нашу милую Знать и темъ-же часомъ наполнить нашъ Кошель".

И воть моя Матушка, языкъ имевшая столь длинный, что при разговоре запросто могла бы ловить имъ летнихъ жуковъ, не замедлила распространить по всему Городу сію Весть — сиречь, что ея дорогой и ученейшій Сынокъ нашелъ во стенахъ Церкви некія старинныя Бумаги, каковыя окажутся не токмо любопытны, но и ценны (какъ изволила она выразиться) для любезныхъ Горожанъ Бристольскихъ. И въ скоромъ времени я уже явилъ тому доказательства, подделавъ для мастера Бейкера, мастера Кэткотта, мистриссъ Хигинсъ, и иже съ ними, различные Памятники, кои превозносили Добродетели ихъ Бристольскихъ предковъ. А когда те вопрошали: "Какъ же ты напалъ на сіе?" я отвечалъ: "Сіе подлинное свидетельство, писанное на древнемъ Пергаменномъ Свитке и обретенное въ Сундукахъ, что въ церкви Св. Маріи Редклиффской. Можете спросить у служителя, мистера Кроу, который и провелъ меня туда". И столь пылкой была ихъ Надежда, столь упрямой ихъ Вера въ то, что они

произходятъ отъ благороднаго Корня, а не отъ Свиней и Шлюхъ, коихъ собою напоминали, — что вмале Умы ихъ легко поддались Убежденію.

Итакъ, въ моемъ Кармане стали позвякивать Монетки, хотя мне по душе были совсемъ иные Звуки. Въ моихъ помыслахъ царила Поэзія. Я придумалъ себе монаха XV-го века Томаса Роули; я облачилъ его въ Рубище, затмилъ его очи Слепотою и заставилъ его Петь. Я сочинялъ поэмы Эпическія и стихи Лирическіе, Элегіи и Баллады, Песни и Акростихи — и всё это темъ витіеватымъ вымышленнымъ Стилемъ, каковой вскорости сделался вернейшимъ Слепкомъ моихъ подлинныхъ Чувствованій, — ибо, какъ я писалъ, рукою Роули, "Окрестъ бо купно бысть", что означаетъ: "Все вещи суть Единаго частицы". Я употребилъ сіе въ иномъ смысле, вместе со следующимъ:

Се, Роули въ черны Дни сіи
Шлетъ Светъ намъ яркій свой,
И Турготъ[51] *съ Чесеромъ живутъ*

---

[51] Примечания: 51

Монах Тургот — другой вымышленный Чаттертоном персонаж, якобы живший в X веке и сочинивший поэму Битва при Гастингсе, которую Роули «перевел» с древнесаксонского подлинника на современный ему язык XV века.

Въ строке его любой.[52]

Такъ въ каждой Строке мы зримъ Отзвукъ, ибо истиннейшій Плагіатъ воть истиннейшая Поэзія.

Сіи старинные Стихи разослалъ я затемъ по разнымъ Журналамъ и въ Лондоне, и въ Бристоле, съ приложеніемъ одинакаго Постъскриптума: "Это Поэма, писанная Томасомъ Роули, Священникомъ, кою обнаружил я в Архиве Церкви Св. Марии Редклиффской; посылаю целикомъ Образчикъ Поэзіи техъ Дней, зело превозходящей наши былыя сужденія объ оной". И вотъ Древность была вверена моимъ заботамъ, словно слепой пророкъ, ведомый мальчикомъ. Я продавалъ свои Стихи и Книгарямъ, и хотя въ Лондоне меня ждалъ некоторый успехъ, по большей части слава Томаса Роули ходила по Бристолю, и Торговля

---

[52] Примечания: 52

Now Rowlie ynne teese mokie Dayes
Sendes owte eys seynynge Lygete
and Turgotus and Ceaucer live
inne every line eee writes,

заключительные строки из ответа Джона Лидгейта, якобы написанного Томасу Роули в ответ на его послание Песнь к Элле (Songe to AElla). Джон Лидгейт (ок.1370-ок.1451) — лондонский священник и поэт — мог послужить прототипом для самого Роули; Элла — крупный английский феодал, владелец Бристольского замка, многократно побеждавший датчан в начале X века.

моими Трудами велась весьма бойкая. Нашелся одинъ книгопродавецъ, заподозрившій истину, сиречь — что стихи эти моего собственнаго Сочиненія. То былъ Сэмъ Джойнсонъ, молодой Человекъ, недавно пустившійся въ Торговлю, который одалживалъ мне Книги и Брошюры задолго до сотворенія Роули. Онъ зналъ, что я за яркая Искорка, и сколь Душа моя лежитъ къ Учености, но на сей разъ онъ ничего не сказалъ и приобрелъ мои Стихи, не обронивъ ни малейшаго Намека касательно ихъ Произхожденія. Вы спросите, пожалуй: отчего же не выказалъ ты себя подлиннымъ Авторомъ и темъ не заявилъ о собственной своей Заслуге? Но вы забываете объ изящномъ Городе Бристоле, семъ сущемъ Корабле Дураковъ, где Капитанами — лишь Чинъ да Злато. Мне же, юноше Рода низкаго и Воспитанія несовершеннаго, грозило лишь хуленіе и небреженіе что бы я самъ ни написалъ. А я — піитъ прирожденный, каковое званіе стоитъ выше, нежели Дворянство, и уже въ те Дни я былъ слишкомъ гордъ, чтобы стать Предметомъ низменныхъ Шутокъ и въедливыхъ Придирокъ убогихъ Бристольцевъ.

И такъ вотъ случилось, что дондеже крепко я былъ привязанъ къ этому Умету и Блудилищу,

кое стыжусь я называть Роднымъ своимъ городомъ, — все мои Думы начали обращаться къ Лондону, где (какъ думалось мне) мой Геній сможетъ возсіять яркимъ пламенемъ и поглотить всехъ, кто его узритъ. Я впервые поделился симъ Замысломъ съ Сэмомъ. Джойнсономъ какъ-то утромъ, стоя подле одной изъ его Полокъ, заполненныхъ ужасною современной Писаниною. "Лондонъ — вотъ магнить, влекущій меня къ себе, — сказалъ я. Здесь же мне не по себе, словно Потаскушке въ Монастыре.

"Ну-ну, — отвечаетъ Сэмъ, глядя мне въ Лицо блестящими своими Очами. Смотри, какъ-бы тебя не притянуло къ Скаламъ".

"А что за Песни распевали Сладкогласыя Сирены, Сэмъ?"

Онъ разсмеялся моимъ Созвучіямъ. "Ужъ не те песни, что ты сочиняешь, Томъ". Онъ смолкъ. "Хотя, по правде, откуда жъ мне-то знать наверняка". Онъ слегка закашлялся, сказавъ, что это отъ Пыли. "Ну-ну, — проговорилъ онъ наконецъ, — въ Лондоне ты хотя бы сможешь работать подъ покровомъ тайны, тебе ведь этого хочется".

"Съ чего бы это вдругъ?" — резкимъ тономъ спросилъ я его.

Но онъ лишь снова одарилъ меня своимъ про-

ницательнымъ Взглядомъ и ничего более не сказалъ.

Когда я разкрылся передъ Матушкой, сообщивъ ей, что намеренъ уехать, она издала тихій Стонъ и, тяжело осевъ на плетеное Креслице, продавила его. Это разсмешило ее. "Ты, помнится, такъ брыкался у меня въ Утробе, — сказала она мигъ погодя. — Я знала, что тебе не терпится пойти своим путемъ. Да только берегись Сифилиса, Томъ. Женщины-то въ Лондоне, говорять, сущія Потаскушки".

"Значить, оне совсемъ не походятъ на скромныхъ Бристольскихъ Девъ?" Она попыталась улыбнуться въ ответъ, да только приложила Передникъ свой къ Глазамъ, дабы утереть Слезинку.

Более толковать было не о чемъ, и вотъ, въ первую Апрельскую неделю 1770-го года селъ я въ коляску и покатилъ въ Лондонъ: казалось, съ каждымъ звукомъ Рожка приближался я къ своей Фортуне, а Ветръ, пусть и холодившій мои Ланиты, согревалъ мое Сердце. Когда въехали мы въ Леденхоллъ и Старое Гетто, я уже почиталъ себя здешнимъ Гражданиномъ и затерялся въ Лабиринте Восхищенія гораздо ране, нежели выпало мне затеряться въ Лабиринте Улицъ.

Въ Холборне у сестры Сэма Джойнсона имелся домъ съ комнатами, отдававшимися внаемъ, и я направилъ туда свои стопы, по указанію Сэма. Тамъ приветствовали меня съ великою радостію и препроводили въ крохотную Каморку надъ тремя пролетами Лестницы: отсюда, изъ своего воздушнаго Укрытія, взиралъ я на Дымоходы и Крыши, грезя о своей скорой Славе.

Но коль скоро взялся я устремить свой Бегъ по кругу большой Поэзіи, то и Скачки выдались не изъ легкихъ; на следующее Утро, когда посетилъ я Присутствія техъ Журналовъ, въ коихъ печатались мои Сочиненія, когда былъ я еще простымъ Бристольскимъ мальчишкою, я обнаружилъ, что они более испытываютъ нужду въ Сатирахъ, нежели въ Песняхъ. Разумеется, и ихъ я сочинялъ съ изрядною охотою, ибо я Презреннымъ почитаю техъ, кто не умеетъ писать по Заказу: для Города и Деревни писалъ я политическія Сатиры противу всехъ Партій — будь то Виги или Тори, Паписты или Методисты; для Политического Реестра сочинялъ я сущіе Пасквили, каковые принимали они съ удовольствіемъ, хотя и не ведали истинной Силы моего Удара; и, зная самъ, сколь хорошо дается мне Искусство Перевоплощения, взялся я писать для Двора и Города мемуары

грустнаго пса (дворянина, преследуемаго Приставами), злодея, заточеннаго въ Ньюгейте, пожилой Вдовицы, тоскующей по Мужчине, и юной Девицы въ самомъ цвету, готовой уже къ тому, чтобъ ея сорвали. И все сіи воспоминанія разсказалъ я, естественно, собственными ихъ Голосами, словно то были подлинныя Гисторіи. Такъ, оставаясь юнымъ Томасомъ Чаттертономъ для техъ, кто меня встречалъ, я пребывалъ сущимъ Протеемъ для техъ, кто читалъ мои Произведения.

А ныне долженъ я воззвать къ плачущей Музе и прибегнуть къ Элегіи, ибо, говоря вкоротке, мне нечемъ было жить. Слишкомъ скоро довелось мне узнать, что писательство — это сплошной Жеребій, а Вкусы весьма переменчивы, ибо спустя считанныя недели обнаружилъ я, что мои Роулианскія сочиненія ввержены въ презреніе (да и кто бы въ нашъ безумный размалеванный Векъ сталъ искать прибежища въ Прошломъ?), на мои Сатиры взираютъ свысока, а мои Пасквили съ Холодностію уничтожаютъ. Въ самомъ деле, столькимъ Уколамъ подверглась моя Гордость, и столько Препонъ чинилось моему Продвижение, что немудрено мне было сникнуть и пасть подъ ихъ тяжестію: по утрамъ я обходилъ Книготорговцевъ и Газетчиковъ, хоть я слишкомъ былъ

гордъ, чтобъ Упрашивать ихъ напечатать мои сочиненія; после, со встревоженными Мыслями, пускался я бродить по Паркамъ и по Пригородамъ, и въ Кармане моемъ для унятія Глада лежалъ одинъ лишь Бараній Языкъ; а ввечеру ступалъ я обратно, къ моему Жилью, дабы глазеть тамъ на пустую каминную Решетку. Хозяйка моя, госпожа Ангелъ — сестра Сэма Джойнсона, какъ упоминалъ я выше, — частенько звала меня къ себе на Кухню или въ Гостиную, чтобъ я посиделъ тамъ съ ея домашними и поужиналъ бы; но, признаюсь, человекъ я по натуре самолюбивый и своенравный, и потому никакъ я не могъ обнаружить предъ другими своей Нищеты или воспользоваться чужой Милостію. Заместо того, заострялъ я свое Перо и усаживался писать, питая смутную Надежду, что Поэзія, можетъ статься, прогонитъ отъ меня все Беды; но то были стихи бедности, сочиненные въ Скудости и Безпокойстве: они не принесли мне ничего, опричь Разходовъ на Чернила. И достигъ я толикой Глубины Отчаянія, что решился я въ Уме на следующее: коль скоро изучилъ я еще мальчикомъ Медицину, читая разныя книги, то вполне могу сделаться помощникомъ Врача въ Плаваніяхъ къ Африке. Но таковыя Странствія были не для

меня: мне предстояло Плаваніе совсемъ инаго рода, ибо въ сей-то Мигъ и заглянулъ ко мне Сэмъ Джойнсонъ (какъ я думаю, призванный сестрою). Я былъ радъ сверхъ меры сызнова повидать его, хотя позаботился ничемъ того не выказать. Онъ окинулъ меня быстрымъ Взглядомъ, столь мне знакомым, и для начала спросилъ, не хочу ли я отведать Шоколатнаго Блюда вместе съ сестрою его, но я съ превеликою Признательностію отклонилъ сіе приглашеніе. Затемъ онъ предложилъ сходить самъ-другъ подкрепиться въ дешевую харчевенку на Шу-Лейнъ; но я вдругорядь отказался, понимая, что онъ видитъ на Лице моем явные знаки Глада или Изможденія. "Я только что отобедалъ, — сказалъ я, но посижу съ вами, покуда вы будете есть".

"Нетъ-неть, Томъ. Но могу я уговорить тебя хотя бы разделить со мною малую толику Вина? Въ этомъ, я полагаю, никакого Вреда не будетъ?"

После некотораго колебанія я согласился, и онъ велелъ Сестриной Стряпухе принесть Бутылку и два Стакана. Затемъ онъ пристроился на Краешке моей Кровати (поскольку Обстановка въ моей Чердачной каморке была скудна) и сказалъ: "Ну, Томъ, какъ теперь движется твое Ремесло въ Лондоне?"

"Превозходно". Он всегда былъ скоръ на правдивыя Догадки, и потому я тутъ-же прибавилъ: "А какъ обстоитъ съ поэтомъ Роули въ вашей Лавке?"

"Монахъ сей черезчуръ плодовитъ, — сказалъ онъ, глядя мне прямо въ глаза. — Мне ужъ не продать такъ много, какъ прежде. Противъ него возвышаются кое-какие Голоса".

"Голоса?" Я поднялся со Стула и подошелъ къ Оконцу, откуда мне были видны Лондонскія Крыши, а надъ ними — большой Куполъ Св. Павла.

"Кое-кто поговариваетъ, будто онъ всего лишь Выдумка".

Я тотъ-часъ поворотился. "Онъ такой же настоящій, какъ и я самъ!"

"Да. Знаю. Роули сейчасъ и стоитъ предо мною".

"Не могу взять въ толкъ, о чемъ вы говорите, Сэмъ Джойнсонъ".

"Я понялъ, что это твои собственныя сочиненія, сразу же, какъ только ты принесъ ихъ ко мне, — съ такимъ нетерпеніемъ и с такой пылкостію желалъ ты услыхать мое Мненіе".

"Нетъ..."

"Ну перестань, Томъ, въ Притворстве боле нетъ нужды". Онъ поднялся съ моей узкой Кро-

вати и положилъ Руку мне на Плечо, и теперь мы оба смотрели въ Оконце. "Коли ты въ такомъ Стесненіи, какъ ныне, къ чему приведетъ Скрытность?" Онъ помолчалъ немного, а потомъ добавилъ: "Монахъ ведь не веченъ. Ты заездилъ его нещадно".

Онъ былъ Правъ: въ дальнейшемъ Маскараде не было более нужды, и, такъ какъ Катастрофа близилась неминуемо, я не могъ долее сдерживаться. "Но долженъ же я писать, — сказалъ я. — Мне нужно какъ-то жить. А воздухъ иль трава не годны на Пропитаніе".

"Знаю. Потому-то я и решилъ навестить тебя, Томъ". Затемъ онъ прибавилъ, более мягкимъ тономъ: "Ты можешь прекрасно прожить и безъ Роули, коли захочешь. Нисколько не сумлеваюсь, что внутри тебя сидятъ и другіе Авторы".

"Какъ выразился бы Юний,[53] ваше Сужденіе несколько Таинственно, сэръ".

Джойнсонъ покружилъ по комнате, а потомъ остановился насупротивъ меня. "Ныне, — сказалъ

---

[53] Примечания: 53

Юний (Junius) — до сих пор не раскрытый псевдоним автора писем, в 1769–1770 гг. публиковавшихся в популярной английской газете Общественный вестник (Public Advertiser). Целью Юния было дискредитировать политику короля Георга III и сплотить его противников. Предлагалось около 50 «разгадок» этой личины, в том числе — имена Эдуарда Гиббона, Эдмунда Берка, лорда Честерфилда и т. д.

онъ, — ныне насталъ свѣтлый часъ для новыхъ Открытій. Подумай только: Акенсайдъ[54] въ сей самый мигъ лежитъ въ Гробу на Берлингтонъ-стритъ, Грей[55] боленъ Ракомъ и едва ли ужъ поправится, Смартъ[56] какъ буйнопомешанный привязанъ къ Стулу. Все еще не понимаешь?"

"Продолжайте-жъ".

"Стихами Дайера[57] и Томсона[58] премного восторгаются, и пусть оба они почили въ Бозе вотъ ужъ двадесять летъ тому, кто знаетъ — не найдутся ли еще какія изъ ихъ сочиненій?" Онъ смолкъ. «Теперь-то ты меня понимаешь, Томъ?»

"Сдается мне, я понимаю вашъ Умыселъ. Вы хотите, чтобъ я взялся подделывать стихи помянутыхъ мужей".

"Я не говорилъ — Подделывать. Разве творенія

---

[54] Примечания: 54

Марк Акенсайд (1721–1770) — английский поэт, тяготевший к неоклассицизму. Его Гимн к Наяде, написанный в подражание Каллимаховым гимнам, предвещал будущий живой интерес романтиков к греческой мифологии, а назидательная поэма Удовольствия воображения, написанная белым стихом, предвосхитила идеалистическую философию Кольриджа и других романтиков.

[55] Примечания: 55

Томас Грей (1716–1771) — поэт-сентименталист, автор знаменитой Элегии, написанной на сельском кладбище (1751), положившей начало "кладбищенской школе" в английской поэзии. Проявлял большой интерес к кельтской и скандинавской поэзии, древние памятники которой изучал по латинским переводам. (Кстати сказать, будучи другом Г. Уолпола (прим. 45) с итонской школьной скамьи, именно он убедил последнего в том, что присланные Чаттертоном тексты — подделка.)

[56] Примечания: 56

Кристофер Смарт (1722–1771) — английский поэт, сочинявший по большей части религиозные стихи. Его поэма jubilate Agno (лат. Радуйтеся агнцу) — следовала образцам древнееврейской поэзии. Из-за душевной болезни Смарта подолгу держали в сумасшедшем доме; под конец жизни он впал в нищету и умер в долговой тюрьме.

[57] Примечания: 57

См. прим. 28.

[58] Примечания: 58

Джеймс Томсон (1700–1748) — английский поэт, стоявший у истоков сентиментализма, автор цикла из четырех поэм Времена года (1726-30), написанных унаследованным от Мильтона белым стихом.

Роули — подделка?" Онъ призадумался, подбирая Слова. "Разве это не подражаніе въ мір? Подражаній, какъ учатъ насъ Платоники?"

"Да отчего жъ мне надобно снисходить до подражанія, — я сделалъ упоръ на этомъ Слове, — стихамъ Піитовъ, кои уступаютъ мне въ таланте?"

Онъ спокойно погляделъ на меня. "Гордостію ведь сытъ не будешь", сказалъ онъ наконецъ. Потомъ взялъ меня подъ Руку и добавилъ сердечнымъ тономъ: "А когда ты наконецъ признаешься, что это твои собственныя Сочиненія, таковая Исповедь принесетъ тебе Славу".

"Славу великаго Плагіатора?"

"Нетъ, Славу великаго Піита. Ты докажешь свою Мощь темъ, что выполнишь ихъ Работу лучше, чемъ то удавалось имъ самимъ, а къ тому же и темъ, что выполнишь свою собственную".

Это былъ умный Ударъ, заставили меня врасплохъ. "Я этимъ уже занимался, — сказалъ я, — еще когда былъ Школяромъ. У меня въ Бристоле лежатъ копіи поэмы моей Времена Года Шиворотъ-Навыворотъ, подъ Томсона, и Уборная

безъ Завесь, подъ Голдсмита[59]".

"Знаю. Твоя Матушка показывала ихъ мне. Если и существуетъ въ глазахъ Неба нечто более достохвальное, нежели любящій Сынъ, то это любящіе Родители".

"Ахъ она старая Пройдоха, — сказалъ я. — Такъ-вотъ кто васъ надоумилъ". Но Комичность беседы развлекла меня, и я принялся смеяться.

"Да нетъ же, — говоритъ Джойнсонъ, вторя мне смехомъ. — Она тутъ не при чемъ — это мой собственный Замыселъ".

"И ваше Ремесло къ тому-жъ".

"Наше Ремесло".

"Такъ это и есть нашъ Сговоръ, верно? Я отдаю вамъ Стихи, столь схожіе съ Подлинниками, что самъ Піитъ не разпозналъ бы ихъ, а вы затемъ торгуете ими какъ сочиненіями Дайера и прот-чихъ?"

"Прибыль — поровну".

"Прибыль — Поровну". Но затемъ иная Мысль посетила меня: "Но ведь Имя мое давно известно въ Бристоле. Какъ же, после Роули, сумеемъ мы

---

[59] Примечания: 59

Оливер Голдсмит (1728–1774) — английский писатель-сентименталист. Наиболее знаменитое стихотворение — Покинутая деревня (1770). Возможно, здесь спародировано название другого его произведения, Tee Mystery Revealed (Разоблаченная тайна), «превращенное» в Tee Water-Closet Unveiled.

сохранить таковую Тайну?"

"Объ этомъ я уже подумалъ, — сказалъ онъ торжественно. — Возможно, придется сокрыть тебя въ Безвестности на некоторое время. Тебе следуетъ оставаться Загадкой, даже для самого себя".

"И какъ-же сего достичь?"

"А вотъ-какъ: тебе нужно сгинуть, подобно Призраку".

"И всё сіе — безъ Некроманціи?"

"Ну, — протянулъ он, склонивъ Голову набокъ. — Имеется одинъ способъ". Онъ усмехнулся мне. "Я размышлялъ о твоей Смерти, Томъ".

"Думаю, теперь пора мне выпить Вина".

Онъ наполнилъ мой Стаканъ по самую Кромку. "Ибо что иное столь Укромно и Потаенно, Томъ, какъ не Могила?"

"Вижу, это весьма важная Тема".

"Коли ты такъ ловко воплощаешься въ другихъ людей, отчего бы тебе не воплотиться въ собственный свой Рокъ?"

Я столь былъ Ошарашенъ, что несколько Минуть не могъ проронить ни словечка. "Вы хотите сказать — отчего бы мне не разыграть собственную кончину?"

Онъ сызнова разсмеялся и опять наполнилъ мой Стаканъ, который успелъ я осушить. "Разве

найдемъ мы лутшую Защиту, чемъ эта? Кто заподозритъ, что ты продолжаешь Стихотворствовать после столь суровой Перемены?"

Это была и вправду превеселая Шутка. "И какъ же мне сподобиться сего блаженнаго состоянія, Сэмъ?"

"Самоубивствомъ. Сестра моя разпуститъ по Свету слухъ, будто ты скончалъ свои деньки, и никто не усумнится въ Правдивости сей вести. Въ этомъ Приходе легко получить заключеніе о felo de se: бедняки мрутъ здесь какъ мухи, всехъ не пересчитаешь. Разумеется, тебе придется разыграть сцену Смертнаго Одра — Свидетелей ради…"

Онъ собирался изложить Остатокъ своего Замысла, но я перебилъ его: "А что потомъ?"

"Ты будешь работать себе съ Миромъ столько, сколько пожелаешь".

И въ самомъ деле, после всехъ Невзгодъ и Оскорбления, что выпали мне на долю, отрадно было возмечтать о томъ, чтобы творить въ тиши и безвестности — отрадно еще и оттого, что сей путь приведетъ меня къ Тріумфу надъ теми, кто ныне обдаетъ меня презреніемъ. Книготорговцы и Издатели, называвшіе меня сущимъ Ребенкомъ, вскоре начнуть рукоплескать твореніямъ этого Ребенка, пусть и подъ чужими Именами, — а

когда я откроюсь, объявивъ, кто я есмь воистину, то посрамлю ихъ и сломлю ихъ и докажу мой собственный Геній.

И такъ случилось (если забежать немного впередъ), что после своего безвременнаго Ухода изъ здешней Жизни я принялся поначалу за новонайденныя Произведенія мистера Грея, мистера Акенсайда, мистера Черчилля,[60] мистера Коллинза[61] и разныхъ протчихъ: я даже копировалъ мистера Блейка единственно изъ любви къ его Готическому штилю, но это лишь такъ, Шутки ради. Великому Генію подъстать изобразить все что ни есть, и я постигалъ ихъ Страсти, едва только приноравливался къ ихъ Штилямъ: то была не какая-нибудь холодная Пародія, но скорее…

— На этом всё обрывается, — сказал Чарльз Вичвуд, откладывая рукопись, которую он читал вслух. — Вот так.

В этот момент Филип Слэк обнаружил, что он соскользнул со своего стула и теперь сидит раз-

---

[60] Примечания: 60

Чарльз Черчилль (1732–1764) — английский поэт-сатирик, писавший в русле традиционной сатиры, восходящей к римским образцам, за что его прозвали "британским Ювеналом".

[61] Примечания: 61

Уильям Коллинз (1721–1759) — английский поэт, по духу близкий к Грею. Выказывал тяготение к тревожной мрачности и меланхолии, подчинявшейся сильной классической стихотворной традиции.

валясь на полу и трет глаза.

— Что-то я не могу… — начал он было. Затем принялся разглядывать свои коленки и пробормотал: — Подлинник, — обращаясь к ним.

— Что-что?

— Это подлинник?

— Разумеется, подлинник. Ошеломляющий подлинник. Невероятный подлинник. — Чарльз помедлил. — А тебе не показалось, что это подлинник?

— Да нет, показалось.

Этого хватило, чтобы поддержать воодушевление Чарльза.

— Они произведут настоящую сенсацию. — Он поднес бумаги ко рту. — Я так их обожаю, что прямо целиком и проглотил бы!

Филип попытался не пугаться такому заявлению, но он прекрасно знал привычку друга поедать книги.

— Должно быть, они очень хрупкие, — пояснил он своим коленям.

— А, это только копии. Вивьен пересняла их на какой-то машине у себя на работе.

— Скрепя сердце, — сказала та спокойным голосом. Она вошла в комнату, услышав, что Чарльзово чтение наконец закончилось.

— А может, скрипя сердцем? — Чарльз был в восторге от своей шутки. — А может, сердясь на скрип? А может, сердясь на скрепки? — Он смеялся и кружился вокруг собственной оси посреди комнаты. — Копия должна быть обязательно, — сказал он Филипу, не прекращая своего круженья. — Если бы не копия — как бы мы тогда узнали, что это подлинник? Всё на свете скопировано.

Филип некоторое время совещался по этому поводу со своими коленками.

— Полагаю, — сказал он наконец, — что ты прав.

— Да нет, я хочу сказать, что все остальные документы тоже скопированы. — Чарльз перестал вращаться и, слегка покачиваясь, направился к письменному столу. Он подобрал кипу бумаг и протянул ее Филипу, который безуспешно пытался подняться с пола, чтобы взять их почитать. Ему хватило одного беглого взгляда, чтобы понять, что там собраны стихотворения, относящиеся к нескольким разным стилям, но переписанные одной рукой. Он отдал листки Чарльзу.

— Нет, — сказал он серьезно. — Я могу читать только в полном одиночестве.

— Ах ты, одинокий мой чтец. — Чарльз схватил

Филипа за руку и, дернув, поставил его на ноги. Затем взял его под руку и начал энергично кружить по комнате, говоря: — Одни принадлежат Крэббу,[62] другие — Грею, третьи Блейку. Там есть несколько очень знаменитых стихотворений, но теперь-то мы знаем, что это Чаттертон подражал им всем. — Он стиснул руку Филипа, и они продолжали бродить по комнате, описывая все более тесные круги. Понимаешь, что происходит? Джойнсон убеждает Чаттертона сфальсифицировать собственную смерть, потом Чаттертон фальсифицирует величайшие поэтические произведения своей эпохи, а потом Джойнсон распродает их. Элементарно. — Он неожиданно затормозил, и Филип, подавшись вперед, споткнулся. — Знаешь, продолжал Чарльз, успев подхватить друга, прежде чем тот упал, — наверное, им написана добрая половина всей поэзии XVIII века.

Филип прислонился к стене, тяжело дыша после совершенных пробежек.

— Он величайший фальсификатор в исто-

---

[62] Примечания: 62

Джордж Крэбб (1754–1832) — английский поэт, прославившийся главным образом своей ранней поэмой «Деревня» (1783), где в мрачно-реалистических красках рисовались тяготы сельской жизни (являя резкий контраст поэзии сентименталистов, в частности, Голдсмита).

рии, — вот всё, что ему удалось проговорить.

— Нет! Он не был фальсификатором!

— Тогда величайшим плагиатором в истории?

— Нет! — Чарльз посмотрел на него с победным воодушевлением. — Он был величайшим поэтом в истории!

— Заварю-ка я вам чая, — спокойно сказала Вивьен. — Филип что-то раскис.

Как только она ушла на кухню, у Чарльза переменилось настроение: он улегся на диван и стал глядеть на дождь за окном; в сумеречном освещении его лицо казалось очень бледным.

— Флинт датировал почерк, — сказал он немного погодя. — Такое впечатление, что он знает всё на свете.

Филип заметил задумчивое настроение Чарльза и потому отвечал важным тоном:

— Он везучий человек.

— Спору нет, но этот везучий человек вечно нервничает. Откуда ему знать — когда придет конец этому везению. — Казалось, всякое оживление покинуло его, и он со вздохом повернулся к Филипу: — Взгляните на лилии полевые, и тому подобное. — Внезапный порыв ветра плеснул в комнату дождем из открытого окна, и Филип подошел прикрыть его; лицо Чарльза было

влажным, но он этого не замечал. — А ты нашел что-нибудь про Чаттертона в своей библиотеке?

— Нет. Ты не хочешь вытереть лицо? — Чарльз отрицательно покачал головой, и Филип, которому стало как-то не по себе от его внезапной молчаливости, почувствовал потребность продолжить разговор. — Странное дело, я почитал кое-какие романы Хэррисона Бентли…

— Ну да.

— …и они оказались очень похожи на книги Хэрриет Скроуп. Сюжеты один к одному. Не то чтобы это имело какое-то значение, — поспешил добавить он. Он уже пожалел, что упомянул об этом; ведь он решил ничего об этом не говорить. — Это совсем не важно.

Казалось, Чарльза это не заинтересовало и не удивило.

— Ах вот оно как. Надо же. Любопытно.

— Что именно?

— Чаттертон. — В комнату возвратилась Вивьен, и Чарльз спрыгнул с дивана. — Мы как раз обдумывали свой следующий ход, Виви. — Филип покраснел. — Филип говорит, что нам нужно найти издателя. Он уверен, тогда мы страшно разбогатеем!

Вивьен ничего не ответила, и Чарльз продол-

жал:

— Завтра я работаю у Хэрриет, так что спрошу ее совета. Ей всегда можно довериться.

* * *

В ту ночь он не мог уснуть. Вивьен лежала рядом, а перед его глазами неотступно стоял почерк Чаттертона. Он вытянулся и раскинул руки, став похожим на букву «Т»; затем он перевернулся на бок и, согнув руки в локтях, изобразил букву «Ч». Когда же наступила самая непроглядная и самая беззвучная пора ночи, он поднялся с постели и неслышно пробрался в другую комнату. Он включил свет и, моргая, стал всматриваться в бумаги, которые показывал Филипу в тот вечер. Дойдя до этих строк, он остановился и прочел их вслух:

Уйдешь бесславно вскоре в Мир Иной,
Судьбы приняв неправый Приговор.
Стоишь теперь с понурой Головой,
Тщеславья чашу пьешь и прячешь Взор.

Он подпер рукой голову и заплакал.

В комнату вошла Вивьен и склонилась над ним.

— Опять болит? — спросила она.

— Да, — сказал он. — Да, опять болит.

7

Хэрриет Скроуп пыталась рассмотреть свои десны в зеркале с рамой из золоченой бронзы, висевшем над камином; она вытягивала шею и скалилась на собственное отражение, чуть не падая при этом, но ей так и не удавалось ничего разглядеть. "Никогда! — громко заявила она. — Никогда больше не впущу к себе в рот этого негодяя!" Зазвенел дверной звонок, а поскольку она как раз недавно закончила долгий телефонный разговор с Сарой Тилт о прегрешениях ее дантиста, то она наполовину ожидала, что это ее старинная подруга решила материализоваться у нее на пороге. Поэтому она поспешно открыла дверь, прокричав:

— Привет, дорогая! — и тут увидела, что это Чарльз Вичвуд. — А, доброе утро, — проговорила она уже тише. — Я думала, это кто-то другой. — Она совсем позабыла, что сегодня Чарльз должен был прийти к ней для работы.

— Нет, — ответил тот. — Это все-таки я. — Он держался как-то весело и беспечно, несмотря на свой несколько осунувшийся вид.

— Ну, раз ты в этом уверен. Чужака я бы не

пустила в свой уютный домишко. — Она провела его по коридору в гостиную и церемонно указала на свободный стул. — Сегодня я побывала в руках у мясника, — сообщила она, усевшись напротив него.

— Да? И что же на обед?

— Да какое там! Это даже не мясник — настоящий живодер. Мой так называемый дантист. Терпеть не могу все эти штуковины, которые он сует мне в рот. Жесткие, жуткие штуковины. Чарльз, я вконец обмякла в его так называемом кабинете, я чувствовала себя какой-то тряпичной куклой. И не спрашивай даже, что он натворил с моими бедными деснами. — Она переменила положение пальцев, так что теперь ее руки сомкнулись замком на коленях. Ну, так как ты поживаешь? — добавила она небрежным тоном, как если бы предыдущая ее тирада вовсе не имела места.

— Потихоньку.

Хэрриет важно кивнула в ответ на услышанную новость.

— И я тоже потихоньку. — Оба некоторое время помолчали. — Я вижу, сказала она, — близится Рождество. — Она показала на сверток в коричневой бумаге, который принес с собой Чарльз и

который теперь был притиснут к его стулу. Рядом лежала пластиковая сумка, набитая бумагами. — Я бы не отказалась от новой шубки.

— Я тут кое-что принес показать вам, Хэрриет. — Чарльз хотел было встать с места, но кот, прыгнувший к нему на колени, казалось, пригвоздил его к стулу. — Вы что-нибудь знаете о Томасе Чаттертоне? — Мистер Гаскелл внезапно покинул его со странным взвизгом, и теперь Чарльзу удалось нагнуться за сумкой.

— О Чаттертоне?

— Рассказать вам один секрет?

— Да, конечно. Обожаю секреты. — Ей всегда почему-то казалось, что секреты молодых касаются секса, и она провела языком по верхней губе.

— Он не умирал.

— Отлично. — По-видимому, услышанное доставило ей удовольствие. — А что же тогда с ним случилось? Он что, залег на зимовье? — Она быстро встала и, подойдя к алькову, налила себе джина. — Лекарство, — сказала она, помахивая ложечкой. — Лекарство для моих бедных десен.

— Я на полном серьезе. Томас Чаттертон не умирал.

— Ну-ну, давай. Еще сюда лапшички. — Она повернулась боком и выставила правое ухо: —

Давай вешай.

Чарльз с благодарным видом отклонил такое приглашение.

— Да нет же, я не говорю, что он не умирал вовсе. Он умер, но совсем не тогда, когда принято считать. Не тогда, когда все думают. И у меня имеются доказательства. — Он снял оберточную бумагу с картины, и, пока он это делал, Хэрриет отметила, какими медлительными и неуклюжими стали все его движения. — Вы узнаете это лицо?

— Обыщите меня. — Она подняла руки вверх, как будто сдаваясь для обыска полицейским.

— Это Чаттертон в преклонном возрасте.

Она отхлебнула еще ложку джина, пытаясь вспомнить что-то из своего недавнего разговора с Сарой Тилт. Мелькала там какая-то строчка про сук, или ветвь, которую сломили…

— Но разве это не тот мальчишка, который совершил самоубийство?

— В том-то и дело. Он не покончил с собой. Он продолжал писать стихи под чужими именами.

— Ты хочешь сказать, он был плагиатором? — Лицо Хэрриет переменило выражение, и она на минутку отвернулась. — Это лекарство горькое, — сказала она в сторону алькова. Но повернувшись

снова к Чарльзу, она взяла у него портрет и стала внимательно его рассматривать. — Похож на Мэтью Арнольда,[63] — сказала она. — Совсем не в моем вкусе. — Она отложила картину. — А его поймали? — Чарльза явно озадачил ее вопрос. — Его разоблачили?

— Кто?

— Ну, как же. Стражи города, разумеется. — Это была странная фраза, и Хэрриет, произнося ее, скрестила пальцы у себя за спиной.

— Да нет, ничего такого не было. Он же не сделал ничего дурного…

— Я знаю! — сказала она громко.

— …и в любом случае, он во всем сознался. Видите ли, это я как раз и собирался вам показать. — И он передал ей фотокопии рукописей, обнаруженных в Бристоле.

Она подержала их на расстоянии вытянутой руки.

— Такое впечатление, — сказала она медленно, — что это писано черт знает в каком году.

На миг воображению Чарльза представился пустой телевизионный экран.

---

[63] Примечания: 63

Мэтью Арнольд (1822–1888) — английский викторианский поэт, литературный и общественный критик, автор книги Культура и анархия (1869).

— Он написал это около 1810 года.

— Ну, — проговорила она очень важным тоном, — это было задолго до меня.

Чарльз пропустил это мимо ушей.

— Я надеюсь быстро найти издателя. — "Боже мой, еще одна книга", такая была первая мысль Хэрриет, а Чарльз продолжал: — Это уничтожит все академические теории. Все они и гроша ломаного не стоят.

— В самом деле? Это хорошо. — Хэрриет всегда задевало невнимание со стороны академических критиков; по правде, во всех университетских преподавателях она видела личных врагов. — Пусть скушают конфетку, сказала она.

— Вы хотите сказать — проглотят горькую пилюлю?

Она махнула пустым стаканом в сторону Чарльза.

— Что они знают о Хэрриет Скроуп, которую знает только Хэрриет Скроуп? Я говорю — конфетку. А теперь расскажи мне всё с самого начала.

И Чарльз вновь поведал историю Томаса Чаттертона и его подделок. Придя в возбуждение, Хэрриет просунула ладони между ляжек и стиснула — да с такой силой, что, когда Чарльз добрался до конца своего повествования, ее руки казались

совершенно бескровными и сморщенными.

— …я буду купаться в роскоши, — говорил Чарльз.

— А где это — Роскошь?

— …ну, то есть, если я это опубликую.

Она встала, вскричав:

— Конечно, мы это опубликуем! Теперь-то они уж не смогут нас игнорировать! — Чарльз не совсем понял, что она хотела сказать словом «нас», а она, как будто немного подумав, добавила: — Чарльз, а почему бы тебе не оставить все эти бумаги у меня? Я со всякими старинными штучками в ладах. — Чарльз приготовился было отвергнуть ее щедрое предложение, но одно только выражение тревоги, на миг мелькнувшее у него на лице, уже предупредило Хэррие о том, что она хватила лишку. — Как глупо с моей стороны, — добавила она. — О таких мелочах мы поговорим попозже. Ободрительно улыбнувшись ему, она переменила тему: — Не кажется ли тебе, дорогой, — продолжала она, — что нам пора засесть за мою книгу? Это нас развеселит.

Чарльз уже позабыл, что пришел помогать Хэррие с ее мемуарами, но тут же изобразил радостную готовность.

— Это было бы прекрасно, — сказал он. Он все

еще раздумывал — что же Хэрриет имела в виду, говоря о «нас».

Она направилась в свой кабинет, находившийся по другую сторону от коридора, и немного погодя крикнула оттуда:

— Может быть, Матушка, — это второй Чаттертон! Может быть, на самом деле мне не одна тысяча лет!

Вернулась она так же неожиданно, как и ушла, неся перед собой груду машинописных страниц. С видом явного отвращения она плюхнула их на колени Чарльзу.

— Эта безмозглая сука их отпечатала, но… — тут Хэрриет принялась подражать дрожащему голосу своей бывшей помощницы, — ей представля-алось, что, собственно, она не знает, что можно сделать со всем этим. Так сказать.

Пока она все это говорила, взгляд ее оставался прикован к сумке с Чаттертоновыми манускриптами.

Чарльз начал пролистывать страницы, которые вручила ему Хэрриет. На одних были напечатаны целые параграфы или предложения, а на других — только отдельные имена и даты.

— Вам нужно сохранить всё как оно есть, — сказал он. — Тогда получится поэма.

— Но я не хочу писать никаких поэм. Я хочу написать книгу.

Чарльз склонил голову набок и улыбнулся.

— А в чем, собственно, разница?

Она сурово уставилась на него.

— Тебе следует это знать. — Она тут же раскаялась в своем тоне и добавила сладким голосом: — Тебе следует знать, что я имею в виду. Тебе-то ведь удалось и то и другое, верно?

— Как там говорил Монтень: "Не только я делаю книгу, но и книга делает меня"?

— Какая чудесная мысль, Чарльз. — Она помолчала, не зная, что еще сказать. — Думаю, ты прав.

— Это не я, а Монтень.

— Да какая разница? — Она снова бросила взгляд на Чаттертоновы рукописи и, стоя над Чарльзом, попыталась тайком подтащить их к себе ногой. Но сумка только упала набок, и Хэрриет поспешно сказала громким голосом: Ну, продолжай же. Спроси меня что-нибудь о заметках, которые я надиктовала этой глупой сучке. Ах, посмотри-ка, твоя сумка упала. Тебе стоит получше о ней заботиться. Давай я подберу ее и положу куда-нибудь в надежное место.

— Не беспокойтесь, Хэрриет. Здесь и так вполне

надежное место. — Он лучезарно улыбнулся ей, и она, нахмурившись, отвернулась, чтобы отыскать себе стул.

— Ну так продолжай, — сказала она. — Задай мне какой-нибудь вопрос.

Чарльз извлек из машинописных листков одну страницу и неуверенным голосом зачитал:

— "1943 год. Коллаж. Джон Дейвенпорт. Т.С. Элиот. Отель «Расселл».

— В ту пору я напивалась каждый день, а по вторникам — дважды. — Ее привело в восторг это воспоминание, хотя в действительности это была всего лишь фраза из одного ее романа.

— Кто этот Дейвенпорт?

— Уже не помню. Какое-то ничтожество, наверно. — Она снова почувствовала панику — панику, которая возникала всякий раз, как ее расспрашивали о прошлом. — Ну, Элиот был просто душка. Он опубликовал два моих первых романа. — Она изо всех сил старалась сохранять спокойствие. Разумеется, он ничего не понимал в беллетристике. Ты записываешь, дорогой? — Чарльз вначале корябал что-то на бумаге — мертвые, безглазые лица, — но теперь принялся записывать за Хэрриет. — Рекомендовала меня Джуна Барнз. По правде сказать, жуткая была женщи-

на. — Хэрриет вздохнула. — Ну, во-первых, она была лесбиянка. И к тому же, американка. — Она поежилась всем телом, словно ее старомодное платье от Шанель внезапно сделалось слишком тесным. Однажды она меня попыталась поцеловать взасос. Вообще-то, я не прочь поцеловаться или пообниматься с кем-нибудь из подружек (ты ведь знаешь Сару Тилт?), но засос — это уж слишком. Терпеть не могу грубости. Прямо тошнит от такого.

Чарльз записал: «засос» и остановился.

— Вы хотите, чтобы я об этом упоминал?

— Ну, надеюсь, она уже умерла. — Хэрриет снова встревожилась: — Она ведь умерла, правда?

— Я проверю.

— Вот здесь-то, Чарльз, ты и пригодишься. Чтобы всё проверить. — Она зевнула и поторопилась прикрыть рот ладонью. — А затем Элиот повел меня в отель «Расселл». Но только на чашку чая, не подумай чего-нибудь. — Она закрыла глаза и принялась легко скользить пальцами по коленям: так она всегда обычно сочиняла свои романы. — Но это не значит, что я не была очень хороша собой в молодости. Конечно, была. Люди пялились на меня на улице. Она внезапно открыла глаза и посмотрела на Чарльза. — Они

готовы были не одну милю пройти, чтоб только поглядеть на мои ноги. — Чарльза это поразило, и она рассмеялась. — Не пугайся, дорогой. Матушка просто шутит. Она никогда не была картиной в раме. — Потом она вздохнула. — Но Элиот взял меня под крыло.

Чарльз на миг прекратил писать и взглянул на Хэрриет.

— Неужто пожилой орел?..

— Что?

— Это цитата из Элиота.

— А мне показалось — Шекспир.

— Это был Элиот.

— Ну, ты же знаешь этих писателей. Они украдут всё что… — Ее голос внезапно пресекся, и она взглянула на свои дрожащие руки.

— Всё что угодно, правильно. — Чарльз откинулся на спинку стула и добродушно улыбнулся, глядя в ее сторону. — Это называется зуд влияния.

— Да? — Казалось, ее несколько утешило такое определение. — Верно. Зуд.

— Влияния.

— Ну, разумеется, это относится и к романистам. — Она сделала паузу и облизнула губы: — Несомненно, — продолжала она, — между

моими книгами и книгами других писателей имеется сходство.

— Других — это таких, как Хэррисон Бентли? — Чарльзу вдруг припомнилось замечание, которое обронил накануне вечером Филип Слэк, и теперь он задал этот вопрос с победным видом, желая показать свою широкую начитанность.

— Что-что? — В лице Хэрриет не осталось ни кровинки, и Чарльзу стали видны крупинки розовой пудры у нее на щеках. Казалось, ей было трудно говорить: — Да нет, отчего. Разве? — Она поднялась со стула: — Я кое-что потеряла, — сказала она и поспешила прочь из комнаты. Она взбежала по лестнице и направилась прямиком в спальню, а там остановилась перед зеркалом в человеческий рост на платяном шкафу. "Матушка влипла, — сказала она своему отражению. — Матушка серьезно влипла". Потом она расстегнула молнию на своем красном платье, швырнула его на кровать с глумливым возгласом и, достав из гардероба старую коричневую юбку со свитером, быстро надела их. "Ты восхитительна, — сказала она. — А теперь тебе надо думать. Думать!" Она подошла к верхним ступенькам и крикнула вниз, обращаясь к Чарльзу: — Я вернусь через пару минут! — И прибавила: — Женские дела! — Но

Чарльз ее не слышал. Он смотрел в окно, роняя листки бумаги, а сознание его расширилось и опустело, сделавшись как небо, куда он мечтал воспарить.

Хэрриет сидела на краешке кровати, рассматривала складочки на своих кожаных туфлях, сгибая и разгибая пальцы ног, и думала — откуда Чарльз узнал о связи между ее романами и романами Хэррисона Бентли: это было открытие, которого она всегда боялась, это было откровение, которое она всегда подавляла и которое пробуждало в ней огромную тревогу. Невероятно, чтобы Чарльз обнаружил это сам: он слишком ленив для этого. Должно быть, кто-то другой навел его на след… может быть, в Таймс Литерари Сапплмент появилась чья-то статья о ней… может быть, ее вот-вот разоблачат. Она захлопнула ногой дверцу шкафа, и отразившаяся в его зеркале комната яростно крутанулась перед ней.

А произошло следующее: ее первый роман, вышедший в начале пятидесятых, получил скромную известность. Это была работа стилиста, и ее хвалили другие стилисты; на обложке американского издания приводились добрые слова Джуны Барнз и Генри Грина. У Хэрриет ушло шесть лет на написание этой книги (одновре-

менно она работала секретаршей в маленьком литературном журнале), так как писала она очень медленно — порой выходило не больше одного предложения или даже одной фразы в день. Однако она говорила себе, что слова «священны», что они постепенно образуют собственные связи и собираются в особые скопления значимых звуков; когда они приходят в состояние готовности, они извещают Хэрриет о своем присутствии, а ей остается лишь записать их. Вот и всё, что от нее требуется. Единственная целостность, которой обладал ее роман, пребывала где-то в недрах ее собственного сознания.

Поэтому после первого романа она не знала, что будет дальше: она уже привела свое сознание "в соответствие со временем", как она выражалась, и теперь не могла понять, стоит ли ожидать от него какого-либо дальнейшего прогресса. Слова исчезли столь же таинственным образом, что и появились некогда. Друзья и коллеги ждали от нее нового романа; она это знала, но приходила в замешательство, задумываясь о его написании: она не находила внутри себя сколько-нибудь крепких связей с миром — и потому не находила способа его описывания. Даже когда ей удавалось что-то написать, вдохновение ее было произ-

вольно и непоследовательно; то ее «осеняло» где-нибудь в магазине, то в автобусе, а потом ей становилось ясно, что, не пойди она в тот день за покупками или не отправься в ту самую часть города, — то эта идея или фраза так и не возникла бы. Поэтому ее труд казался зыбким и даже бесплодным. Да к тому же ей было совершенно не о чем писать.

Именно тогда ей пришла в голову мысль обратиться за сюжетом к какому-нибудь другому источнику. В течение двух недель она читала все наиболее интересные рассказы в газетах, но ее ставило в тупик всё, хотя бы отдаленным образом связанное с настоящей жизнью. Она даже пыталась следовать за людьми на улице, чтобы понаблюдать, куда они идут, с кем встречаются, но одна неприятная сцена (когда какой-то старикашка обернулся и обозвал ее шлюхой) убедила ее в том, что это неразумно. И вот однажды майским вечером, устав от самой себя и своих неудач, она забрела в букинистический магазин на Чансери-Лейн. Обычно подобные места нагоняли на нее тоску, поскольку ей сразу же представлялось, как на таких же полках валяются позабытыми ее собственные книги, — но на сей раз она ощутила странное утешение при виде пыльных книг,

обступивших ее длинными рядами. Она взяла наугад Завещание Хэррисона Бентли и, едва начав читать, уже поняла, что нашла ответ на мучивший ее вопрос. Раз она считает, что сам сюжет имеет лишь второстепенное значение, то почему бы ей не позаимствовать, например, вот этот — и не использовать его в качестве нехитрого, явно примитивного вместилища для своего собственного стиля? Итак, она купила потрепанный роман и принялась за работу. Теперь, опираясь на историю из Завещания, она обнаружила, что слова приходят к ней легче, чем прежде. Если раньше фразы и даже отдельные слоги возникали как фрагменты некоего целого, которое она была не в силах ни разглядеть, ни уразуметь, то теперь она могла сама выстраивать нужные связи; она двигалась от предложения к предложению так, словно переходила из комнаты в комнату в просторном особняке, держа в руке светильник. И она с удивлением огляделась вокруг себя, наконец-то впервые почувствовав, что способна описывать то, что видит.

Этот второй роман, "Прекраснейшее искусство", тоже имел успех; снова ее хвалили за стиль (Манчестер-Гардиан назвал ее "лепидоптеристом языка"), и то обстоятельство, что о сюжете

романа упоминали лишь косвенно и вскользь, побудило ее и для следующей своей книги использовать очередное повествование Хэррисона Бентли. Но ее самоуверенность возросла вместе со способностями, и для Молниеносной почты она взяла только начало его Сценического огня. Она придумала других персонажей, изменила их взаимоотношения, так что под конец слегка вырисовывалась лишь начальная ситуация, взятая у Бентли (разумеется, это было всё, что Филип Слэк понял из того пересказа, который он прочел в сыром подвале публичной библиотеки). Использование сюжета, пусть даже изобретенного другим автором, раскрепостило ее воображение; и с тех пор все ее романы были ее собственными произведениями. Но в последние годы даже и эта самобытность начала ее утомлять. Когда-то ей доставляло огромное удовольствие наблюдать, как ее персонажи движутся и развиваются с течением времени, но теперь это зрелище перестало ее радовать. С удовольствием она вспоминала лишь о том, как писала свой первый роман, со всеми его отклонениями и диссонансами; и она впервые начала восхищаться той нервозностью и обособленностью, которые были присущи ей в ту пору. Она позволяла языку увлекать ее за

собой; она не пыталась сама направлять его куда бы то ни было. И она была тогда серьезной писательницей, настоящей писательницей: она не знала, что собирается сказать.

Именно это новое ощущение собственной жизни усилило ее тревогу из-за тех романов Хэррисона Бентли. Она успела позабыть этот ранний эпизод — во всяком случае, она не придавала ему особого значения, — но когда она начала подумывать о мемуарах, тот давний случай с плагиатом обрел в ее глазах такую важность, что она была не в силах с ним справиться. Она не видела никакого выхода. Она не могла заставить себя признаться в том заимствовании — прежде всего, из гордости; но ведь даже если она сама не сознается в плагиате, то, так или иначе, кто-нибудь может раскусить ее, и тогда подозрение коснется всех остальных ее сочинений — даже первого романа. Тревожные размышления только усугубляли такую сложность, и казалось, что все прошлое сошлось клином на этой истории. Деваться было некуда. И вот она сидела на краешке кровати, обхватив ладонью лоб, а дверца шкафа с шумом захлопывалась.

Но наконец, с видом благородного спокойствия, Хэрриет спустилась вниз по лестнице.

— Матушка вернулась! — закричала она еще с полдороги. — Она цедила зелень, — добавила она с важностью, входя в комнату.

Чарльз не знал этого выражения.

— На обед?

Она так сосредоточилась на том, что собиралась сказать, что ответила с неожиданной обстоятельностью:

— Нет, не на обед. Сегодня мне хочется спагетти.

Голос Хэрриет пробудил Чарльза от мечтательности, и он принялся делать хаотичные пометки на полях страниц, которые она дала ему. Она понаблюдала за ним с нарочитым умилением, а затем спросила медоточивым голосом:

— Так что ты говорил про Хэррисона Бентли?

Она яростно почесала руку и осталась стоять с ладонью в воздухе, а Чарльз между тем продолжал заниматься ее записками.

— А-а. Ничего.

— Ничего! — Что-то в ее голосе заставило Чарльза поднять голову, и он заметил, что ее левое веко дергается. — Я только хотел сказать… — Он задумался. — Да я не думаю, что это так уж важно.

— Да, ты прав. Это совсем не важно. — Она поднесла руку к дергающемуся глазу, и Чарльз

сделал усилие, чтобы не рассмеяться, пока другой глаз спокойно на него смотрел. Она медленно опустила руку, проведя ею по лицу; глаз успокоился. Потом она погрозила ему пальцем, говоря:

— А ты скверный мальчишка, оказывается. Вывел Матушку на чистую воду. Когда-то Бентли действительно на меня повлиял, но это было давным-давно. Она говорила, не задумываясь, так как эти самые слова она уже повторяла про себя много раз: — Так или иначе, а писатели не в вакууме творят. Мы используем множество историй. Важно не откуда они берутся, а что мы с ними делаем. Я насобирала кучу материала бог весть где, но никто… — тут голос ее повысился, — …никто и никогда еще не обвинял меня в плагиате!

— Да нет. Всё правильно. — Чарльз не вполне понимал, что еще сказать: — Поэтому всё это и неважно. Я же вас не обвинял.

Она не ожидала от Чарльза такой благожелательности, и его равнодушие немедленно уняло ее страх. Зазвонил телефон, но некоторое время она не замечала звонков, глядя на него с облегчением.

— Ты действительно хочешь сказать, что это неважно? Значит, ты нигде про меня не читал?

— Конечно, нет. Да и почему это должно быть

важно? Ведь так поступают все.

Включился автоответчик: "Это Хэрриет Скроуп. Меня нет дома...". Внезапно ощутив глубокое облегчение, Хэрриет рванулась к телефону, выключила магнитофонную запись и прокричала в трубку:

— Это я! Это Хэрриет Скроуп во плоти! — Звонила Сара Тилт. — Ах, дорогая, я только что о тебе говорила! — Она подмигнула Чарльзу и, зажав трубку ладонью, прошептала: "Моя любимая ложь во спасение". Она снова прислушалась к голосу Сары. — Не рассказывай мне сейчас, дорогая. Раз уж ты тут за углом, заходи. Здесь Чарльз. Он до смерти хочет тебя видеть. Наступила пауза. — Чарльз Вичвуд. Поэт. — Она положила трубку.

— Кого это я до смерти хочу видеть?

— А, это только Сара Тилт. Я всегда ей это говорю. Ей так легче общаться с людьми.

— Да мне в самом деле уже пора. Моя жена...

— Ах да, как она поживает? — Хэрриет подобрала сумку с Чаттертоновыми рукописями и с рассеянным видом принялась похлопывать ее ладонью. — Она замужем?

Чарльз, внезапно встревоженный ее действиями, не вполне верно расслышал вопрос.

— Сейчас она работает в галерее. Уж не знаю,

почему. Вы слышали про Камберленда и Мейтленда?

— Ах да, Камберленд и Мейтленд. — Она положила сумку на столик из черного дерева в углу комнаты и принялась исследовать ее содержимое. Камберленд и Мейтленд. — Она вынимала страницы одну за другой и внимательно их изучала, продолжая машинально повторять: — Камберленд и Мейтленд. Верно.

Потом она приподняла кипу рукописей:

— Может, оставишь у меня для сохранности, милый?

— Очень любезно с вашей стороны, — заговорил Чарльз, — но мне и вправду надо над ними еще поработать…

Раздался звонок в дверь. "Мать твою", — чуть слышно пробормотала Хэрриет, а когда она вышла, чтобы впустить Сару Тилт, Чарльз поспешно запихнул бумаги обратно в сумку, подобрал портрет и отправился за ней в прихожую.

— Как по-французски «паломник»? — неожиданно спросила она.

— Кажется, pelerin?[64]

— О, — воскликнула Хэрриет, распахивая дверь

---

[64] Примечания: 64
Правильно — pelerin, и в женском роде — pelerine.

перед своей подругой. Ma pelerine triste![65]

— Не понимаю, о чем ты. Я просто мимо проходила. — Сара попятилась в сторону от Хэрриет и ускользнула от нее в коридор. Но там она столкнулась с Чарльзом, который стоял в тени, и тихонько взвизгнула.

— Правильно, давай визжи. — Хэрриет стояла, уперев руки в бока. — Это мужчина.

Сара пробормотала, что пора бы заводить новые очки, и, топчась и пытаясь «уступить» друг другу дорогу, они с Чарльзом очутились в кабинете Хэрриет. Здесь, при солнечном свете, который просачивался сквозь старинные ставни, Саре удалось разглядеть портрет Чаттертона, который держал Чарльз.

— О, — сказала она. — Кто это? — Она по-настоящему заинтересовалась картиной и уже собиралась взять ее в руки, чтобы рассмотреть повнимательнее.

Внезапно появилась Хэрриет.

— Я вас представила? Сара Тилт. Чарльз Вичвуд. — Она так оттарабанила имена, словно они никому в особенности не принадлежали. — Чарльзу пора уходить, дорогая. Он женат. — Затем

---

[65] Примечания: 65
Моя печальная странница! (фр.).

она с кокетливой улыбкой взяла его под руку и стала выпроваживать к парадной двери.

— Это Томас Чаттертон, — проговорил Чарльз, оборачиваясь через плечо. — Ему очень жаль, что он не смог поговорить с вами подольше.

Хэрриет почти вытолкнула Чарльза за дверь, но на пороге успела шепнуть:

— Ты уверен, что так поступают все? Понимаешь, о чем я?

— Да, все копируют.

Он собирался сказать что-то еще, но она оборвала его, помахав на прощанье в своей любезнейшей манере, а потом, когда он ушел, соскользнула на пол в коридоре.

— Я уж думала, — сказала она, — он никогда не уберется.

— А что это он говорил про Чаттертона?

— Дорогая, он слабоумный. Он тебе еще и не такое наговорит. Казалось, она распласталась между стеной и полом, вытянув перед собой ноги и расставив носки врозь. — Ты не поможешь Матушке подняться, а? — Сара приблизилась к ней с выражением угрюмой решительности и, просунув одну руку под локоть Хэрриет, а второй обвив ее шею, попыталась поставить ее на ноги. Однако данная операция заняла больше времени,

чем требовалось, потому что правая нога Хэрриет и часть ее руки зацепились за зонт, оставленный возле двери. — Он так и тычется в меня! — сказала она. — Ты только погляди! Наконец ей удалось придать своему телу вертикальное положение, и обе старухи, тяжело дыша, прислонились к стене. Потом Хэрриет наградила прощальным пинком зонтик и повела Сару в гостиную. Там она направилась прямиком к альковным бутылкам.

— Я тоже, пожалуй, выпью, — громко сказала Сара. — По-моему, Чарльз очень мил, — продолжила она, когда ей наконец вручили джин с тоником. — И вовсе не слабоумен.

— Это была просто фигура речи. — На самом деле Хэрриет, окончательно успокоившись насчет своего плагиата, снова думала о Чаттертоне и связанном с ним открытии: ей уже представлялось нелепым, что такое важное дело оказалось в руках Чарльза, и она с изрядным негодованием напомнила себе, что манускрипты, которые она видела, не являются ничьей собственностью. В любом случае, академики куда больше заинтересуются ею, чем каким-то безвестным молодым поэтом. Но как ей заполучить от Чарльза эти бумаги? Там я висела, — неожиданно сказала она, — словно на кресте, распятая между Клео-

патрой и старушкой Хаббард…

— Давая крен в одну сторону?

— Там я сидела на моем чудесном диване эпохи регентства. — Она указала в сторону этого провинциального предмета мебели середины века.

— Который в пятнах?

— Ну, ты бы тоже пошла пятнами, если б просидела не двигаясь пару веков, вся утянутая в голубой шелк!

— Иногда мне кажется, что это со мной и происходит.

— Это когда он появился?

— Кто — он?

— Чарльз Вичвуд, разумеется. Так называемый поэт. — Потом она спросила, совершенно неожиданно: — А ты как поживаешь? — Сара приготовилась к основательной беседе.

— Ну, в бедрах…

— Твои бедра — это твой крест, разумеется. — Голос Хэрриет прозвучал не особенно сочувственно. — Может, это напряжение в области бикини?

— У меня какие-то стреляющие боли.

Хэрриет снова вмешалась:

— Знаешь, я поняла, почему ирландцы все время говорят — "Матерь Божия", когда им плохо.

— И почему же? — холодно спросила Сара.

— Так они зовут собственную мать, чтоб никто не догадался. — Она вздохнула и взглянула в окно на неспокойное небо. — Наверное, это Паскаль и называл боязнью бесконечного пространства. Еще по одной? — Хэрриет подняла свою ложку и постучала ею по пустому стакану.

— Почему бы нет? — Сара, видимо, смягчилась. — Однова живем, так ведь?

— Ну, в твоем случае, понадеемся, что это так. — Она с удивительной быстротой сходила к алькову и возвратилась. — Посмотрим немножко ящик? — Не дожидаясь согласия Сары, она подошла к телевизору, включила его и уселась в свое плетеное кресло, стоявшее около экрана.

На скамейке в парке сидели две женщины, пожилая и молодая.

— Гляди-ка, — сказала Хэрриет, — совсем как мы с тобой, когда нам муторно! — Старая женщина судачила об отсутствующей подруге. — О, да она бурчит точь-в-точь как ты! Изможденная такая. — Вторая женщина, значительно моложе, стала что-то отвечать, и Хэрриет с любопытством присматривалась к этой сцене. — А вот так обычно я разговариваю, правда? Тебе не кажется, что она похожа на меня — с этакой пышной копной на голове? — Хэрриет потрогала собственные

волосы и заворковала от возбуждения, когда обе женщины поднялись со скамейки. — Прямо не верится, до чего похоже. Видишь, старой-то ходить трудно? Это ты! — Молодая женщина смеялась. — Ну, это просто черт знает что такое. Ведь это я всегда так смеюсь. Так музыкально, правда? — Но вскоре, наскучив такой игрой, она взяла пульт дистанционного управления и переключилась на другую программу. Она быстро перескакивала с канала на канал, выхватывая отовсюду то чье-то лицо, то жест, то фразу, то взрыв; но складывавшаяся в результате картина казалась ей совершенно осмысленной, и некоторое время она с подлинным удовольствием смотрела на экран. Но Сара, уже устав от этого, начала изучать содержимое своей сумочки, одновременно что-то бормоча себе под нос.

— Дорогая, ты ворчишь как старая бродяжка. Сама с собой разговариваешь. — Хэррие уже выключила телевизор и теперь насмешливо наблюдала за своей старой подругой. — Кончится тем, что ты будешь слизывать блевотину со своего платья. — Она не выдержала и рассмеялась созданному образу.

— Я вовсе не разговаривала сама с собой. Я разговаривала с тобой, проговорила Сара с до-

стоинством. — Я пришла показать тебе вот это. — Она достала из сумочки маленькую брошюрку. — Твой любимый художник выставлен на продажу. — Это был каталог недавно приобретенных работ Сеймура. — Как раз то, что тебе нравится, дорогая. — И она захлопнула сумочку.

— Значит, тебе известно, что мне нравится? — Хэрриет взяла у нее каталог и начала его листать.

— Как мило. Масса цвета.

— Ну, тебе виднее. — Сару уже не удивляла и даже не особенно забавляла вульгарность суждений Хэрриет об искусстве.

— Не может быть — вот эту я уже видела. — Хэрриет склонилась над каталогом, настолько приблизив лицо к странице, что казалось, будто она обнюхивает ее или поедает. — Эту я знаю. — Сара, поднявшись и заглянув через плечо Хэрриет, увидела репродукцию той картины, где маленький мальчик выглядывал из развалин разрушенного здания. Казалось, что-то касается его плеча. — Как она называется?

Сара отобрала у нее каталог и заглянула в конец.

— "Бристольский Церковный Двор, — прочла она, — после Вспышки Молнии". Какое бессмыс-

ленное название. — Она была не очень высокого мнения о творчестве Сеймура.

— Ну, по крайней мере, — начала Хэрриет, но потом остановилась. — По крайней мере, он знает, где хоронят трупы.

Сара не пожелала разъяснить это замечание.

— Почему бы тебе не сходить посмотреть на нее? Она все еще висит у Камберленда и Мейтленда.

— Да? Камберленд и Мейтленд. Где же я о них слышала раньше? — Ну конечно, Хэрриет вспомнила: это Чарльз упоминал, что там работает его жена; и ей захотелось встретиться с этой женушкой. — Почему бы нам не сходить туда вместе, Сара дорогая? Ты же знаешь, как я ценю твое мнение. — Вивьен так ее зовут, — Вивьен могла бы повлиять на Чарльза, убедив его отдать рукописи настоящему писателю.

— Хорошо. Ты выкрутила мне руку.

Она убрала руку за спину и широко раскрыла рот, как будто собираясь закричать.

— Мы пойдем вместе. — Хэрриет выскочила из своего кресла.

— Ты знаешь, мне нужно вначале им позвонить.

— Да, ты им звякни, а я пока нарисую себе ли-

чико. — Она собралась выйти из комнаты: — И не болтай слишком долго. Сама знаешь, как оно набегает.

— Что — твое личико?

Хэрриет вышла, споткнувшись о мистера Гаскелла, который издал короткий негодующий вопль, а спустя несколько минут вернулась в ярко-голубой шляпе с приколотым волнистым попугайчиком.

— Вот я в целости и сохранности, — провозгласила она. — Упакована и маркирована.

— Я их предупредила, что ты придешь.

Хэрриет запрокинула свою шляпку набекрень — под соблазнительным углом, как она сама считала.

— Тогда мы не должны их подвести, верно? Пошли. — Она ткнула в безделушку на своей шляпе. — Следуй за птичкой.

8

— А это кто, столь дивный в лилово-сером? Не может быть, чтобы я знал его. — Камберленд услышал знакомый нервный кашель Мейтленда и обернувшись увидел только спину своего партнера, через миг исчезнувшую за дверью маленького кабинета. — Бедняжка. Ты видела его редеющие волосы? — спросил он у Клэр. — Через них можно спокойно читать Арт-Ньюс.

— Но Зам выглядит вполне счастливым, сэр.

— Блаженство неведения, без сомнения. С такой внешностью, как у мистера Мейтленда, глупо быть умником. Кстати, о глупости…

Он оглянулся на галерею. Польская выставка уже сворачивалась, ей на смену пришла экспозиция ар-брю: на стенах уже висели рисунки, на которых виднелись лишь судорожно скачущие строки, состоявшие из многократно повторявшихся слов; кричащие картинки, изображавшие безглазых мужчин и женщин с телами, грубо размалеванными цветными карандашами; карты мира, обезображенные иероглифическими каракулями; темные лесные чащи, где среди деревьев едва различались крохотные людские

фигурки; а по разным углам галереи были расставлены скульптуры из дерева или соломы с бутылочными пробками вместо глаз и веревками вместо волос.

— Ну и ну, — сказала вдруг Клэр, — вот этот — вылитый Зам Головы! — И в самом деле, одна из фигур, сооруженная из картона, пустых жестянок, скомканных газет и осколков стекла, смутно напоминала мистера Мейтленда.

— Ну разве не прелесть? Меня особенно умиляет банка из-под пива, символизирующая принадлежность мистера Мейтленда к мужескому полу. — Он стал искать аннотацию к этой скульптуре в каталоге. — "В Чикагском Переулке я Плакала и Плакала", работа Бабуси Джоэль. Ну, по-моему, этим уже всё сказано, правда? — Он дочитал пояснение до конца: — Бабуся Джоэль, известная как просто Бабуся, была плодовитой и разносторонней художницей, несмотря на свою психическую неуравновешенность. Ей мерещилось, будто она приговорена к смерти, но не знала, за что. У меня тоже иногда бывает такое чувство — а у тебя, Клэр? Ее содержали в лечебнице для душевнобольных, где она непрерывно создавала картины и скульптуры. Должно быть, там она и повстречала мистера Мейтленда. Она

хотела объяснить весь материальный и духовный мир посредством подражания и любила повторять: "Слепые — отцы слепых". Она была тучной и имела натянутые манеры. А может, она и была мистером Мейтлендом? Иногда в приступе гнева или разочарования она уничтожала все свои работы. Ну, в Лондоне-то, — сказал он, передавая каталог Клэр, — это пусть за нее сделают критики.

— Что это значит?

— Это абсолютно ничего не значит. Ты слышала когда-нибудь такое выражение: "Доброе сердце больше, чем проходной балл, а нехитрая вера — чем телячий восторг"? — Он с игривой нежностью погладил крупную бородавку на своей щеке, и Клэр невольно отвела взгляд. — Вот и всё, что это значит. Там, где нет традиции, искусство просто становится примитивным. Художники, не имеющие хоть сколько-нибудь приемлемого языка, могут рисовать только так, как рисуют дети. А это так, — он услышал движение за своей спиной, так пусто. Или я не прав, Вивьенна?

— Доброе утро. — Она выглядела изможденной и едва ответила на приветствие Камберленда, прежде чем направиться к себе в кабинет.

— Видно, — пробормотал Камберленд, — кто-то

спал сегодня ночью на горошине. Клэр, почему бы тебе… — Он кивнул в сторону Вивьен.

Та пошла вслед за Вивьен в дальний конец галереи.

— Ты ничего не сказала о новых картинах Головы.

— Извини. Я их и не заметила.

Клэр уселась на стол. Вивьен и начала болтать ногами.

— Что случилось, красна девица?

В это утро Чарльз жаловался на головную боль, а его движения показались Вивьен особенно нескладными; и теперь она ни о чем другом не могла думать.

— Да ничего. Просто я устала.

— Как там Эдвард? — Клэр всегда предпочитала упоминать не мужа, а сына Вивьен.

— А, хорошо. Он часами сидит перед телевизором.

С тех пор, как Чарльз заболел, Эдвард все больше и больше уходил в себя. Вивьен заставила себя улыбнуться Клэр.

— А ты как сегодня?

— Тоже хорошо. — Она сунула в рот мятный леденец «поло». — А вот мамуля в панике. Ей кажется, что она опять залетела.

— А разве она точно не знает?

— Да ничего она не знает. — «Мамуле» Клэр постоянно перемывали косточки в галерее: по рассказам дочери (помимо ее воли выходившим весьма зловещими), эта разведенная дама напоминала какую-то размалеванную куклу, носящуюся по Лондону. — Но кто отец, она отлично знает. Она говорит, что собирается вступить в ряды герл-скаутов и разбить палаточный лагерь у его порога.

— Пока он на ней не женится?

— Нет, пока он не даст ей денег на это самое. Ну, когда за плату избавляют от ребенка.

— Отбор для усыновления?

— Да нет. Не отбор, а аборт. Но она говорит, что, если дело и вправду труба, так она сама за это заплатит. Моя старушка настоящая размазня, когда доходит до такого. Но, знаешь ли, — добавила она лояльно, как будто желая уравновесить нарисованный образ женской слабости, — она лучшая наездница, какую я знаю.

Но Вивьен не особенно интересовали ее спортивные достижения.

— А она знает, чем грозит аборт в ее возрасте?

— Да знает, конечно. Она уже его делала несколько раз. — Клэр откинула волосы на-

зад. — На мамулю всегда был большой спрос — на коктейлях, на всяких там вечеринках. Думаю, и я на свет появилась из-за какой-нибудь вечеринки. — Она засмеялась, но, заметив, что на другом конце галереи с бесприютным видом мается Камберленд, соскользнула со стола. — Ну ладно, не могу же я тут весь день языком трепать. Не то еще Голова покажет свою тросточку.

Вивьен приступила к своей работе. Благодаря рассказам Клэр о матери она немного отвлеклась от собственных забот и уже приготовилась найти покой в тех рутинных обязанностях, которые ей предстояло выполнять. И все же ей было трудно сосредоточиться, и время от времени она слышала собственные вздохи… Когда она подняла глаза, в комнате находился Мейтленд. Он вытаскивал из кармана носовой платок.

— Я только хотел справиться, — сказал он, — я хотел справиться, с вами всё в порядке? — Он вытер лоб. — Вы выглядели расстроенной, и я не знал… — Он смотрел на нее, не вполне понимая, что собирается сказать дальше. Может, я чем-нибудь могу помочь, — прибавил он. Но тут он снова запнулся; он стал пятиться к выходу, комкая в руках платок. — Ну, я только не понимаю, — отступая назад, он наткнулся на творение

Бабуси Джоэль.

— Знаменитая Пятерка на подмогу! — Клэр мигом промчалась через всю галерею, чтобы подхватить скульптуру, опасно качнувшуюся на своем постаменте, и каким-то чудом успела подбежать как раз в ту секунду, когда та уже собиралась грохнуться на пол.

— Что за напасть. — Мейтленд взглянул на нее и высморкался.

— Мяч не коснулся поля, сэр! — Клэр была в восторге от своего проворства. — Заслужила я пятерку с плюсом?

Она оглянулась, чтобы посмотреть, видел ли Камберленд ее триумф. Оказалось, что тот стоял прямо за ее спиной, раскинув руки, словно он приготовился поймать ее, когда она наклонилась под тяжестью своего ценного груза.

— Иногда, — сказал он, — мне хочется отшлепать этого человека. Одного сильного шлепка вполне хватит, чтобы кое у кого кровь побежала быстрее. Он собирался добавить что-то еще, но тут вошла Вивьен и сообщила, что с ним срочно желает побеседовать мистер Сэдлер, бывший дилер Сеймура.

Со внезапным порывом энергии Камберленд бросился в кабинет и схватил телефонную труб-

ку.

— Да? — проговорил он очень спокойным голосом. Он стал слушать, и через минуту уголки его губ опустились; для Вивьен он изобразил на лице тревогу. — Вы хотите сказать? — Он оторвал от пола одну ногу и, некоторое время подержав в воздухе, снова опустил. — Понимаю. — Он сел на стол. — В самом деле? — Он встал и выполнил несколько танцевальных па, не прекращая все это время широко раскрытыми глазами смотреть на Вивьен. — Это правда? Он улегся на ковер, прижимая телефонный аппарат к груди. — Разумеется, я держусь прежнего мнения. — Он стал брыкать ногами в воздухе, и Вивьен наблюдала за ним с изумлением. — Мне бы хотелось, чтобы вы предъявили свои доказательства! — Он с трудом полуприподнялся с пола. — Договоримся на три часа? — Потом, обессилев от бесплодных попыток, он снова рухнул на ковер и положил телефон рядом с ухом. — До свиданья. — Минуту он лежал совершенно неподвижно, а потом сказал в потолок: — Сэдлер уверяет, что мои Сеймуры фальшивки. — Через несколько секунд он прибавил: — Считай, что я этого не говорил, Вивьенна. — Потом он зевнул и заложил руки за голову. — Ты бы позвонила нашему другу,

мистеру Стюарту Мерку, и попросила тоже зайти сюда в три часа.

Клэр собиралась войти в комнату, но в изумлении застыла на пороге.

— Что это с Головой? — спросила она у Вивьен, как будто лежачее положение Камберленда вывело его из орбиты обычного разговора.

— Голова, — ответил Камберленд, — ждет свою Саломею. Ты подашь ей блюдо, когда она явится?

* * *

Ровно в три часа Клэр ворвалась в кабинет Вивьен и прошептала:

— Это он! Это гроза школы!

Сэдлер остановился посреди галереи; вытянув руки по швам, он смотрел прямо перед собой (за эту нарочитую воинскую выправку его даже прозвали "полковником"), и он все еще стоял по стойке «смирно», когда к нему подошла Вивьен.

— Сэдлер, — коротко представился он, неподвижно глядя на стену за головой Вивьен. Она повела его к кабинету Камберленда, и ему потребовалось заметное усилие, чтобы переместить взгляд на пятнадцать градусов к востоку: а именно, по направлению к двери Камберленда. Войдя в комнату, он продолжал глядеть в ту же точку

на воображаемом компасе. — Сэдлер, — произнес он еще раз.

Камберленд слегка поклонился и затянул потуже узел галстука, Мейтленд стоял по стойке «смирно» и заливался краской, Стюарт Мерк сидел развалясь на стуле и улыбался.

— Может быть, — сказал Камберленд, — вы присядете? Если хотите.

Сэдлер опустил глаза на Камберленда.

— Эти картины — фальшивки.

— Тут, я вижу, не до взаимных вежливостей. — Камберленд мрачно посмотрел на посетителя. Вивьен стояла в дверях, не зная, остаться ли ей, но тут он повернулся к ней бородавкой, и она закрыла дверь. — Надеюсь, вы знаете Стюарта Мерка, — продолжал он любезным тоном, — который был у Сеймура помощником. — Он сделал особый нажим на последнем слове.

— Знаю Мерка.

— Так вот, мистер Мерк, который был помощником Сеймура, заверяет меня, что эти картины абсолютно подлинны.

Сэдлер скосил глаза в сторону Мерка, и тот сделал ему легкий знак рукой.

— Он ошибается.

Мерк рассмеялся.

— В самом деле? — Он достал сигарету, но забыл ее зажечь. — Я не ослышался?

— Эти Сеймуры — не подлинники.

Мерк некоторое время помешкал, отыскивая спичку и зажигая ее, а остальные наблюдали за ним.

— Я бы сказал так. Они не меньшие подлинники, чем все его прочие картины последнего периода. — Он выпустил колечко дыма к потолку и снова привалился к спинке стула.

Сэдлер продолжал упорно смотреть на него.

— Я двадцать пять лет был дилером Сеймура.

— Ага.

— Я знаю все его работы.

— Я тоже.

— Он делал фотоснимки всех своих картин.

— Знаю. Это я их фотографировал.

Теперь они оба смотрели в глаза друг другу.

— Это фальшивки.

Мерк рассмеялся.

— Да кто же может сказать, где фальшивка, а где подлинник? Вы уверены, что знаете разницу?

Сэдлер заметно напрягся, и какое-то время его взгляд, казалось, не мог ни на чем сфокусироваться.

— Я знаю то, что я знаю.

— Ах вот как. И что же вы знаете? — Внезапно Мерк оживился; он затушил сигарету и, отлепившись от спинки стула, подался вперед. Потом он засмеялся и снова откинулся назад. — Знали ли вы, например, что Сеймур страдал от артрита в пальцах?

— В пальцах… — Сэдлер смотрел прямо перед собой.

— А знали ли вы, что он не мог держать в руках даже газету, не говоря уж о кисти? — Сэдлер попытался посмотреть в сторону Мерка, но не сумел, а Камберленд между тем барабанил пальцами по своему гладкому полированному столу, как будто играя на пианино. — А знали ли вы, что он пребывал в отчаянии, что он не хотел больше писать никаких картин, что он хотел умереть? — Мерк сделал паузу. — Вы ведь знали это, правда?

— Я не понимаю… — начал Сэдлер.

— Ах, вы не понимаете. — Мерк снова подался вперед. — Не понимаете того, что прямо-таки кричит о себе у вас на глазах. Вы не понимаете, что это я написал все последние картины Сеймура.

Наступило гробовое молчание, и Мейтленд услышал звуки дрели, доносившиеся с улицы рядом с галереей.

— Простите, — сказал он, — я закрою окно. — Но

остальные не обратили на него внимания, и он встал, повернувшись к ним всем спиной и глядя в пустоту.

Сэдлер мотал головой из стороны в сторону, и вместе с ней яростно вращались его глаза.

— Вы можете утверждать, что это вы написали их, — сказал он. Прекрасно. Но мне бы хотелось увидеть доказательства.

Мерк расстегнул папку, лежавшую рядом с ним, и вынул небольшой холст: это был явный образец сеймуровского позднего стиля, с его сочетанием отвлеченных форм и маленьких фигуративных предметов, а также с характерной пунктирной текстурой краски.

— Я завершил ее на прошлой неделе. — Он взглянул на картину с восхищением. — Хороша, не правда ли?

— К сожалению, — сказал Камберленд, — среди нас нет искусствоведов.

Сэдлер не мог отвести глаз от картины. Затем, жестом фокусника, Мерк повернул ее изнанкой и показал оборотную сторону Камберленду.

— Вот порядковый номер картины, так? А вот пометка поставщика. Верно? Совсем как на ваших… — Тут он посмотрел на Сэдлера. — И на ваших.

Сэдлер нервно моргнул.

— Да как вы…

— Я же вел всю бухгалтерию. Я знаю, какие у вас полотна. Вы продали только три картины за последние два года, а пятнадцать остались у вас. Вы знали, что после смерти Сеймура цены подскочат…

— Жуть, — пробормотал Камберленд.

Мерк снял свои очки в аккуратной золотой оправе и протер их рукавом пиджака.

— Теперь-то вы не будете обвинять меня ни в чем, а? Не губить же бойкую торговлю.

Сэдлер закрыл глаза. Наступило продолжительное молчание.

— Я уверен, — выговорил он наконец, — что мы придем к какому-нибудь соглашению.

Тут Камберленд впервые рассмеялся — звонким и долгим смехом, который прокатился эхом по галерее.

* * *

Хэрриет Скроуп завернула на Нью-Честер-стрит. Она шла на несколько шагов впереди Сары Тилт, и с видом столь целеустремленным, что случайному наблюдателю было бы простительно счесть, будто именно она куда-то ведет свою

спутницу. На самом же деле она не имела ни малейшего представления о том, куда нужно идти.

— Ну же, дорогая, — поторапливала она в лихорадочном нетерпении. Матушке дорого время!

— Это всё мои ноги! — кричала Сара через головы людей, которые уже разделяли их. — Я ничего не могу поделать!

— Ничего не могу поделать. — Хэрриет передразнила жалостный голос Сары; она обернулась к ней со злорадной улыбкой и в тот же миг столкнулась с Сэдлером, который как раз выходил из галереи. Он даже не заметил этого; казалось, он вообще ничего вокруг не замечал, слепо уставясь вперед и пробираясь через толпу. — Старый блядун! — крикнула ему вдогонку Хэрриет. Затем, осознав, что стоит уже у самой галереи Камберленда и Мейтленда, она поправила шляпку и шагнула внутрь.

— Я — Хэрриет Скроуп, — сообщила она Клэр. — А это… — она подождала, пока в галерею войдет вслед за ней Сара. — Это Сара Тилт. Знаменитая критикесса. Отведите нас к вашему начальнику.

Сара, все еще тяжело дышавшая после форсированного марша по Нью-Честер-стрит, успела вмешаться.

— Мистер Камберленд, — сказала она, — ждет

нас. Я звонила…

Клэр отправилась в кабинет.

— А где Голова? — спросила она у Вивьен. — Там к нему две старые калоши. — На самом деле, их голоса уже проникли в галерею, и Вивьен, услышав имя Хэрриет, вначале запаниковала. А вдруг она пришла с дурной новостью о Чарльзе? Вдруг с ним случился припадок у нее дома? Но нет, она уже знала, что они явились к Камберленду поговорить о покупке картины Сеймура. И не о чем тут тревожиться. Она вышла поздороваться с ними.

— Мисс Скроуп, — сказала она. — Я Вивьен. Жена Чарльза…

Хэрриет в изумлении отступила на шаг назад.

— Неужели? Понятия не имела, что вы здесь работаете! Чарльз ведь очень скрытный, верно? Но такой душка.

Они улыбнулись друг другу, а Сара, которая несколько нервничала при мысли о предстоящей беседе Хэрриет с Камберлендом, прибавила:

— Какое совпадение.

Хэрриет смерила ее ядовитым взглядом.

— Ничего подобного. Всё так и было задумано. Вы знаете Сару Тилт? Знаменитую критикессу?

После повторных представлений Вивьен ушла

разыскивать своего начальника, и Хэрриет впервые огляделась вокруг себя.

— А это еще что? — спросила она.

Сара приблизилась к одной из картин, на которой изображались в несколько рядов человеческие фигуры, соединенные между собой так, что вместе они напоминали строки иероглифического письма.

— Невинное искусство. Грубое искусство. Наивное искусство.

Хэрриет закатила глаза.

— Об этом я всё знаю.

— Еще бы тебе не знать, — фыркнула Сара. — Все эти сумасшедшие художники.

— Правда? — неожиданно заинтересовалась Хэрриет и начала всматриваться в различные предметы, окружавшие ее. — А они были настоящие сумасшедшие или только притворялись?

— Видеть — значит верить, — ответила Сара и подвела ее к холсту, где была изображена девушка, сидящая на стене, а за нею — ее двойник, парящий в воздухе. И этот второй образ легонько дотрагивался до плеча первого. Краски были очень яркие.

Сара взяла каталог, нашла эту картину и зачитала аннотацию, пока Хэрриет глазела на двух

одинаковых девушек:

— "Опийная греза, композиция Фрица Дейнджерфилда. Он рисовал одну и ту же картину снова и снова, но не желал разлучаться со своими полотнами и вплоть до самой смерти держал их у себя в спальне. Он не разговаривал, а писал только при помощи изобретенного им самим алфавита". — Она захлопнула каталог. — Вот это настоящее сумасшествие.

— А я хорошо понимаю, что с ним происходило. — Хэрриет внезапно посерьезнела. — Он хотел отделить себя ото всего. Он придумал собственный алфавит, потому что слова пачкали его. Ему хотелось всё начать сначала.

— В том-то и дело. А в результате его невозможно было понять. Никому не дано начать всё сначала.

— Так что выбора нет. Приходится всё это таскать с собой. — Хэрриет скорчилась наподобие театрального горбуна и принялась хромать по галерее, и как раз в этот момент Камберленд вышел из своего кабинета, чтобы поприветствовать их. Он изумленно поглядел на Хэрриет, но она выпрямилась и сказала: — Камешек в туфлю попал.

— Какая неосторожность. Могу я взять у вас шляпу? — Его привел в восторг волнистый попу-

гайчик, который был приколот — пронзенный через грудку — к синей ткани. — Или она сама по себе летает?

— Не знаю, — ответила Хэрриет. — Почему бы вам не угостить ее семечками?

Она уже почувствовала себя с ним вполне по-свойски и приблизилась, вытянув руку. Камберленд сдержал непроизвольное желание отпрянуть.

— Я — Хэрриет Скроуп. Ну и, разумеется, вы знакомы со знаменитой критикессой Сарой Тилт. Я хочу сказать, с Сарой Тилт, знаменитой критикессой.

— Я хорошо знаком с обеими этими дамами.

Хэрриет рассмеялась его шутке, главным образом потому, что она, по-видимому, была направлена в адрес ее старой приятельницы, но внезапно замолкла, когда в галерее появился Мейтленд. Он нес маленький коричневый сверток и, завидев двух пожилых дам, отступил назад. Но Камберленд уже заметил его.

— Вы знакомы с моим сообщником?

Хэрриет отметила, что при этом слове оба мужчины почему-то покраснели.

— А он Берк или Хэр?[66]

— Нет, я полагаю, он один из трупов. — Камберленд держался очень любезно. — Мисс Скроуп, — сказал он, — желала бы приобрести одну из наших сеймуровских вещей. — Мейтленд уронил сверток, и раздался приглушенный звук битого стекла.

Клэр с нервным смешком бросилась ему на помощь, а тот стоял, глядя на пол и кусая нижнюю губу. В эту минуту всеобщего замешательства Хэрриет пристально наблюдала за Вивьен Вичвуд: она замечала следы тревоги на ее лице и гадала о ее причинах.

— Скажите мне, — заговорил Камберленд с Хэрриет, отводя ее к себе в кабинет и тщательно обходя при этом Мейтленда, — вы посещали нашу галерею раньше?

— Ах, нет. — Потом она прибавила, стараясь проявить дипломатичность: Но я всегда прохожу мимо нее.

— Должно быть, это внутри вас цыган какой-

---

[66] Примечания: 66

Уильям Берк (1792–1829) — ирландский убийца, орудовавший в сообщничестве с приятелем, Уильямом Хэром. Сначала они промышляли выкапыванием свежезахороненных трупов, сбывая их в анатомические театры, но потом перешли к убийствам. Они заманивали жертв к себе домой, напаивали и душили. Всего им удалось умертвить около пятнадцати человек. Берка повесили, а Хэр отделался тюрьмой.

то.

— Где? — Она с тревогой обернулась, как будто некий смуглый джентльмен собирался в нее проникнуть.

Камберленд постарался не засмеяться.

— А где вы сейчас живете? — Казалось, он знал ее всю жизнь.

— Ну, я называю этот район Тайбернией.

— А как называет его остальной народ? — Хэрриет не ответила; ее совершенно очаровала большая бородавка на его щеке, и она уже занесла было руку в ее сторону, явно намереваясь потрогать или погладить ее, — но Камберленд укрылся за своим письменным столом. — Если я правильно помню, сказал он уже более нервно, — речь шла о какой-то определенной картине Сеймура?

Сара Тилт сочла, что пора вмешаться.

— Мисс Скроуп особенно заинтересовала работа "Бристольский Церковный двор после Вспышки Молнии". Знаете, это та, где такое великолепное цветовое поле.

Хэрриет усмехнулась ее глупости.

— Это было не поле. Это было здание.

Камберленд лишь кивнул, и Сара поняла, что он взвешивает точную степень невежества Хэрриет.

— Разрешите показать ее вам, — сказал он и нажал кнопку на своем столе.

Должно быть, Клэр стояла прямо под дверью, так как она немедленно вошла в комнату, прижимая к груди небольшую картину маслом.

— Зам сказал мне, что не хочет пачкать руки, — сказала она. — Но я не вижу на ней никакой пыли.

— Просто покажи ее им, Клэр дорогая, и не говори больше ни слова. — И она подняла холст повыше, ожидая одобрения.

При дневном освещении ребенок и разрушенное здание казались более четко очерченными, и Сару Тилт поразила та уверенность, с какой эта «реалистичная» сцена была вписана в более отвлеченный фон. Лицо ребенка по-прежнему оставалось неразличимым, но здание, как теперь казалось, словно кружилось вокруг него; оно походило на некий водоворот, грозивший поглотить его.

— Я, право же, предпочитаю поздний стиль Сеймура, — сказала она. — По мере того, как он тяготел к абстракции, он становился всё смелее. Камберленд улыбнулся, но ничего не сказал. — У этого художника такая узнаваемая манера, не правда ли? Ни одну работу не перепутаешь с

чьей-нибудь еще.

— Совершенно с вами согласен.

Хэрриет же, оказавшись непосредственно перед самой картиной, запаниковала, думая, что ее могут вынудить сразу же купить ее.

— Она слишком мала, — заявила она, — для моей каминной полки. — Ища поддержки, она обратилась к подруге: — Ну ты же знаешь, Сара, какой у меня повсюду замечательный мрамор.

Как ни странно, Камберленду, по-видимому, понравилось такое поведение.

— Может быть, вам стоит еще немного подумать? — Хэрриет прикоснулась к птичке на своей шляпе, будто в знак подтверждения. — Разумеется. Не беспокойтесь. Клэр сейчас унесет картину. — Он нетерпеливо дождался, пока та выйдет из комнаты, а затем снова повернулся к Хэрриет. Некоторое время оба молча смотрели друг на друга. — Надеюсь, вы пишете новый роман, мисс Скроуп?

— Я об этом подумываю. — Она кокетливо скосилась на него. — Есть какие-нибудь мыслишки?

— Нет сейчас в моей бедной головушке ни единой мысли. Зато наш мистер Мейтленд, как вы видели, персонаж почти вымышленный.

— А вы тогда что — грубый факт?

— Во всяком случае, нечто очень примитивное.

Он поднялся со стула, но Хэрриет, видимо, еще не собиралась уходить.

— Так, может, — продолжала она, — мне лучше вас купить? — Она издала низкий смешок.

— Я бы неплохо смотрелся на вашем камине.

— Ну, для начала из вас чучело придется смастерить.

Сара решила, что им обеим уже пора идти, и дернула Хэрриет за руку, поставив ее на ноги.

— Всё было так мило, — сказала она. — Спасибо вам большое.

— Это вам большое спасибо.

— Не говорите так, — перебила его Хэрриет. — У меня от таких слов голова болит.

А когда они вышли на улицу, Сара накинулась на подругу:

— Как ты мерзко выставлялась там перед ними!

— Картинные галереи для того и существуют, чтоб выставляться.

Сара надула губы.

— Ты могла бы проявить побольше интереса к этой картине.

— Она чересчур дорогая.

— Пожалуйста, не мели ерунды. Ты даже не спросила о цене!

— Я знаю то, что я знаю.

Произнося это, она поправила шляпку:

— Я есмь то, что я есмь. — И, поглядев на свое отражение в окне, она увидела Вивьен в глубине галереи: — Ах, дорогая, Матушка забыла свою сумочку. Не жди меня. Я знаю, как ты занята.

Сара поняла, что Хэрриет — по причинам, ведомым лишь ей одной, — хочет остаться одна; и она с чувством некоторого облегчения небрежно чмокнула ее в щеку, прежде чем отправиться домой. Там ее дожидалась ее книга, Искусство смерти.

Хэрриет подождала, пока та завернула за угол, а потом снова вошла в галерею.

— Интересно, — обратилась она к Вивьен, — кто-нибудь видел мою сумку? — В действительности же Хэрриет сама аккуратно поставила ее в угол, где бы ее никто не заметил до ее возвращения. — Ах, вот же она! Как мило — стоит тут и прячется от меня! — Она порылась в сумочке и, извлекши огромную связку ключей, погремела ими перед собой. — Чтоб доказать, что это мое, сказала она. Потом она захлопнула сумочку и добавила, как будто невзначай: — А

как Чарльз? — Казалось, она совершенно позабыла, что сама виделась с ним всего несколько часов назад.

— Трудно сказать… — Вивьен помедлила, не зная, стоит ли выказывать собственные страхи. — Вы ведь знаете, верно?

— Ну да. — Хэрриет понятия не имела, что та имеет в виду, но избрала путь вдохновенной догадки. — Мне показалось, он выглядит слегка бледным.

— Слава Богу, и вы это заметили! — Вивьен больше не могла сдерживать тревогу. — Он врачей и видеть не желает! А ему так нужна помощь! — Однако облегчение, испытанное ею оттого, что она наконец призналась в этом, оказалось довольно гнетущего рода: оно делало все ее страхи более ощутимыми.

Хэрриет показалось, что Вивьен вот-вот разрыдается.

— Не рассказывайте мне больше ничего, — сказала она поспешно, — пока мы не выйдем прогуляться. Мне это всегда помогает.

— Мне только сейчас нужно…

Вивьен забежала к себе в кабинет и попросила Клэр подменить ее ненадолго; когда она вернулась, Хэрриет схватила ее за руку, и они вышли

на Нью-Честер-стрит, а потом прошлись по Пикадилли и по Сент-Джеймс-стрит.

— Всякий раз, как я вижу уличные знаки, — доверительно сказала Хэрриет, — я вспоминаю о Молль Флендерс,[67] а вы? — Она неожиданно остановилась возле банкомата. — Минуточку. Мисс Флендерс понадобилось еще немножко серебра. — Она отработанным жестом набрала свой «пинок»,[68] как она научилась его называть: ей нравились эти автоматы, и особое удовольствие доставляла ей мысль о том, что ее деньги стерегут какие-то цифры. Мимо прошмыгнул бродяга, и она заслонила своим телом пятифунтовые банкноты, как раз в эту минуту посыпавшиеся из машины. — Так близко — и так далеко, пробормотала она, провожая взглядом бродягу, поплетшегося дальше по улице.

— Что вы сказали? — Вивьен была поглощена собственными мыслями.

— Ничего, моя дорогая. Так, пустяки.

Но атмосфера их внезапной близости уже куда-

---

[67] Примечания: 67

Молль Флендерс — героиня одноименного романа (1722) Д. Дефо (1661–1731), авантюристка, ставшая воровкой и карманницей.

[68] Примечания: 68

PIN (Personal Identity Number) — личный цифровой шифр, открывающий доступ к банковскому счету. А pin по-английски означает "булавка".

то испарилась, и Вивьен не вполне понимала, о чем следует говорить дальше.

— Вы что-то покупали у нас в галерее?

— Да нет. Я не вижу прока в том, чтобы спешить к разорению. — Хэрриет проворно перебежала через Сент-Джеймс-стрит, чуть было не угодив под колеса такси, засигналившего ей. — Я не вижу прока, — пояснила она Вивьен, когда та догнала ее на противоположной стороне улицы, — в покупках с первого взгляда. — Они прошли сквозь ворота в парк, и легкий ветерок донес до их обоняния свежий запах сиреневых зарослей. Хэрриет понюхала воздух: — А, жасмин. Мои любимые цветы. Я их везде учую. — Они оказались на тропинке, которая спускалась к озеру, и Хэрриет снова взяла Вивьен под руку, стиснув ее, пожалуй, чересчур крепко.

— Ну так что же такое с Чарльзом?

— Как вы знаете, он не особенно разговорчив.

В действительности он почти не закрывал рта, когда приходил к Хэрриет.

— Знаю, милая. Он настоящий сфинкс.

— Но нужно что-то делать. — Вивьен ускоряла шаг, как будто желая угнаться за нарастающей спешностью своих мыслей, и Хэрриет трусила рядом с ней. — Последние два месяца его мучают

эти головные боли, а временами он выглядит совершенно больным. Иногда он просто сидит и ждет, пока боль не пройдет. А потом продолжает, как будто ничего и не было. По-моему, ему все равно. Однажды он ходил ко врачу, но это было сто лет назад. Да вы же знаете Чарльза. Он не любит выслушивать дурные новости.

— Разумеется.

Тропинка пролегала между цветочными клумбами, и запах свежевскопанной земли смешивался с ароматом желтофиолей и поздних гиацинтов; поднявшийся ветер колыхал верхние ветви деревьев, и под их зеленой сенью женщины продолжали идти вперед. — Итак, — мягко сказала Хэрриет, — он серьезно болен. — Теперь ей было ясно, что Вивьен уже давно размышляла об этой беде и что в разговоре с ней ей впервые выпал случай поделиться своей тревогой. — Его поэзия чрезвычайно важна… — начала она. Она собиралась добавить "для него", но Вивьен ее перебила:

— Конечно! Он замечательный поэт! Я так рада, что вы тоже так думаете! Если бы только…

Ветер задул сильнее, взметнув вокруг них ворох листьев. Хэрриет отшвыривала их ногами, радуясь, что удобный случай подвернулся сам собой.

— Знаете что, — сказала она, — мы возьмем его под опеку. Нам придется за него взяться. — Она снова стиснула руку Вивьен, словно они уже сделались заговорщицами. — Ему нужен отдых, и только отдых. — Вивьен отнюдь не была уверена, что в данных обстоятельствах достаточно будет "только отдыха", но она испытывала к Хэрриет слишком горячую благодарность, чтобы противоречить ей. — Разумеется, пусть пишет свои стихи, но ему и вправду нельзя больше ничем заниматься. Есть у него еще что-нибудь… — тут она призадумалась, опустив глаза на дорожку, — …на уме?

— Да есть еще эта, другая, работа…

— Что еще за работа? — Они уже дошли до края сада и остановились полюбоваться на озеро; по поверхности воды стлался легкий туман, и Хэрриет поежилась. — Это что-то важное?

— Да нет. У него есть какая-то теория насчет одного умершего поэта. По тону Вивьен было ясно, что она не одобряет возню Чарльза с Чаттертоновыми рукописями, и что она не понимает их значимости. К ним подобрался туман; за папоротником шевельнулась утка.

— То есть, какого-то умершего друга?

Вивьен попыталась рассмеяться, но у нее ни-

чего не вышло.

— Вы когда-нибудь слышали о некоем Чаттерзвоне или Чаттертоне?

На лице Хэрриет изобразилось недоумение, и она приложила к щеке указательный палец, как будто в знак раздумья.

— Был вроде бы один малоизвестный поэт с таким именем. Или какой-то фальсификатор?

— Да-да, он самый! У Чарльза есть теория, будто он нарочно разыграл собственную смерть…

Казалось, Хэрриет была ошеломлена таким известием.

— Да какой же в этом был смысл, дорогая? — Туман пробегал мимо них, и на миг ей почудилось, будто она ощущает дуновение солоноватого морского воздуха.

— Не спрашивайте. Но он только об этом и толкует.

Их голоса как будто отдавались эхом над гладью мертвой воды, и Хэрриет повела свою спутницу обратно в сады.

— Знаете что, Вивьен. — Она снова взяла ее под руку. — Можно называть вас просто Вивьен? Мне кажется, будто я вас знаю много лет. Знаете что: весь этот вздор с Чаттертоном, наверное, и сказывается на его здоровье. Чарльз просто по-

мешался на этом. — Она сделала паузу. — Такое не в первый раз случается. — Удивленное лицо Вивьен мгновенно вывело ее из себя. Только не говорите Чарльзу. Пока не время.

— Конечно, нет. — Вивьен смотрела в землю, раздумывая над словами Хэрриет. — Может быть, вы и правы, — наконец сказала она. — Чарльз действительно хуже себя чувствует с тех пор, как…

Хэрриет пустила в ход свой главный козырь:

— Я полагаю, это и от стихов его отвлекает?

— Увы.

— Так вот. — Хэрриет резко остановилась посреди дорожки, как будто внезапное озарение воспрепятствовало ее продвижению. — Почему бы нам с вами не забрать у него эти бумаги, так чтобы он ничего не заподозрил?

По выражению лица Вивьен было ясно, что она одобряет такую мысль.

— Но как?

— Предоставьте всё мне, Вивьен, дорогая. — Придя в воодушевление, она стала менее сдержанной. — Если вы будете присматривать за Чарльзом, я позабочусь о рукописях. О бумагах. — Она совершила невысокий прыжок. — Как мило будет работать вместе! А, черт возьми! — Призем-

лившись, она ощутила нечто знакомое под ногой и, приподняв ее, увидела, что подошва ее правой туфли вымазана в собачьих испражнениях. — Да я б ослепла, попади мне это в глаза! — вскричала она. — Оно бы могло вверх брызнуть! — Она с большой осторожностью присела на низкую зеленую ограду, которой были обнесены цветочные клумбы. — Дайте-ка мне вон тот листик, а? — Вивьен протянула ей несколько влажных листьев, и Хэрриет с трудом оттерла налипшую массу. Наконец она поднялась и обвиняюще поглядела на свои туфли. — Их надо расстреливать, — сказала она. — Расстреливать и сбрасывать в безымянные могилы. — Вивьен решила было, что Хэрриет говорит о предстоящей участи собственной обуви, но та указывала на маленького черного пуделя: — Они просто животные! — Собака залаяла на нее, и это как будто вернуло ей прежнее расположение духа. — Ну, — сказала она, — как нам теперь выбраться из этой чертовой дыры?

Они зашагали по низкой траве, и Хэрриет, почувствовав себя в новой роли подруги-наперсницы, вела себя почти как девчонка.

— Честно говоря, мне не понравилась эта картина Сеймура, — сообщила она. — Знаете ли, слишком уж кричащая, на мой вкус. Слишком

жуткая.

Вивьен все еще думала о Чарльзе и потому не очень вслушивалась.

— А, да там все утро толковали о Сеймуре. Они думают, что все эти картины — фальшивки. — Только сказав это, она опомнилась: — Забудьте, что я об этом упомянула. Скорее всего, это просто сплетни.

— Но я обожаю сплетни! — Заметив тревогу на лице Вивьен, она торопливо добавила: — Хотя, конечно же, я никогда им не верю. — Зато теперь она поняла, почему Камберленд не особенно-то стремился продать ту картину, и почему оба галерейщика залились краской при слове «сообщник». Некоторое время они шли молча, пока не достигли края парка. — Не тревожьтесь, сказала она Вивьен, имея в виду ее неосмотрительное откровение по поводу картин.

— Теперь я тревожусь гораздо меньше, — ответила та и улыбнулась Хэрриет. — Я рада, что вы ему друг.

— И я тоже. — Хэрриет позволила поцеловать себя в щеку, а потом поправила шляпку и воскликнула: — Мне — в ту сторону! — Вивьен, снова погрузившись в мысли о Чарльзе стала медленно возвращаться к галерее.

Хэрриет тоже утомилась.

— Матушку затрахали! — сказала она вслух, позабавив торговца цветами, стоявшего со своим лотком на углу Джермин-стрит. Она любезно улыбнулась ему: — Собачья жизнь, верно?

Начинался дождь, и, проходя по Пиккадилли, она нырнула под какой-то навес, чтобы защитить от капель птичку, приколотую к ее шляпке. Оказалось, что это укрытие находится возле входа в кинотеатр, и, присмотревшись, она увидела внутри плакат с надписью "Швейцарские девицы рядком". Она не была в кино уже несколько лет, и теперь, поддавшись внезапному любопытству, она приблизилась к будочке кассира.

— Один, пожалуйста, — сказала она старику, сидевшему там с удрученным видом. Она подняла палец. — В один конец, s'il vous plait.[69] — Пока она набирала в сумочке нужную сумму, он снова погрузился в газету.

— Пять фунтов, да еще и членский взнос — это что-то слишком, проговорила она. — Даже по нынешним временам. — Она похлопала по своей сумочке. — Ну да ничего. Уж зато шоколадки у меня свои собственные.

---

[69] Примечания: 69
Пожалуйста (фр.).

Когда она вошла в тесный зальчик, фильм уже шел, и в темноте она споткнулась о какого-то человека, стоявшего в глубине.

— Excusez-moi,[70] — сказала она. — Прямо как на войне. — Она нащупала ряд сидений и, пробравшись в середину, со вздохом плюхнулась на свободное место. Из громкоговорителей по обе стороны от экрана лилась тема из Времен года Вивальди, а Хэрриет принялась завороженно наблюдать за тем, как две молодые женщины перебрасываются надувным мячом. Она скинула туфли, вынула из сумочки свои шоколадки и вытянулась поудобнее. Когда какой-то мужчина средних лет встал со своего места и сел рядом с ней, она ничуть не встревожилась: ей представлялось, что современные кинотеатры давно приобрели атмосферу дружеских вечеринок, к которой она была отнюдь не прочь приобщиться.

— Вы знаете, — сказала она дружелюбно, — я не была в киношках аж с пятидесятых. Хотите плиточку? — Она протянула ему шоколад. — Они превкусные, горькие такие. — Тот дико на нее посмотрел и немедленно пересел.

Несколько удивившись такой грубости, она

---

[70] Примечания: 70
Простите (фр.).

некоторое время за ним понаблюдала, но потом снова обратила все свое внимание на экран, как раз застав тот момент, когда место действия с пляжа перенеслось в спальню. Две девушки лежали вместе нагишом, и Хэрриет сразу же вспомнилась та картина, которую она видела на выставке ар-брю: как одна девушка касалась плеча своего двойника и потом улетучивалась. Внезапно пленка дернулась, и на экране показался мужчина; он был одет в униформу регулировщика, и, едва войдя в комнату, он начал снимать свою остроконечную шапку и черный пиджак. Хэрриет принялась смеяться, но, увидев их в постели уже втроем — каких-то усталых и беззащитных, — она лишь недоверчиво покачала головой. Теперь она жалела, что пропустила самое начало фильма, потому что ей хотелось знать, что же свело этих людей: ее занимал не секс, а сюжет. Ведь даже эти совокупления были следствием какой-то истории, и она-то как раз интересовала Хэрриет больше всего. В конце концов, всем необходимы истории.

Место действия вновь переменилось, и теперь обе девушки вместе танцевали на какой-то вечеринке. Некоторое время Хэрриет наблюдала за ними, но потом ее внимание переключилось

на людей вокруг них. Она увидела чье-то лицо, напомнившее ей лицо давно умершей подруги, а потом еще одно, и еще одно. Они все были там, все ее умершие друзья, какими она знала их когда-то; они отдалились от танцующих и молча стояли все вместе, глядя с экрана на Хэрриет. Ей захотелось встать и заговорить с ними, но внезапный приступ ужаса приковал ее к месту. Так вот отчего люди сходят с ума, подумала она, они сходят с ума от страха смерти. Но она почувствовала, как по ее лицу бегут слезы, и в смятении поднесла к щеке ладонь.

Фильм закончился. Над ее головой зажегся тусклый свет, и она оглядела грязное помещение, в котором сидела: на полу валялись окурки и пустые пакеты из-под сока, красный ковер был протерт до дыр, сиденья выпачканы и изорваны. И надо всем этим стоял знакомый резкий запах пыли и сигаретного пепла. В глубине по-прежнему стоял все тот же человек, и он, взглянув на нее, засунул руку в карман. Она взяла свою сумочку и медленно направилась к нему; он вытащил руку из кармана и глуповато на нее уставился. Она заметила, как тонки и белы его пальцы, но лишь проговорила оправдывающимся тоном:

— Люблю всплакнуть хорошенько на сон гря-

дущий. — А потом, перед тем как выбежать на улицу, прибавила: — Это всё неправда, вы же знаете. Это только фильм.

9

Чарльз Вичвуд пытался читать Жизнь Чаттертона Мейерстайна, но с левой страницы не сходило темное пятно, как будто кто-то стоял у него за спиной и отбрасывал тень на слова. Он закрыл книгу и, желая побороть панику, позвал:

— Эдвард! — Ответа не последовало, доносились только звуки телевизора. — Эдвард Недружелюбный! — Он неуверенно поднялся на ноги и прокрался в спальню. Там он увидел, что его сын стоит на голове, пытаясь удержать равновесие. — Прекрати! — закричал Чарльз. — Прекрати немедленно! — И, внезапно рассердившись, он сдернул его за ноги на пол. — Ты убьешь себя так!

Эдвард изумился.

— Почему это?

— Ты можешь повредить мозги. — Чарльз показал на собственную голову. Ты можешь их вытрясти.

— Но мне нравится смотреть на предметы вверх тормашками. — Он насупленно взглянул на экран телевизора. — Так все выглядит гораздо лучше.

— Но ведь мир-то не стоит вверх тормашками — правда, Эдвард Нераскаявшийся?

— Откуда ты знаешь?

Чарльз схватил сына и, к смущению последнего, принялся качать его на коленях.

— Ты был сегодня в уборной?

— Да.

— По-большому?

— Ну пап. — В последние несколько дней Чарльз буквально помешался на здоровье сына, а того это лишь раздражало.

— А ты съедаешь все свои школьные завтраки?

— Да уж конечно. — Эдвард отвернулся, чтобы тайком скорчить гримасу, но тогда его отец склонился над ним и принялся перебирать его волосы, будто ища вшей или блох. — Пап, оставь меня в покое. — Эдвард начал скатываться вниз, пока не очутился на животе.

— Ты же знаешь, я о тебе очень беспокоюсь.

— У тебя изо рта пахнет. Ты болен.

— Вовсе я не болен. — Чарльз пришел в бешенство, но так и не нашелся, что еще сказать. — Со мной ничего особенного. — Он поднялся — с некоторым трудом, — и вышел из комнаты.

Эдвард проворчал:

— Меня уже тошнит от тебя. — Но посмотрел на отца с тревогой.

Чарльз не раздумывая направился к телефону и позвонил Филипу в библиотеку; но когда его друг взял трубку, он не сразу смог вспомнить, что именно собирался сказать.

— Привет, это я, Вичвуд. Чарльз.

Бродяга в справочном отделе кричал: "Пару раз дунуть — и вылетишь из воды как миленький!", — и поэтому Филип не расслышал, что говорил Чарльз.

— Что-что?

— Я говорю, что с Чаттертоном дела обстоят отлично. И знаешь, что еще — нам надо по этому поводу лососнуть. Кутнуть. Нам надо устроить обед.

Филипу показалось, что Чарльз пьян, настолько смазанно и неуверенно звучала его речь.

— Хорошо.

— И это все, что ты можешь сказать — хорошо?! — Чарльз понял, что повышает голос. — Нет. Извини. Послушай. Я приглашу Эндрю Флинта. Я приглашу Хэрриет. И потом прочту им свое бредословие.

— Что?

— Предисловие. Я прочту им свое предисловие.

Оно уже целиком у меня в голове. — Чарльз облизал губы, которые внезапно сделались очень сухими. Все, что мне остается, — это надписать его. Подписать его. Чаттертон. Эдвард стоял в дверях и заметил, что во время разговора его отец медленно двигает головой из стороны в сторону. — Ладно, Филип. Сейчас мне пора уходить. Спасибо за звонок. — Он поставил на место телефон и стал смотреть в окно. Он по-прежнему стоял к Эдварду спиной, но мальчик видел, что его голова покачивается и заваливается набок. Затем он снял трубку и набрал другой номер. — Эндрю? Это я. Твой чосеровед. Чаттертон. — Во время разговора Чарльз складывал пальцы левой руки в кулак и колотил им по ноге. — Так я сказал насчет обеда? Верно. Давай на следующей неделе. В мятницу. Пятницу. Знаю, нам не надо терять друг друга из виду… — Наконец положив трубку, он разжал кулак и остался стоять посреди комнаты с опущенной головой. Наконец он обернулся и взглянул на сына, но какое-то время, казалось, не вполне понимал, кто это такой. Эдвард ничего не сказал, а только тихонько присвистнул и отправился обратно к телевизору.

На самом деле, Чарльз едва заметил присутствие сына, и теперь, с внезапной торопливостью,

устремился к своему письменному столу и на первом попавшемся клочке бумаги, найденном там, принялся писать: "Томас Чаттертон полагал, что может объяснить весь материальный и духовный мир посредством подражания и фальсификации, и он был настолько уверен в собственном гении, что позволил ему расцветать под чужими именами. Недавно обнаруженные документы свидетельствуют о том, что он писал под личинами Томаса Грея, Уильяма Блейка, Уильяма Каупера и многих других; следовательно, все наши представления о поэзии XVIII века нуждаются в пересмотре. Чаттертон хранил отчет о своих трудах в ящике, с которым никогда не расставался и о котором никто не знал вплоть до его смерти. Печальное паломничество его жизни..." Чарльз остановился, не зная, как дальше продолжать предисловие. Теперь он не мог вспомнить, откуда взялись все эти сведения — то ли из самих документов, то ли из биографий, которые одолжил ему Филип. Так или иначе, он заметил, что каждая из этих биографий рассказывала о каком-то своем поэте: даже малейшему наблюдению, сделанному в одной, противоречила другая, так что ни в чем не оставалось уверенности. Он чувствовал, что хорошо запомнил доводы био-

графов, но по-прежнему мало что понимает про Чаттертона. Вначале Чарльз досадовал на все эти разногласия, зато потом он только обрадовался: ведь это означало, что все возможно. Раз нет никаких истин, то истинно все. Чарльз опять вернулся к своему предисловию, но, прочитав слова: "Печальное паломничество его жизни", он воззрился на них в недоумении. Откуда они взялись? Он на миг закрыл глаза, будто перед ними пробежала тень, а потом почти сразу же принялся лихорадочно писать дальше. В ручке, которой он пользовался, кончились чернила, но ему так не терпелось продолжать, что он просто стал сильнее вдавливать перо в бумагу, чтобы слова процарапывались на ней. Внезапно перед ним ясно предстала целая жизнь Чаттертона, и он с удвоенной силой записывал свое откровение пустой ручкой. Он как раз завершил последнее предложение, когда зазвонил телефон, и, пребывая в воодушевлении, он поднял трубку с громким "Алло! Алло!", на манер какого-нибудь комика из мюзик-холла.

Или так, во всяком случае, показалось Хэрриет, которая ответила:

— Да-да! Я слушаю!

— Хэрриет?

— Да, а в чем дело?

Чарльз теперь совсем расслабился.

— Нет. Мне кажется, это вы звоните мне.

— Ну, это просто совпадение. — Хэрриет стояла на одной ноге, а второй отгоняла мистера Гаскелла, который норовил запрыгнуть на боковой столик, где была разложена всякая «вкуснятинка».

— Чудесный денек, Хэрриет? Апрель и ласка теплых ливней.

— Ты это брось, — Хэрриет обращалась к коту.

— Да нет. Правда.

— Я знаю, что правда. — Она попыталась объясниться: — Я просто разговаривала тут с мистером Гаскеллом.

— И он вам об этом рассказал?

Хэрриет громко расхохоталась, но потом резко остановилась.

— Чарльз, милый, мне нужно с тобой поговорить. — Она заколебалась, потому что не могла сразу решить — стоит ли ей упоминать о своей встрече с Вивьен накануне, поскольку собиралась действовать, как они с ней сговорились. — Я думаю, нам можно некоторое время попочивать на лаврах. А мемуары подождут, как ты думаешь? Мы сейчас оба такие усталые.

— Усталые?

— Ну да, утомленные, изможденные, заморенные, зачуханные, затраханные. — И потом добавила: — Разумеется, я все равно буду тебе платить.

Чарльз так упивался своей неожиданной способностью писать о Чаттертоне (последние несколько дней он только и делал, что смотрел в окно или спал), что он едва прислушивался к ее словам.

— Как хотите, Хэрриет, это уж вам решать.

— Думаю, что да. — Она снова поколебалась. — А как там с Чаттертоном?

— Ах да, кстати говоря… — Чарльз заулыбался Эдварду, который, заслышав перемену в отцовском голосе, вернулся в комнату. Он поманил сына и обвил его рукой за плечи, продолжая разговаривать с Хэрриет. — Кстати говоря, я задумываю торжество. Я почти что начал. Шпинат. Закончил. Я почти что закончил. — Он теснее обнял Эдварда, когда сын попытался вырваться.

— Хорошая новость.

— Я подумываю об ужине в местном индийском ресторане. В пятницу, на той неделе.

— Буду. Обожаю все острое. — Хэрриет высунула язык в отвращении. Люблю, когда жжется.

Эдвард уже вырвался из объятий отца, и теперь, чувствуя его возбуждение, маршировал по комнате и выкрикивал: "Пятница, тринадцатое! Пятница, тринадцатое!" Но он притих, когда Чарльз, положив телефон на место и вернувшись к своему столу, чуть слышно застонал. Слова, которые он недавно старался глубоко врезать в бумагу, куда-то исчезли, оставив лишь несколько дыр и полосок; все его мысли о Чаттертоне испарились. С намеренной неспешностью он вынул из ящика другую ручку; аккуратно положил чистый лист бумаги на стол; спокойно уселся на стул; и все это время он силился вспомнить — что же он успел записать. «Чаттертон», — написал он, а затем остановился. На улице играли дети; они выкрикивали словечки, словно взлетавшие вверх, к солнцу. Старый дом дрожал под тяжестью собственного веса.

Когда Чарльз поднял глаза, он увидел, что возле его стола стоит Эдвард; должно быть, он опять уснул.

— Привет, детка. В чем дело?

Некоторое время оба молчали.

— Пойдем прогуляемся, пап. — Он крепко прижал к бокам руки, а потом повторил выражение, которое часто слышал от матери: — Нам нужно

подышать свежим воздухом.

Он зашагал обратно в свою комнату, и Чарльз пошел за ним; тогда-то он и увидел, что на кровати лежит Чаттертон.

Когда первый миг слепого ужаса миновал, он понял, что это портрет Чаттертона: должно быть, пока он спал, Эдвард взял картину с прежнего места за письменным столом и водрузил сюда, поверх кровати. Он уже приготовился забрать картину, как вдруг сын поднял руку и остановил его.

— Я хотел, чтобы он уснул, — сказал он.

Чарльз по-настоящему заинтересовался.

— А почему он должен засыпать?

— Потому что он смотрел на тебя.

— Откуда ты знаешь?

— Разве ты не видишь? — Эдвард указал на портрет, и Чарльз на миг ощутил тревогу. — Разве ты не видишь, что он старается тебе навредить?

Чарльз подошел к холсту и отвернул его изображением к стене.

— Он не может мне навредить. Он умер.

— Откуда ты знаешь, папа? — Эдвард говорил медленно, словно его отец был ребенком, которого ему приходится убеждать очень ясными доводами. — Он ведь жив на картине, правда?

— Видеть — значит верить, — сказал Чарльз почти что самому себе. Он схватил Эдварда за руку. — Знаешь что? Давай так условимся: если я покажу тебе картину, где он мертв, тогда ты мне поверишь?

Эдвард засомневался, подозревая, что в этом вопросе таится ловушка.

— Ну, может быть.

— Давай же. Так и договоримся. — Его отец был очень настойчив. — Тогда ты поверишь, что он действительно умер?

Эдвард взглянул сначала на холст, потом на отца:

— Идет.

— Ну хорошо, Эдвард Неуверенный, тогда отправляемся в путешествие.

* * *

— Нет, это правда, Эдди. Твои волосы могут вставать дыбом. — Они вели серьезную дискуссию, сидя на верхнем этаже автобуса, который вез их к галерее Тейт. — Когда ты пугаешься, маленькие мышцы у корней волос сокращаются. И тогда волосы выпрямляются и встают дыбом. Смотри. Сейчас я тебе покажу. — Чарльз завращал глазами, пытаясь усилием воли приподнять

свои волосы; он и в самом деле почувствовал, как его скальп дрожит от напряжения. Но затем под черепом появилось и какое-то более неприятное ощущение, и он быстро откинулся на спинку сиденья.

— Получилось! — Эдвард пришел в возбуждение. — Ты их поставил дыбом! Они приближались к реке со стороны Оукли-стрит, и, когда автобус, повернув за угол, выехал на набережную Челси, Эдвард прижался лицом к запачканному окну. — Пап, посмотри-ка на этот мост! Он движется! — Дул сильный ветер, и мост Альберта слегка раскачивался между берегами. — Ведь это же опасно?

Чарльз и сам заметил, каким хрупким кажется мост: он как будто собирался рухнуть, грозя вот-вот треснуть или сломаться от напряжения, и внезапно Чарльзу представилось, как автомобили и пешеходы беспомощно падают в воду.

— Не говори глупостей, — сказал он сыну. — Разумеется, это не опасно. Ничего не случится.

Он оглянулся, как будто оправдываясь, на молодого человека, который сидел сбоку от них. Тот был одет в оливково-зеленый пиджак и расклешенные коричневые брюки, и эта старая, поношенная одежда болталась на нем столь

неуклюже, что можно было подумать, будто она досталась ему от кого-то другого. У него были длинные прямые волосы и слегка вытаращенные глаза, благодаря чему создавалось впечатление, будто он вечно пребывал в состоянии удивления или потрясения. Казалось, он улыбался какой-то своей потайной шутке, но, заметив интерес Эдварда к мосту, он сказал:

— А ты знаешь, когда его построили, а? — Эдвард покачал головой. — В 1873 году. Этот мост состоит из четырехсот отдельных металлических деталей, и каждую деталь изготовили в Боултеровской Литейной в Бирмингеме. Его строительство заняло два года и обошлось в семьдесят тысяч фунтов. Казалось, ему доставляло такое же огромное удовольствие делиться своими познаниями, что и обладать ими. — Это стало частью великих улучшений. Знаешь, было время, когда вся эта местность представляла собой настоящую пустошь. Сюда приходили бедняки в поисках угля или дров. Им же надо было чем-то топить. — У него была любопытная подкупающая улыбка, но Чарльз заметил, как нервно он теребил свои обтрепанные манжеты, пока говорил. — А речные берега были непролазными топями, хотя самые пропащие бедняки все-таки умудрялись здесь

жить. Надо ли скупиться на благословенья? — Он серьезно взглянул в глаза им обоим. — Вот моя остановка. Всего доброго.

— Надеюсь, мы еще увидимся, — сказал Чарльз.

Когда автобус снова тронулся, он поглядел вслед молодому человеку в заношенной одежде с чужого плеча, который зашагал к массиву муниципальных жилых домов возле реки.

— Этот человек хорошо знает историю — да, папа?

— Да, хорошо. — И он сразу представил себе, как тот, наверное, всю свою жизнь смотрит на этот мост из окна. — Некоторым людям нравится история. — Потом, к смущению сына, он обвил его рукой и обнял. — Здесь так уютно, правда? Как в самолете, когда летишь над облаками. — Он собирался сказать что-то еще, но тут увидел, что слева уже показалась галерея Тейт. Пошли, Эдди! Хватит мечтать. — Он с воодушевлением спрыгнул с места: — Мы приехали.

Но когда они подошли к ступенькам галереи, Чарльз замешкался: казалось, ему не хотелось входить внутрь здания. Тогда Эдвард уперся руками в его спину и принялся подталкивать его вверх. Зато, как только они очутились в вестибю-

ле, выяснилось, что Чарльз знает дорогу.

— Ну вот, — сказал он. — Сначала нам надо пройти через XIX век.

Эдвард не совсем понял, что отец имеет в виду, но последовал за ним в первую галерею; справа от него протянулись кривые улочки и ряды беленых домиков с розовыми ставнями и серыми крышами, а на стене слева мерцали пурпурно-изумрудные пейзажи. Впереди он уже видел маленькие комнатные интерьеры, иногда открывавшиеся в сад, где цветы словно насыщали красками воздух; а внезапно повернув, он увидел блестящую поверхность озера, в которой спокойно отражался вечерний свет. Чарльз уже исчез за поворотом, и Эдвард поторопился его нагнать; его ботинки поскрипывали по зеленому мраморному полу. Его отец стоял посреди галереи, увешанной очень крупными полотнами, и Эдвард взял его за руку; теперь и взрослого, и ребенка окружали ущелья, овраги, пропасти и буйные океаны.

— Это здесь, папа? — прошептал мальчик.

— Да нет еще. — Чарльз медленно повернулся, завороженный этими образами погибели. Казалось, яростные краски отделяются от холста и плывут навстречу ему. — Нет. Нам нужно забраться еще глубже.

— Еще глубже?

— Нам нужен Чаттертон.

Однако Чарльз и не подумал сдвинуться с места; он остался стоять, рассматривая картины, и тогда Эдвард направился к музейному служителю.

— Простите пожалуйста, вы не могли бы сообщить мне о Чаттертоне?

Служитель взглянул на задумчивого и встревоженного ребенка.

— Это картина?

— Думаю, что да.

Тот окликнул своего коллегу, прохаживавшегося у дверей: "Чаттертон?" А он, в свою очередь, крикнул другому: "Чаттертон?", пока этот вопрос не зазвучал эхом внутри белых стен. Когда таким же образом пришел ответ, Эдварда направили в 15-ю галерею — дальше по правой стороне, потом четвертая слева. И он вернулся к отцу, снова взял его за руку и повел вперед.

Они прошли мимо выставки портретов, и в первом зале недавних приобретений Чарльз заметил крупные человеческие фигуры в различных задумчивых или беспокойных позах: одни сгибались под тяжелой ношей, другие сидели заброшенные и отчаявшиеся. В следующем помещении он увидел портреты XVIII века,

где плотные и основательные фигуры людей господствовали над пейзажем, словно деревья; в третьем зале показались лица из XVII века, выглядывавшие из темных углов филенчатых интерьеров или улыбавшиеся в тени. В каждом лице Чарльз видел жизнь и историю; ему не хотелось покидать мир, в котором его собственное лицо было их спутником.

Они дошли до 15-й галереи, и Эдвард обернулся к отцу, который опять замешкался:

— Пошли, пап. Это уже наша.

Чарльз сделал глубокий вдох и быстро прошел мимо сына; даже не взглянув на другие полотна, он направился прямиком к картине, висевшей на дальней стене. Эдвард пошел за ним и увидел человека, лежащего на кровати со свесившейся до самого пола рукой.

— Вот он. — Чарльз наклонился и прошептал: — Теперь ты мне веришь? Он указал на подпись под холстом: "Чаттертон. Кисти Генри Уоллиса. 1856 г.".

Но сам Чарльз пока не хотел глядеть на изображенное тело. Вместо этого он выглянул из чердачного оконца на Брук-стрит — на дымящиеся крыши Лондона; он рассмотрел стоявшее на подоконнике растеньице, тонкие прозрачные ли-

стья которого слегка сворачивались на холодном воздухе; он заметил потухшую свечку на столе, и его взгляд поднялся выше, вдоль струйки ее угасающего дыма; он медленно повернул голову к деревянному сундуку с откинутой крышкой, а затем принялся считать клочки бумаги, разбросанные по дощатому полу. И лишь после этого он наконец взглянул на Томаса Чаттертона.

Но кто это стоял у изножья кровати, отбрасывая тень на тело поэта? А там лежал Чарльз, крепко стиснув левую руку на груди, а правую бессильно свесив на пол. Он почувствовал на лице дуновенье ветерка из открытого окна и открыл глаза. Он поднял взгляд и увидел, что над ним стоит Вивьен, и лицо ее в тени возле чердачного окна. Она плакала.

— Это не наше лицо, — говорил Эдвард. — У нас другое лицо!

— Да нет. — Чарльз слегка покачивался и поэтому, ища опоры, положил руку сыну на плечо. Ему было трудно дышать, и некоторое время он не мог говорить. — Да нет. Это Джордж Мередит. Он позировал художнику. Он притворялся Чаттертоном.

— Значит, он еще не умер! — торжествовал Эдвард. — Чаттертон не умер! Я был прав!

— Нет, — мягко сказал Чарльз. — Он еще не умер.

* * *

10

— Бараньи тантры очень недурны. — Чарльз Вичвуд обращался к остальным, собравшимся по его приглашению в назначенный день в ресторане "Кубла-Хан".[81] — Некоторые предпочитают Бхагават-Гиту, но это очень острое.

Хэрриет Скроуп пробежала пальцем по перечню блюд в истрепанном меню.

— Не вижу здесь ничего похожего.

Чарльз рассмеялся:

— Это я сам выдумал. Вы когда-нибудь слыхали о том, что поэзия — это пища любви?...

— A, ignis fatuus,[82] — пробормотал Эндрю Флинт, не обращаясь ни к кому в особенности. — Любопытное блюдо, вам не кажется, для крепкого желудка?

— Дайте мне острого, — говорила Хэрриет. — Обожаю все острое и крепкое.

— Корма, — ответил Филип Слэк красной бу-

---

[81] Примечания: 81

Кубла-Хан — название незаконченной поэмы (ок.1797) С.Т. Кольриджа (1772–1834), по уверениям самого поэта, созданной им "как бы в забытьи" после приема двух или трех капель опиума.

[82] Примечания: 82

Слепой огонь (лат.).

мажной салфетке, аккуратно сложенной возле его тарелки.

— Что вы сказали, мой дорогой? — Хэрриет решила быть особенно любезной с этим молодым человеком, который, по-видимому, приходился близким другом Вичвудам.

— Корма — острое блюдо.

— А, конечно же. — Она подмигнула ему. — Вы, верно, часто здесь бываете. — Индийские дудочки неожиданно заиграли очень громко, и Хэрриет принялась махать руками над головой. — Так делала богиня Кали,[83] — сказала она, — в стародавние времена.

Флинт продолжал изучать меню.

— Que faire?[84]

После проделанных упражнений Хэрриет слегка содрогнулась всем телом.

— Я уже сделала свой выбор. Я возьму баранину, приготовленную под ягнятину. — Она развернулась на своем стуле. — А где же мой джин?

---

[83] Примечания: 83

Кали ("черная") — в индуистской мифологии одна из ипостасей богини Деви, жены Шивы, олицетворение грозного, губительного начала его божественной энергии. Она носит шкуру пантеры и ожерелье из черепов; у нее четыре руки: в двух она держит отрубленные головы, а в двух других — меч и жертвенный нож.

[84] Примечания: 84

Зд.: На чем же остановиться? (фр.).

Официант же как раз подошел к столу и вмиг оказался возле нее с заказанной выпивкой. — Ах, как вы меня напугали. Я уж подумала, что вы — лорд верховный палач. Официант не понял ее, но поклонился и улыбнулся. — А теперь можно мне ложечку? — спросила она его.

— Извините, пожалуйста. Лед, вы сказали, пожалуйста?

— Нет. Лож-ку. — Она повторила это слово медленно и отчетливо, вдобавок нарисовав в воздухе очертания ложки. — Чмок-чмок.

Флинта так смутило ее поведение, что он нагнулся через столик к Вивьен и решительным голосом спросил:

— Насколько я понимаю, вы работаете в галерее?

Вивьен Вичвуд была очень спокойна. Перед уходом в ресторан у Чарльза кружилась голова, казалось, он был близок к обмороку, и весь вечер она наблюдала за ним, опасаясь признаков напряжения или слабости.

— Я? — переспросила она. Казалось, ее удивило любопытство Флинта. — Ах да, я работаю у Камберленда и Мейтленда. Ну знаете, на Нью-Честер-стрит… — Ее голос постепенно угас.

— В самом деле? Вот уж не знала, — отчеканила

Хэрриет, чтобы напомнить Вивьен, что они с ней якобы не встречались там раньше — и уж тем более не говорили о том, как бы отобрать у Чарльза Чаттертоновы рукописи. — Ну надо же — в галерее! Кто бы мог подумать! — По ее тону можно было решить, будто речь идет о скотобойне, но Вивьен ее не слушала. Она снова тревожно смотрела на мужа, который двигал головой из стороны в сторону, явно испытывая какое-то неудобство. Хэрриет проследила за взглядом Вивьен.

— У тебя, видно, — обратилась она к Чарльзу, — пчелка в шляпке завелась.

— Да нет. Ничего подобного. — Чарльз улыбнулся и помотал головой, словно прогоняя свою боль. — Мед я люблю, а вот пчел нет.

— А-а, гедонист, — поспешил вставить Флинт, подавшись вперед. По его лбу струилась узкая полоска пота.

Чарльз ничего не ответил, и Флинт нервно обернулся к Вивьен:

— Имейте снисхождение к моему невежеству, но не в вашей ли галерее я видел работы Сеймура?

— Ха! — Хэрриет отложила меню, которым обмахивалась как веером. — Я бы на вашем месте

была поосторожнее. — Но потом — уловив тревогу Вивьен, испугавшейся, как бы ее откровения по поводу тех картин не были преданы сейчас огласке, — она прибавила: — Цены, знаете ли, кусаются.

— Caveat emptor,[85] я полагаю?

— Что это значит? Берегитесь собаки? — Хэрриет, сама того не заметив, слегка оскалила зубы.

Флинт прокашлялся.

— Ну, нечто в этом роде, mutatis mutandis.[86]

— Ad nauseam,[87] — пробормотала она. Внезапно почувствовав угнетение, она поглядела на кричащие зелено-золотые обои, на фиолетовые занавески, скрывавшие выходы на кухню и в две крошечные уборные, на красный ковер в пятнах от пищи и вина, на серую скатерть, уже мокрую от джина, который она пролила в возбуждении. — Вы знаете мою подругу Сару Тилт? Знаменитую критикессу? — спросила она, и все остальные притихли. — О художниках ей известно все на свете. — Она заметно оживилась. — Но

---

[85] Примечания: 85
Да остережется покупатель (лат.).

[86] Примечания: 86
Зд.: более или менее (лат.).

[87] Примечания: 87
До тошноты (лат).

что ей действительно нужно — так это ручной мальчик-с-пальчик. — Она произнесла это выражение с большим апломбом; на самом деле оно встретилось ей в Дейли-Мейл, которую недавно пролистывала в приемной у зубного врача. Все посмотрели на нее с изумлением. — К чему тут миндальничать? — продолжала она. — Надо смотреть фактам в глаза. Она же не картина в раме.

Филип прокашлялся, пытаясь привлечь ее внимание к официанту, уже давно стоявшему возле стола — с того самого момента, когда Хэрриет вздумалось обличать свою подругу. Во внезапном порыве все снова взялись за свои меню.

— Ну что ж, посмотрим, — начал Флинт. — Отважусь ли я съесть персик?

Чарльз вытянул руку.

— Нет, — сказал он. — Заказывать буду я. Ведь это я всех угощаю.

— Тогда мне еще один джин, — быстро сказала Хэрриет официанту, который уже проникся духом всего происходящего и широко улыбался.

— С прибором, пожалуйста?

— Кто-то уже совсем свеженький, — сказала она. Но продолжала улыбаться и кивать, пока он принимал от Чарльза заказы на цыпленка-

тикка, баранину-тандури, цыпленка-корма, два овощных бирьяни и — в качестве закуски — на пападомы. — И не забудьте про вино, — добавил Чарльз.

— И про джин! Джинчик, джинчик — скок в графинчик!

Когда принесли вино, Чарльз поднял свой стакан.

— За Чаттертона! — провозгласил он. — За поэта и все его творения!

Флинт склонился к Вивьен.

— Это он почему про Чаттертона? Про Томаса, если не ошибаюсь?

Хэрриет послала ей пронзительный взгляд. Им она словно говорила (и Вивьен прекрасно ее поняла): если мы хотим спасти Чарльза, если мы хотим избавить его от всех этих чаттертоновских наваждений, — нам надо все это держать в тайне. Поэтому Вивьен просто сказала:

— Не знаю, в самом деле. Не знаю, о чем это он.

— Открытие, — тихим голосом сообщил Филип своей пустой тарелке. Великое открытие.

— Что? — не расслышал Флинт.

— Скажите-ка мне, Эндрю… — Хэрриет молниеносно повернулась к Флинту. — Можно мне называть вас Эндрю? Над чем вы сейчас работае-

те? Мне бы очень хотелось узнать.

Этот вопрос, как всегда, раздосадовал его.

— Mea culpa… — начал он.

— Что это, роман или биография?

— Ну, я сейчас пишу биографию. — Флинт сглотнул; ему было трудно рассказывать что-либо о своей деятельности, которая ему самому представлялась всего лишь некой дырой, через которую он куда-то падает. Джорджа Мередита — ну, знаете…

— Да, хорошо знаю. Его жена еще вроде бы крутила роман с тем художничком? Мне всегда казалось, что он был жутким простофилей — просто так ее взять да отпустить!

— Ну, я бы этого не осмелился утверждать.

Хэрриет взглянула на него с высокомерием.

— Думаю, вы бы вообще ничего не осмелились утверждать.

Флинт покраснел и уже приготовился ответить, но тут перед ним поставили металлическое блюдо, наполненное какой-то коричневой жидкостью. Он увидел одну-две горошины, плававшие на ее поверхности, да томатную мякоть, медленно закружившуюся, когда официант помешал ее вилкой.

— Бирьяни, сэр, — сказал он. — Очень вкусно.

Хэрриет издала нечто вроде кудахтанья.

— "Мое сердце схороните на израненном колене"? Это ведь тоже про индийцев, верно?

Официант рассмеялся вместе с ней и, решив, что вся эта трапеза — одна большая шутка, стал нетерпеливо наблюдать за реакциями остальных, принося им заказанные блюда одно за другим.

Хэрриет склонилась над столом и принялась обнюхивать плоское блюдо с цыпленком-тикка, так близко поднеся нос к кусочкам куриного мяса, что на миг они сделались неотличимы.

— Это лакомство, — изрекла она с некоторым удовлетворением, — выглядит так, как будто уже побывало черт знает где.

Вивьен положила риса на тарелку Чарльза; тот поглядел на нее и улыбнулся, но не обратил внимания на еду: казалось, ему нравилось просто наблюдать, как едят остальные. Он поднял свой бокал с вином и поглядел сквозь него на своих сотрапезников, на секунду увидев их лица красными и растянутыми.

— Видишь ли… — казалось, он говорил с женой. — Видишь ли, поэзия никогда не умирает. Вот — биограф, который пишет о Джордже Мередите. И поэт продолжает жить. — Его слова

звучали размыто, и он ненадолго прервался, прежде чем снова заговорить: — Это я и сказал про Чаттертона. Знаете, Хэрриет, мне удалось-таки закончить предисловие…

Но та перебила его, торопливо завязав разговор с Филипом:

— Я слышала, вы работаете в библиотеке, друг мой. Скажите-ка, сколько моих книг у вас имеется? Ну, приблизительно, конечно. — Она явилась на сегодняшний обед, ожидая увидеть только Чарльза и Вивьен (она приняла это приглашение с намерением приступить к выполнению плана, который они с Вивьен придумали в Сент-Джеймском парке), и присутствие Эндрю Флинта и Филипа Слэка выводило ее из равновесия. Поэтому она пила больше обычного.

— У нас имеются они все, мисс Скроуп.

— Хэрриет. Уж библиотекарю-то можно называть меня просто Хэрриет. Чтоб вы не думали, будто я всего лишь книжка. — Тут она плотно прижала руки к бокам, втянула щеки и закрыла глаза.

Филип забеспокоился и стал в отчаянии оглядываться по сторонам, ища от кого-нибудь разъяснения, но все были заняты разговорами. Потом Хэрриет открыла глаза и улыбнулась ему.

— Я пыталась изобразить тоненькую книжку, Филип. Можно называть вас Пип?[88] Так более литературно звучит, вам не кажется? — Официант принес ей третью порцию джина, не дожидаясь заказа, и она, величественным жестом протянув ему ложку, поднесла стакан прямо к губам. И держала его так довольно долго. — Меня любят, — сказала она наконец, протягивая пустой стакан официанту. — Публика прижала меня к своему трепетному сердцу и не желает больше отпускать. Я пыталась — да, Богу известно, как я пыталась вырваться. Но куда там. Я им нужна! Я нужна им с потрохами! Они меня лопают — а им все мало. — Она дотронулась до себя. — И я еще ни разу не давала своей публике по мордасам. Ни разу! Могу я еще немножко выпить — вы не возражаете? — Филип совершенно не мог взять в толк, о чем она говорит — да и она сама тоже этого не понимала, — но он украдкой подал знак рукой, чтобы ей принесли очередную выпивку. — Скажите-ка, Пип, а вы что-нибудь пишете? Джин! — Официант неверно истолковал жест Филипа и принес блюдечко с манговым чатни. — Матушке каюк!

---

[88] Примечания: 88

Пип (Филип Пиррип) — главный герой романа Ч. Диккенса "Большие ожидания" (1860/61).

Филип изучал непрошеный чатни.

— Однажды я пробовал написать роман, — сказал он.

— Это хорошая новость. — "Наверно, нынче все пишут романы", — подумала она.

— Но у меня не вышло. Я его бросил…

— Дайте-ка взглянуть на ваши руки, дорогой мой. — Он нерешительно протянул ей руки для осмотра, и она схватила их, намертво стиснув кончики его пальцев. — Я так и знала, — сообщила она торжествующе. — Это руки писателя. Вы только посмотрите на эту линию сердца. — Она провела пальцем по названной складке. — Она и не думает заканчиваться, а? — Хэрриет закатила глаза.

Официант принес целую бутылку джина и поставил ее на стол. Наполняя стакан Хэрриет, он стоял рядом и прислушивался к их краткому разговору.

— Я тоже имею роман, — сказал он. — Хороший книга.

— А кто ее написал? — резким тоном спросила Хэрриет.

— Нет, сэр. Это мой идея. — Хэрриет, ужаснувшись, поняла, что и у официанта есть своя история. — Приятный скромный человек, пра-

вильно? — Он стоял выпрямившись и лучезарно ей улыбался. — И вот, этот приятный человек не хочет выделяться от других, ясно? Слишком скромный. — Хэрриет протянула стакан, и он, продолжая говорить, наполнил его. — Но он тоже странный. Очень странный человек. — Он затряс головой. — А знаете почему? — Он едва сдерживался. — Он очень странный, потому что он пытался быть совсем как другие люди. В точности как все. Хороший история, правда?

Хэрриет пришла в изумление.

— Полагаю, — сказала она, — это и есть так называемый магический реализм.

— Exegi monumentum aere perennius...[89] — цитировал Флинт.

— Нет, Эндрю, это правда. — Чарльз вел с ним горячий спор. — Поэзия это действительно прекраснейшее искусство.

Флинт неожиданно разозлился:

— И что же это означает, скажи на милость?

— Она живет. — Чарльз на миг прикрыл глаза.

— Типично романтическая позиция. А я не романтик. — Флинту с самого начала не хотелось приходить на этот званый обед, и он принял

---

[89] Примечания: 89

"Создал памятник я, бронзы литой прочней..." (Гораций, Оды, III, 30,1. Перевод С. Шервинского.).

приглашение только потому, что боялся показаться невежливым по отношению к Чарльзу; но теперь он просто бесился на себя за то, что явился сюда. — Разве ты не понимаешь, — сказал он, — что ничего теперь не остается? Все моментально забывается. Нет больше истории. Нет больше памяти. Нет больше критериев, которые поощряли бы постоянство — есть лишь новизна, весь этот нескончаемый цикл новых предметов. И книги — это просто предметы, объекты потребления, которые используют и потом выбрасывают. — Разозлившись, Флинт впервые за весь вечер заговорил откровенно. — И поэзия ничем не лучше. Поэзия — тоже предмет для легкого потребления. Что-то такое случилось при жизни нынешнего поколения — не спрашивай, почему. Но поэзия, художественная литература, все это добро — оно больше ничего не значит.

— Если бы я так думала, — сказала Хэрриет, — я бы застрелилась! — Она приставила к правому виску большой и указательный пальцы. — Матушка раз — и пиф-паф! — прибавила она для официанта.

— Нет, — мягко оказал Чарльз. — Кое-что все-таки остается.

Но Флинту не терпелось высказать собственное

суждение:

— Да, остается. Но разве ты не понимаешь, что это всего лишь еще одна разновидность смерти? Каждый год выходит пятьсот сборников поэзии — и они громоздятся в библиотечных хранилищах или просто собирают пыль на полках. Филип задумчиво взглянул на свои руки. — Да, они сохраняются, но лишь как напоминание обо всем том, что так и остается непрочитанным — и никогда не будет прочитано. Памятник людскому тщеславию и людскому равнодушию. Когда я вижу эти груды загубленной бумаги, загубленного времени, меня начинает тошнить. — Пока Флинт говорил, Чарльз встал и неуверенным шагом направился к одному из занавешенных альковов. Он приложил руку ко лбу, и Вивьен приподнялась со стула, тревожно глядя ему вслед. — Любое современное произведение живет месяца три. И все. — Флинт уже несколько успокоился. Мы не можем думать о потомках. Никаких потомков не существует. По крайней мере, я их не вижу.

— Как вы думаете, Чарльз помнит, что платить ему? — прошептала Хэрриет Филипу. — Он вроде как выпимши.

Но Филип смотрел на Флинта, крепко стиснув руки.

— А что же ты тогда видишь?

Флинт замолк и впервые всмотрелся в худое и сумрачное лицо Филипа.

— Что я вижу? Не знаю. — Теперь он говорил оправдывающимся тоном. — Да ничего я на самом деле не вижу. — Он достал носовой платок и вытер пот с крыльев носа.

— Не будь таким мрачным, Эндрю. — Это вернулся Чарльз и похлопал его по плечу.

— Извини.

— Нет, не надо. Незачем тут извиняться. Все мы сумеем найти себе место под солнцем.

— Неправда.

— Что ты сказал, Филип?

— Я сказал, что он не прав. Эндрю не прав. — Филип по-прежнему был очень скован, и Хэрриет забавлялась, наблюдая, как он напряженно склоняется вперед.

— Я знаю, что он не прав. — Чарльз нахмурился, как будто заслоняя глаза от слабого света ресторанных ламп. — Разумеется, слова выживают. Иначе как бы Чаттертоновы подделки превратились в подлинную поэзию? — Он опять ненадолго замолчал, медленно растирая рукой лоб. — И есть строки столь колдовские, что они изменяют все.

— Назовите хотя бы две, — шепнул Флинт Хэр-

риет.

Они оба много выпили и теперь чувствовали себя в некотором роде заговорщиками по отношению к остальным.

— Наверно, смертный приговор Жанне д'Арк, — прошептала она в ответ.

— Ребенок может прочесть какое-нибудь стихотворение, и вся его жизнь переменится. Это я знаю по себе. — Чарльз смотрел на Вивьен, словно обращался только к ней, и она положила ладонь на его руку. — Вот почему это так удивительно — иметь призвание поэта, ведь это призвание с самого детства, которое ничто не может изменить. Ни один поэт до конца не теряется. Он всегда надежно носит с собой тайну своего детства, словно какую-то потайную пещеру, где он может преклонить колени. А когда мы читаем его стихи, то и мы можем встать там рядом с ним.

— А я-то думал, — опять зашептал Флинт, обращаясь к Хэрриет, что красноречие считается мертвым искусством.

— Так оно и есть.

Чарльз оглядывал зал ресторана с видом крайней сосредоточенности.

— И существует подлинная поэзия, потому что существуют подлинные чувства — чувства,

которые затрагивают всех. Помните вот это? — Он запрокинул голову и принялся цитировать странным певучим голосом:

Прежний где певун? – Уж пал,
С перстью смешан он земной,
Как и те, кто встарь внимал
Давней песенке со мной.

Потом он рассмеялся и потер глаза.

— Если поэзия лишена всякого значения, Эндрю, то почему есть люди, которые находят единственное утешение в чтении стихов? Почему иные поэты становятся единственными спутниками одиноких или несчастных людей? Почему они обретают в книгах нечто такое, чего им не может дать ничто другое в этом мире? Ты не знаешь, почему? — Флинт только поглядел на него и ничего не ответил. — И почему еще, Эндрю, некоторые люди всю жизнь пытаются стать писателями или поэтами, пусть им и стыдно показывать свои сочинения другим? Почему они все-таки продолжают свои попытки? Почему они пишут и пишут, пряча свои стихи или рассказы, как только те завершены? Откуда же берется их мечта? — Вивьен взяла Чарльза за руку, но тот не заметил ее движения. Я расскажу тебе, в чем

дело. Это мечта о цельности, мечта о красоте. Это видение способно прогнать любое томление, любое несчастье и любую болезнь. И это видение — реально. Я знаю. Я его видел — и я болен. — Вивьен посмотрела на него с изумлением, потому что раньше он никогда не сознавался в своей болезни, признаки которой теперь она явственно замечала на его лице. Он повернулся к ней и улыбнулся. — Прости, любимая, — сказал он. Мне жаль, что ты так намаялась со мной. Я старался как мог, но вышло не очень хорошо — верно?

Его внимание отвлек некто, стоявший у нее за спиной, и он сделал попытку подняться со стула, пробормотав: "Да, конечно. Я тебя прекрасно знаю". Но тут он упал, рухнув рядом со стулом на ковер «Кубла-Хана».

* * *

11

Проснувшись, он обнаружил, что сидит у открытого окна: за ним виднелись крыши домов, блестевшие влагой после внезапного ливня, а поверх них возвышался огромный выпуклый купол, медленно превращавшийся в дым. На улице, прямо под окном, замерла, а потом рухнула наземь голубая лошадь. Чарльз открыл рот, чтобы заговорить, и солнечный свет с рыканьем залил стену белого здания; перед ним стоял юноша, улыбавшийся и указывавший на книжку, которая была у него в правой руке. "Как на картине", — сказал он, и все куда-то исчезло. Чарльз удивленно повернул голову и понял, что его куда-то несут на кровати или на носилках. Сбоку от него разговаривали, и он отчетливо расслышал: "На нем была старая одежда, как и на всех остальных".

Он открыл глаза и увидел Эдварда, стоявшего у изножья кровати. «Привет», — сказал он, но не услышал собственного голоса. Затем вдруг левая половина его сына начала распадаться, будто мальчик у него на глазах проходил стадии юности, старости, смерти и разложения. Чарльз

попытался поднять руку, чтобы заслонить это зрелище, но не смог ею шевельнуть. Тогда он закрыл глаза. Но так, должно быть, он пролежал недолго, потому что, вновь подняв взгляд, увидел Эдварда на прежнем месте.

— Мам, — сказал тот, — он уже проснулся.

Над Чарльзом склонилась Вивьен, но он видел ее как-то нечетко; казалось, будто левая сторона его лица погружена в тень и он может лишь с надеждой выглядывать из этой тьмы.

— Врач тебя осмотрел, — говорила она. — Тебе нашли кровать. — Чарльз с трудом вслушивался в слова: ему почудилось, будто несколько голосов прошептали: "Его нашли в твоей кровати", — и он посмотрел на нее в ужасе.

— Тебе все еще больно, любовь моя? Тебе сделали укол. — Пока Вивьен говорила, Чарльз вдруг понял, насколько она неповторима: понадобилась целая вселенная, чтобы спрясть ее — точно так же, как эта же вселенная распрядала теперь его самого. Я старался, я старался выдюжить. Я и не знал, как легко поддаться. Но во рту у него пересохло, и он ничего не сказал.

— Вот, пап, твои бумаги. — Эдвард протягивал исписанные Чарльзом листки: он принес их потому, что не знал, как еще помочь ему, а еще потому,

что он знал: это самое важное в жизни отца.

Но Вивьен отобрала их.

— Не сейчас, — сказала она. — Еще не время. Ему нужно отдохнуть.

Но они напомнили Чарльзу о чем-то, что осталось незавершенным. «Чаттертон», — попытался выговорить он.

— Частый звон? Что, милый, у тебя в ушах звенит?

— Мам, его язык совсем не слушается. — Эдвард говорил очень медленно, стараясь не поддаваться панике при виде отца, беспомощно лежащего на кровати.

— Не тревожься. — Голос Вивьен звучал очень спокойно. — Он обязательно поправится.

— Нет, мама. Не поправится.

Та поднесла палец к губам, чтобы он замолчал.

— А теперь помоги мне поставить ширму вокруг его кровати.

Нет ни прошлого, ни будущего, а есть только вот этот миг, когда я вижу их обоих — мою жену и моего ребенка, спокойно беседующих; они зовутся живыми, и к ним применимо число два. «Едва», — казалось, произнес он.

Над его кроватью находилось окно, и Вивьен склонилась вперед, чтобы поднять жалюзи; и

в больничную палату прорвались рассветные лучи.

* * *

Когда в ресторане «Кубла-Хан» Чарльз пробормотал: "Я тебя прекрасно знаю", Хэрриет Скроуп на миг подняла взгляд и увидела очертания какого-то юноши, улыбавшегося и склонявшегося к нему. Ее настолько это ошеломило, что в минуту всеобщего смятения, вызванного падением Чарльза, она выхватила из рук официанта бутылку и налила себе еще две большие порции джина. Вивьен в ужасе смотрела на лежащего без чуства мужа, а Филип сразу же поднялся и встал на колени около него, нащупывая пульс. Всякая деятельность в ресторане остановилась, и в воцарившейся тишине Филип сказал официанту:

— Думаю, вам надо вызвать скорую помощь.

— Мигом, сэр. Девять-девять-девять.

Теперь и Вивьен встала на колени рядом с Чарльзом; она сняла жакет и, свернув, бережно подложила мужу под голову. Хэрриет продолжала глазеть на то место, где ей привиделся тот юноша, и лишь когда Чарльза уложили на носилки и понесли к машине, ждавшей на улице, она наконец прочувствовала ситуацию. Она отстави-

ла пустой стакан и тоже вышла из ресторана.

— Рядом с ним должны находиться женщины, — громко сказала она Флинту. — Ему нужна материнская забота! — Вдобавок, ее никогда не возили в карете скорой помощи, и ей было любопытно взглянуть, что там внутри.

— Присмотри за Эдвардом, — крикнула Вивьен Филипу, а потом тоже исчезла в машине.

Как только они доехали до больницы Св. Стефана, Чарльза увезли на каталке. Как тележка с десертами, подумала Хэрриет. Интересно, что там у них было на сладкое, в этом жутком ресторане?

— Идите за ним, — сказала она Вивьен, которая и так уже спешила вслед за мужем. — Я постерегу крепость. — И с меланхоличной степенностью она уселась в почти пустой приемной. Она начала листать старый номер Женского царства, лежавший на стуле слева от нее, и лицо ее принимало все более хмурое выражение.

— Вы из-за чего пришли? — Она вздрогнула, услышав этот вопрос, и, оглянувшись, увидела пожилую женщину, сидевшую позади нее, где стояли другие ряды стульев. — Из-за пьянства, да? — Она принюхалась к запаху, который распространялся вокруг Хэрриет.

— Ничего подобного. Я лишь изредка позво-

ляю себе пропустить стаканчик шерри. — Она подалась вперед. — Собственно, я пришла сюда потому, что хочу сменить пол.

Она собиралась сказать что-то еще, но тут к ней выбежала Вивьен.

— Ему делают рентгеноскопию мозга, — сказала она полным отчаяния голосом.

— А что с ним такое?

— Они не знают. Думают, что это может быть удар.

— Удар? — переспросила Хэрриет: ей внезапно представился ее кот, сердито выгибавший спину и топорщивший шерсть, когда она грозила ему кулаком. — Как это — удар?

Вивьен закрыла лицо руками и так простояла несколько секунд; в глубине коридора слышался детский плач.

— Я думаю, Эдварду нужно приехать сюда, — вот все, что она сказала, снова взглянув на Хэрриет широко раскрытыми глазами.

* * *

— Он всегда дожидается их, — прошептал Филип Флинту, когда они преодолели последние ступеньки и подошли к квартире Вичвудов. Они явились сюда прямо из ресторана. — Они никогда

не задерживаются. Как правило.

— Кто там? — Эдвард, по-видимому, стоял за запертой дверью, когда Филип постучал.

— Это Филип. — Он прокашлялся, не зная, как приступить к неизбежным объяснениям.

Эдвард приоткрыл дверь и, с любопытством бросив взгляд на Флинта, спросил:

— А где папа?

Филип изо всех сил старался изображать бодрость.

— Он неважно себя почувствовал, и мама отвезла его в больницу.

А Флинт добавил:

— Он скоро вернется.

Эдвард поглядел на них с подозрением, а потом, открыв дверь полностью и впустив их, пошел в свою комнату, не сказав больше ни слова; перед их приходом он смотрел телевизор, и теперь Флинт увидел, как на экране показался раскрытый рот, а потом чья-то рука. Он лишь с умеренным любопытством оглядел остальное убранство квартиры, и ему тут же вспомнились университетские комнаты Чарльза. Плакаты на стенах, дешевый сосновый стол, продавленный диван с индийским ковриком, наброшенным на него, — все эти предметы по-прежнему дей-

ствовали на него угнетающе. Потом он заметил портрет, прислоненный к письменному столу Чарльза, и что-то в лице изображенного приковало его внимание.

— Кто это?

Филип, тяжело рухнув на диван, смотрел в сторону комнаты Эдварда.

— Это Чаттертон, — ответил он, не оборачиваясь.

— Не может быть. Он слишком стар.

Филип внезапно ощутил усталость.

— В том-то все и дело. Видишь ли, Чарльз нашел кое-какие бумаги…

Тут в комнату возвратился Эдвард. У него было очень бледное лицо.

— А когда папа обещал вернуться? — Он почесал ногу.

— Он точно не сказал. — Филип снова прокашлялся. — Но мама говорила, что пробудет там не очень долго.

— Ну сколько?

— Не слишком долго.

Флинт, скованный горестным видом мальчика, неловко держал перед собой портрет.

— Это он! — Эдвард показывал пальцем на Флинта. — Это он во всем виноват!

— Я? — Из-за внезапной тревоги голос Флинта прозвучал на полтона выше обычного.

— Нет. Не вы. Тот, на картине. — Флинт ошеломленно посмотрел на картину. А Эдвард обратился за поддержкой к Филипу. — Мы его и в галерее видели. Папа тебе не рассказывал? — Эдвард подошел и выхватил холст из рук Флинта. Он уже собирался зашвырнуть его в угол, но Филип поднялся и остановил его.

— Не надо, Эдди. Не делай этого. Твоему папе он еще понадобится.

— Так значит, с ним ничего страшного?

— Нет.

Эдвард торжествующе улыбнулся, добившись от него такого ответа.

— Я так и знал! — сказал он.

И в эту минуту из больницы позвонила Вивьен.

* * *

Чарльз опустил руку и дотронулся до голого деревянного пола; ощутив зернистую поверхность древесины, он провел пальцами по краям досок. Костяшками пальцев он коснулся чего-то легкого — вроде мышиного скелетика или дохлой птички, — и пыльного, но потом понял, что это

комок грубой бумаги, на которой он давеча писал. Рядом лежал еще один комок, и еще; по полу были разбросаны клочки разорванных стихов, которые он писал накануне. В этих стихах он пытался высказать, что время — это всего лишь цепочка смертей, следующих одна за другой, которая образует сноп света посреди огромной иссушенной равнины; но в голове его настырно раздавались чужие голоса, звучали чужие стихи.

Тогда он изорвал свои стихи и бросил клочки на пол, а теперь, вытянув с кровати руку, нащупал их… а когда боль возвратилась, он заплакал. Он лежал лицом к стене, но все же с большим трудом ему удалось повернуть голову, чтобы взглянуть на свою последнюю комнату в жизни; и он увидел ее всю: распахнутое чердачное окно, увядающий розовый кустик на подоконнике, пурпурное пальто, перекинутое через стул, потухшая свеча на столике красного дерева. Вокруг него стояли люди, и его охватил ужас.

— Нет! — вскричал он. Он готов был умолять их. — Этого не должно произойти. Это все неправда. Мне не следует здесь находиться. Я уже видел это раньше, и это наваждение!

— Мам, у него веки шевельнулись.

— Думаю, он сейчас просыпается. — Вивьен, не

сводя глаз с лица мужа, одной рукой держалась за Эдварда.

Чарльз открыл глаза и воззрился на нее; нестерпимо глубокая синева его глаз на миг даже испугала ее.

Он различал очертания жены, склонившейся над ним, и ее окружал свет; сын тоже ярко светился, и, пока душа Чарльза покидала этот мир, их души обменивались прощальным сияньем. В этот миг узнаванья он улыбнулся: ничто так и не утеряно, но все же это последний раз, когда он их видит, последний раз, последний раз, последний раз, последний раз. Вивьен. Эдвард. Я повстречал их где-то по дороге. Мы вместе путешествовали.

"Я буду скучать без вас", — попытался он сказать; но губы его не шевельнулись. Чарльз умирал, а Филип в библиотеке писал «Да» в своем блокноте; Чарльз умирал, а Флинт, склонив голову, читал Исповедь англичанина, употребляющего опиум[90] в бумажной обложке; Чарльз умирал, а Хэррие победно сжимала в объятьях своего кота; Чарльз умирал, а Пэт бежал трусцой вокруг церкви Св. Марии Редклиффской; Чарльз

---

[90] Примечания: 90

Исповедь англичанина, употребляющего опиум (Confessions of an Englise Opium-Eater) — роман (1821) английского писателя Томаса Де Квинси (1785–1859).

умирал, а мистер Лино, насвистывая, протирал бронзовую фигурку Дон Кихота верхом на Росинанте. Его правая рука повисла плетью, кисть касалась пола, а пальцы крепко сжались; голова тоже завалилась вправо, грозя соскользнуть с больничной койки. Его тело выгнулось в последнем спазме, содрогнулось, а потом затихло навсегда.

* * *

12

Рано утром Эндрю Флинт явился к крематорию в Финсбери-Парке. Служба по Чарльзу Вичвуду должна была состояться в Западной часовне — незатейливом кирпичном здании, которое напомнило Флинту общественную баню; но ее двери были еще на замке. Должно быть, внутри кого-то еще сжигали; и он с некоторым облегчением повернулся назад и, пройдя под аркой, направился к каким-то садам, где свежеподстриженные лужайки и тщательно выложенные цветочные клумбы сулили утешение для глаза. Потом он заметил рядом с кустами рододендрона табличку с надписью: "Участок захоронений № 3. Просьба по траве не ходить". Смерть Чарльза была столь неожиданной, что Флинту все еще казалось, будто это шутка: если бы тот вдруг со смехом появился из-за этих кустов, он бы нисколько не удивился. По правде говоря, он даже ждал, что это случится. И в ожидании он стоял на посыпанной гравием дорожке между часовней и лужайками.

Внезапно он уловил краем глаза какое-то движение, и, присмотревшись внимательней, он

увидел женщину, которая стояла на коленях около клумбы и явно копалась голыми руками во влажной и холодной земле. Когда она встала, неловко вытирая руки о свое черное платье, Флинт понял, что это Хэрриет Скроуп. Теперь она тоже его узнала и закричала издалека:

— Не позволяйте мне прикасаться к вам! У меня грязные руки! — Подойдя поближе, он увидел, что она держит за корешки цветок герани. — Мне нужен был отросточек, пояснила она и засунула его в свою сумочку.

Флинт рассмеялся и кивнул, как будто именно так и полагается вести себя, находясь возле крематория.

— Flos resurgens,[91] полагаю? Какая чудесная герань.

— Еще бы, дорогой вы мой. Они ведь растут из праха усопших.

— Ну да. — Флинт вздохнул. — Suspiria de profundis.[92]

Они молча зашагали по гравийной дорожке, а потом Хэрриет сказала:

---

[91] Примечания: 91

Цветок воскресающий (лат.).

[92] Примечания: 92

Воздыхания из бездны (лат). Так называлась книга Т. Де Квинси, написанная в 1845 г.

— Это напоминает мне сцену из "Виллет".[93]

— В самом деле? — осторожно осведомился Флинт; он никогда не читал этого романа.

— Ну помните, когда Люси Сноу бродит по гравийной дорожке в поисках монахини-призрака.

— Как метко. — Он поспешил переменить тему и указал на Западную часовню с запертыми дверями и окнами с опущенными ставнями. — Зловещее здание, n'est-ce pas?[94] Почти вавилонское.

— Не знаю, в тех краях не была. Я дальше Брайтона не выбираюсь.

— Ну, зато там вас поджидает этот жуткий Королевский павильон. — Он остановился и подобрал кусочек гравия. — Это моя первая... — Он заколебался, подыскивая слово поделикатнее.

— Кремация. — Хэрриет с явным удовлетворением произнесла это слово за него. — А я вот постоянно здесь оказываюсь, — сказала она с не меньшим удовлетворением. — Прежде всё были коктейли да вечеринки, а теперь похороны. А люди все те же самые, разумеется. — Она забрала у него кусок гравия и бросила на дорожку. — Я

---

[93] Примечания: 93

"Виллет" — роман (1853) Шарлотты Бронте (1816–1855), описывающий историю любви молодой девушки.

[94] Примечания: 94

Не правда ли? (фр.).

здесь знаю каждый дюйм.

— Sunt lacrimae rerum, а вы как думаете? Mentem mortalia tangunt?[95]

— Что это значит — они мрут как мухи? — Она произнесла эту фразу особенно торжественным голосом. — Конечно, мрут.

— Exeunt omnes,[96] — начал он.

— In vino veritas.[97]

Она явно передразнивала его, но он не возражал; он даже приветствовал это. Он положительно напрашивался на пародию.

— Dies irae,[98] — прибавил он.

У Хэрриет в запасе имелось всего несколько латинских крылатых фраз, и ей пришлось ненадолго задуматься.

— Veni, vidi, vici.[99] — Оба рассмеялись и, взяв

---

[95] Примечания: 95

Sunt lacrimae rerum et mentem mortalia tangunt — цитата из Вергилия (Энеида, I, 462). В переводе С. Ошерова: "Слезы — в природе вещей, повсюду трогает души/ Смертных удел".

[96] Примечания: 96

Выходят все (лат.) — обычная сценическая пометка в старинных английских драмах.

[97] Примечания: 97

Истина — в вине (лат.).

[98] Примечания: 98

День гнева (лат.).

[99] Примечания: 99

Пришел, увидел, победил (лат.).

друг друга под руку, пошли по гравийной дорожке дальше. По пути им встретилась молодая женщина с черной книжкой в руке. — Когда я вижу, как кто-нибудь читает Библию, сказала Хэрриет, — мне всегда кажется, что эти люди слегка помешанные. А вам? Ох, глядите-ка, вот еще один такой. — Мимо них прошел священник, и она любезно улыбнулась ему.

— Прекрасное утро, — сказал Флинт довольно громко. — Не совсем заря, зато какая розоперстая.

Труба, поднимавшаяся с тыльной части Западной часовни, трижды изрыгнула белый дым, и Хэрриет усмотрела в этом некий сигнал.

— Кто-то поднялся вверх и улетел, — сказала она, весело потирая руки, — а нам лучше пойти назад. Наверное, сейчас подтянутся остальные.

— Да, я слышу английские звуки. — Послышался шум автомобиля, затормозившего на гравии, и, пока Флинт с Хэрриет возвращались во дворик Западной часовни, из черной машины выходили Вивьен и Эдвард.

Флинт в смущении остановился, а Хэрриет с распростертыми объятиями устремилась навстречу Вивьен.

— Я знаю, — проговорила она с придыханием, и

слезы выступили у нее на глазах, — да-да, я знаю. Я была там. — Где именно она была, Хэрриет не стала уточнять.

Вивьен обняла ее.

— Вы оба пришли. Вы оба здесь! — Она произнесла это с такой благодарностью, что Флинт почувствовал к ней жалость и, обняв ее, в свой черед, заметил, какой она кажется хрупкой. Эдвард ни на шаг не отходил от матери, цепляясь за ее платье, пока она стояла рядом с ними. — Вы были его настоящими друзьями, — сказала она, переводя взгляд с Хэрриет на Флинта. Тот залился краской.

— Вот Филип, — быстро сказал он.

В самом деле, Филип выходил из второй машины, вместе с тремя другими людьми. Эдвард оставил мать и побежал к нему; Филип поднял его на руки и поцеловал. Почему, подумал Флинт, я здесь — единственный, кто не знает, как себя вести?

И медленно, беседуя приглушенными голосами, они направились к Западной часовне: впереди шли Вивьен с Эдвардом, а за ними по пятам следовала Хэрриет. Флинт уселся на скамью в задних рядах и стал наблюдать, как входят другие люди в трауре. А сколько человек удосу-

жится прийти на мои похороны? Идея самого исчезновения не тревожила его — этого он просто не мог себе представить, — а вот мысль о том, что ему придется оставить всю свою работу незаконченной, была ему несносна. Это казалось ему своего рода унижением. Впрочем, какое это тогда будет иметь значение? Ведь всякой деятельности суждено когда-нибудь прекратиться, и, если вдуматься, разве все это — не беспричинное вращение колеса? Мы вращаем колесо, просто чтобы вращать его, чтобы слышать, как оно вертится, и нарушать ту тишину, которая иначе уничтожила бы нас. Сидя в глубине Западной часовни, Флинт ощутил что-то вроде тошноты.

Служба уже начиналась, и когда из боковой двери появился священник, Флинт впервые заметил сосновый гроб, наполовину скрытый под цветами: он стоял на скате, тоже украшенном цветочными гирляндами, перед двумя низенькими деревянными дверями.

— Все вы хорошо знали Чарльза… — Священник начал проповедь, и внимание Флинта немедленно переключилось на Хэрриет, которая сидела во втором ряду, прямо за родственниками Чарльза; по-видимому, она плакала и целовала нечто, свисавшее у нее с шеи. Вначале Флинт подумал,

что это жемчужное ожерелье, но потом разглядел большой крест на толстой серебряной цепочке. Наверное, он лежал у нее в сумочке, рядом с выкорчеванной геранью, пока она не сочла нужным достать его для всеобщего обозрения.

Священник переменил позу и теперь глядел поверх голов паствы.

— Как все вы знаете, Чарльз был поэтом, и, как я знаю со слов его родных, которые собрались здесь сегодня, он был замечательным поэтом. Вы, наверное, усмотрите трагедию в том, что он умер, не успев полностью раскрыть свой дар, но мы должны благодарить Господа уже за сам этот дар. Приведем же слова великого поэта Вордсворта:

О дивный юноша с душой бессонной,
Ты никогда в гордыне не погибнешь,[100]

И возгласим, что воля Господа свершилась, пусть нам и не дано разглядеть умысла Его.

О Господи, в Чьем милосердии души верующих обретают покой…

Этот безмозглый идиот переврал все слова в

---

[100] Примечания: 100

"Teou marvellous young man,/ Wite your sleepless soul never periseing in pride" — искаженная цитата из стихотворения Вордсворта Решимость и свобода, вместо: "…tee marvellous boy,/ Tee sleepless soul teat periseed in eis pride" — "тот мальчик дивный/ С душой бессонной, в гордости погибший".

цитате, подумала Хэрриет, но затем она снова окунулась в атмосферу знакомой церемонии. Она закрыла глаза и попыталась мысленно представить все шкивы для тросов и люки, которые находятся под ее ногами, словно оперный Дон Жуан, сходящий в преисподню… внезапно хлынувшие звуки органа — магнитофонная запись Времен года Вивальди, — пробудили Хэрриет от томной дремоты, в которую она погрузилась; и на миг ей померещилось, что она снова очутилась в той секс-киношке, где слышала в последний раз эту музыку. Но потом отворились низенькие деревянные двери, и в них скользнул гроб, оставив позади лишь цветы.

— Ave atque vale,[101] — пробормотал Флинт.

Музыка смолкла, и священник — с быстрой нервной усмешкой — повел за собой Вивьен и Эдварда через боковую дверь. Хэрриет наблюдала за Эдвардом, пока за ним не захлопнулась дверь, их взгляды на секунду встретились, и она вспомнила о его немом присутствии в больнице, когда Вивьен показывала ей рентгеновский снимок Чарльзовой опухоли. Она рассматривала тогда луковицеобразный серый нарост, образо-

---

[101] Примечания: 101
Здравствуй и прощай (лат.).

вавшийся у него в мозгу, и ей показалось, что очертаниями он походит на человеческое лицо.

Все остальные вышли на улицу и, оказавшись под облачным небом, встали группками по несколько человек, не зная, что делать дальше. Тогда пожилая чета повела остальных к каким-то цветам, возложенным на каменные плиты возле церкви; Флинт догадался, что это родители Чарльза, и его поразил их непримечательный облик. Даже в скорби они выглядели заурядными. Затем он услышал, как мать Чарльза спрашивает:

— А что, машины уже заказаны?

— Не волнуйтесь. Обо всём уже позаботились.

Хэрриет, которая вышла из часовни последней, теперь торопилась догнать остальных; она рылась в сумочке, и Флинту на миг подумалось, что она собирается бросить свою краденую герань — прямо с корнями — в кучу цветочных букетов, какие принято класть на могилу. Но та извлекла носовой платок и поднесла его к глазам. Завидев Флинта, она быстро подошла к нему.

— Дорогой мой, не подумайте, будто я плачу, — прошептала она. — Это обычный насморк. Это когда всё насмарку. — С подобающим скорбным выражением лица она понаблюдала за родителями Чарльза, а потом снова шепнула Флинту:

Вас не удивляет, что столько поэтов рождается от худого древа? — Флинтом овладело неудержимое желание рассмеяться, и он даже поднес ко рту рукав, будто желая вытереть губы. Но, оглядевшись по сторонам, он увидел тревожные и горестные лица родных Чарльза, которые уже возвращались к машинам; и он опустил руку.

Вивьен с Эдвардом и Филип, который шел позади них, вышли во двор. Хэрриет поспешила навстречу Вивьен и расцеловала ее в обе щеки.

— Вы оба держитесь так мужественно, — сказала она. — Так мужественно. Что поделать — это Природа.

Филип заметил, что она сжимает Вивьен в своих объятьях несколько дольше, чем полагалось бы. Здесь что-то не так, подумал он, есть в этом что-то странное. Я тебе не доверяю.

* * *

Однажды дождливым вечером, вскоре после похорон, Вивьен и Эдвард сидели дома. Она составляла список предстоящих покупок, по ходу дела подсчитывая цены, а затем возвращалась к написанному и тщательно все проверяла. Она все время делала такие списки — для еды, для одежды, для квартирной платы, — и как только

завершала один перечень, как ей приходил в голову какой-нибудь новый пункт доходов или расходов, и тогда приходилось начинать все заново. Она по-прежнему покупала все то, что любил Чарльз, специальную разновидность душистого мыла, определенной марки сливочное масло, особый сорт сыра. Теперь все эти предметы имели для нее огромное значение, и было бы просто немыслимо представить себе жизнь без них. И не потому, что она много ела: напротив, ей стоило большого труда заставить себя что-нибудь проглотить, и Эдвард приноровился сам себе готовить. Он старался выполнять все те мелкие хозяйственные дела, которыми раньше занимался отец, но все это время он как будто разыгрывал перед матерью какую-то роль.

— Не забудь про жидкость для мытья посуды! — сказал он теперь, торжествуя из-за того, что вовремя вспомнил столь важную вещь.

— Да. Конечно. Извини, Эдди, подожди-ка минутку. — У нее опять пересохло в горле, и она отправилась на кухню за стаканом воды. Но там она принялась пить стакан за стаканом, и, поднося его к крану, заметила, как дрожит ее рука; она с любопытством наблюдала за собой, так как теперь бывало, что она сама себе переставала

казаться настоящей. Потом она вспомнила, что забыла внести в список еще один пункт, и поспешила обратно в гостиную, где ее с беспокойством дожидался Эдвард. — Я забыла сахар, сказала она; ей почему-то не хватало воздуха, и она присела на диван отдышаться. Оба сидели молча; оба уже обнаружили, что в мире существует совсем новая разновидность тишины.

Вивьен начала записывать цены на полях своего списка, и вдруг Эдвард воскликнул:

— Губная помада!

— А зачем она мне? — Она собиралась добавить «теперь», но не стала.

— Чтобы приукраситься, мам. — Он часто слышал, как она в шутку употребляла это выражение, говоря с Чарльзом.

— Нет, Эдди. Когда нас только двое… — Ей не хватило духу докончить начатую фразу.

Внезапно мальчик испугался за нее; он услышал шум дождя, стучавшего по крышам и улицам города.

— Но почему ты не хочешь помаду?

Эдвард почти прокричал это, и Вивьен с тревогой поглядела на него.

— Не шуми так, — сказала она. — Соседи услышат. — Раньше она никогда не заботилась о

подобных вещах, но теперь Эдварду казалось, что ее все беспокоит и пугает. И, тревожно взглянув на капитальную стену, она ощутила почти что ужас по отношению к самой квартире.

— Почему ты не хочешь помаду? — продолжал допытываться Эдвард.

Внезапно послышался громкий хлопок: внизу, на улице, — двигатель чьей-то машины дал обратную вспышку, — и Вивьен вздрогнула.

— Что это, Эдди?

— Ничего, мама. — Но он заметил, как она устала, и, внезапно ощутив прилив любви, встал рядом с ней на колени и поцеловал ее в щеку. Прошлой ночью она не могла уснуть в своей комнате (которую по-прежнему называла "нашей комнатой") и поэтому, ища тепла и уюта, забралась в кровать Эдварда. Проснувшись утром, он увидел ее и инстинктивно протянул руку, чтобы погладить ее по волосам; и оба они, едва пробудившись, думали о смерти Чарльза.

— Знаешь, что я сейчас сделаю? — спросил он, поднявшись с дивана.

— И что же?

— Я тебе приготовлю чудесную чашку чая. — Она попыталась улыбнуться, но Эдварду показалось, что она вот-вот расплачется, и он поспешил

добавить: — А знаешь, что бы сейчас сказал папа? Он бы сказал: ну так иди и сотвори чудо, Эдвард Неумелый. — Он в точности скопировал голос Чарльза, и Вивьен поглядела на него с удивлением; Эдвард, тоже изумившийся собственному подражательному подвигу, с нежностью улыбался ей. И в этот миг, глядя на сына, Вивьен вдруг узнала в нем черты Чарльза: ее муж умер — и все-таки не умер. Неожиданно ощутив счастье, она встала и отправилась вслед за Эдвардом на кухню.

— Сколько времени? — спросил он, встав на цыпочки, чтобы дотянуться до стеганого чехольчика на полке над раковиной.

— Половина целовального, и время снова целоваться. — Она нагнулась и поцеловала его в затылок.

— А во сколько завтра придет Филип? — Филип только что купил подержанную «форд-кортину» и очень робко, с величайшим смущением, пригласил их «прокатиться» за город; на самом деле, он купил машину специально ради них.

— Как можно раньше, Эдди. Он сказал, что хочет увезти нас как можно дальше.

— Здорово! Мы сможем отсюда вырваться! — Он задумался. — Я хочу сказать, мы отлично

проведем время.

Хорошее настроение сына и ее приободрило; раздался стук в дверь, и она, уже обретя присутствие духа, на сей раз не испугалась.

— Интересно, — прошептала она, кто бы это мог быть?

— Мам, пойди и посмотри. — Он подгонял ее к двери, придавая ей сил.

Это была Хэрриет Скроуп в сопровождении Сары Тилт.

— Мы тут проходили мимо, — сказала она, — и мне захотелось вас повидать. Мне страсть как хочется узнать, как вы тут поживаете. — Видимо, поняв, что это не самые удачные слова, она поспешно обернулась к Саре: Это Вивьен Вичвуд, моя добрая подруга и наперсница. — Она снова повернулась к Вивьен: — А это Сара Тилт. Знаменитая критикесса. — Представляя их друг другу, Хэрриет умудрялась еще и внимательно осматривать комнату. Она остановилась, увидев, что из глубины кухни за ней наблюдает Эдвард. Она инстинктивно показала ему язык. — Сара, а это маленький Эдвард. Я часто тебе рассказывала о нем, помнишь? Он совершенный ангел.

— Она показала мне язык, — сообщил Эдвард матери.

Хэрриет попыталась засмеяться.

— Я не показывала его.

— Наверное, она просто высунула его.

— Да-да, вот именно. Я высунула его посушиться.

Эдвард снова обратился к матери:

— Он и так уже был сухой. Такой жуткий и зеленый. Смотри-ка, вот опять!

Вивьен обернулась, но лицо Хэрриет успело снова принять чопорное выражение, губы ее были плотно сжаты.

— Простите, Хэрриет, — сказала она, но не смогла заставить себя рассердиться на Эдварда. С извиняющейся улыбкой поглядев на обеих дам, она стала подталкивать сына в сторону его комнаты. — Я скоро вернусь, — сказала она.

— Спокойной ночи, милый малыш! — Хэрриет послала воздушный поцелуй вдогонку удалявшемуся Эдварду. — Не забывайте: мальчишки — они всегда мальчишки. — Но как только Вивьен закрыла дверь спальни, она шепнула Саре: — В сказке его бы теперь уже съели. — Она снова воровато оглядела комнату и толкнула локтем свою старую подругу. — Вот он! — сказала она, мотнув головой в сторону портрета Чаттертона. — Я не удивлюсь, если его бумаги где-нибудь

поблизости.

Она почувствовала (и была совершенно права), что Вивьен пока не захотела бы наводить порядок в письменном столе Чарльза или убирать листки с предисловием, которое он писал в день своей смерти. Сара уже собиралась что-то ответить, но Хэрриет приложила к губам палец и прокралась к столу. Она выдвинула первый ящик, увидела напечатанные на машинке стихи и безо всякого интереса задвинула его обратно. Зато во втором ящике она нашла большой коричневый конверт с надписью «Чаттертон», а под ним и отпечатанное Чарльзово предисловие. Она быстро оглянулась на дверь спальни, а потом заглянула внутрь конверта; там были кое-какие заметки, сделанные рукой Чарльза, а кроме того, и более увесистые бумаги — исписанные, как ей показалось, другим, более старинным, почерком. Сара тем временем рассматривала портрет.

Из-за закрытой двери приглушенно послышалось: "Спокойной ночи", и Хэрриет мгновенно отпрянула от письменного стола и снова очутилась на диване. «Быстрее», — прошептала она Саре, которая медленно догоняла ее. Когда Вивьен вернулась в комнату, обе дружно сидели на диване, обсуждая недавние выборы в Австралии.

— Эдварду тяжело пришлось в эти дни, — сказала Вивьен, как бы оправдываясь. Она не заметила, что по носу Хэрриет сбегает тонкая струйка пота. — Он перенервничал.

— И вы тоже. — Хэрриет подалась вперед и коснулась колена Вивьен. Правда, Сара? У вас вид женщины, которая много страдала. Уж я-то знаю, добавила она важно, — я ведь и сама много страдала. — Сара посмотрела на нее с изумлением, а Хэрриет продолжала: — Поэтому мы и зашли, чтобы предложить свою помощь.

— Как любезно с вашей стороны. — Вивьен не совсем понимала, что ей нужно отвечать. Вот уже несколько недель она повторяла: "Как любезно с вашей стороны" или "Вы очень добры", — но ей казалось, будто она лишь играет роль того человека, каким она была до смерти Чарльза. Она уже перестала понимать смысл собственных слов.

Хэрриет почувствовала ее неуверенность.

— Самое главное, как мы с Сарой только что говорили, — это сделать то, что хотелось бы Чарльзу. — Она поборола искушение обернуться на его письменный стол. — Самое главное — это чтобы мы могли опубликовать его сочинения.

— Ах, вам кажется, вы могли бы с этим помочь? — Вивьен пришла в восторг. — У меня все

его стихи здесь.

— Это добрая весть. Я всегда говорила, что он замечательный поэт, правда, Сара? — Она задумалась. — А есть что-нибудь еще?

Но Вивьен не расслышала последнего вопроса: она уже подошла к письменному столу и просматривала содержимое его ящиков.

— Чарльз написал стихи о своей болезни — если только я их отыщу…

— Правда? — Сару это очень заинтересовало. — Можно взглянуть?

Хэрриет раздосадовало вмешательство Сары, которая сбивала разговор с нужной ей колеи.

— Видите ли, Вивьен, болезни поэтов — крайне занимательная тема для моей старой подруги. Она якобы пишет об этом книгу.

Но и на сей раз Вивьен была слишком занята своими поисками, чтобы внимательно вслушиваться в ее слова.

— И самое странное, — сказала она, неся Хэрриет машинописные страницы, — я даже не знала, что он их пишет. Он скрывал их от меня. — Горе опять грозило навалиться на нее всем грузом. — Я принесу чай, — прибавила она торопливо. — Эдвард недавно заваривал его.

Как только она вышла из комнаты, Сара скло-

нилась к Хэрриет:

— Ну и стерва же ты, а? Я пишу книгу о смерти, а не о болезнях. И потом, ты могла бы пощадить ее чувства.

— А почему, ты думаешь, я так мила и любезна?

Их яростный шепот прервал звук открываемой двери. А когда Вивьен уже вошла в комнату, Хэрриет с восторженным вниманием изучала стихи Чарльза.

— Прекрасно, — бормотала она, обращаясь к Саре и будто совсем не замечая, что Вивьен уже стоит над ней. — Да, просто прекрасно. Погоди, сейчас я скажу милой Вивьен. — Подняв глаза, она легонько вздрогнула. Дорогая моя, вы меня напугали. Я не заметила, как вы вошли. Саре и мне очень нравятся эти стихи. Мы только что о них говорили. — Она положила бумаги себе на колени. — А что-нибудь еще есть?

— Ну, вы же знаете.

— Знаю? — Она с трудом сдержала нетерпение.

— Ну, эта погоня за призраками. Те Чаттертоновы бумаги, о которых мы говорили тогда в парке. Вы уверены, что они вам действительно нужны?

Хэрриет беспечно рассмеялась.

— Ну, давайте я их все-таки заберу. Может, в

конце концов мне и удастся кого-нибудь ими заинтересовать. Сара полагает, это самое меньшее, что мы можем для вас сделать, — правда? — Сара только отхлебнула чаю и молча посмотрела на нее. — Разумеется, если ими никто не заинтересуется, я верну…

— Нет. Оставьте их у себя. Я не хочу их больше видеть.

Хэрриет, уже не в силах сопротивляться давно подавляемому желанию встать, вскочила с дивана.

— Так мне их забрать, дорогая? — спросила она небрежным тоном. Она была готова помчаться к письменному столу, но сумела взять себя в руки. Вы не помните, куда вы их положили?

— Во второй ящик.

Хэрриет быстро подошла к столу, выдвинула ящик и с удивленным возгласом: "Ах, вот же они!" вынула Чаттертоновы рукописи вместе с заметками самого Чарльза, а потом принялась запихивать бумаги в свою объемистую сумку. Она предусмотрительно захватила с собой особенно большую сумку.

Вивьен с умилением наблюдала за ней.

— Вы так добры, вы действительно хотите помочь, — сказала она. — Не знаю, что бы я без

вас делала.

— Не стоит ее благодарить. — Сара поставила чашку на стол, а Хэрриет обожгла ее взглядом. — Ради литературы Хэрриет на все готова. Этим она и славится.

— Я знаю. — Вивьен испытывала большую благодарность: не столько из-за того, что сочинения ее мужа теперь, быть может, напечатают, сколько из-за того, что Хэрриет явно разделяла ее собственное восхищение талантом Чарльза. — Вы так добры ко мне, — продолжала она. — Я даже не знаю, как вас отблагодарить. — Хэрриет улыбнулась и ничего не сказала. — Я должна вам что-нибудь подарить. Что-то на память о Чарльзе.

— У меня уже есть его стихи. А это главное. — Она похлопала по своей сумке, хотя на самом деле листки со стихами все еще лежали на диване, где она их оставила.

— Нет, я имею в виду что-нибудь личное. Что-нибудь такое, что навсегда останется у вас.

— Мне и вправду ничего не нужно. Я лишь покорная служанка…

Но чем более робкой казалась Хэрриет, тем настойчивей становилась Вивьен.

— Ну хоть что-то…

— Ну, я даже не знаю… — Почти бессознательно повернув голову, Хэрриет на миг взглянула на портрет.

— Может быть, вы возьмете вот это? — Вивьен подошла к холсту и протянула его гостье. — Чарльз его очень любил.

— Нет, не стоит, дорогая. Может быть, он очень ценный. — Она помолчала. — Как знать.

— Да нет, нисколько. Он это подобрал в какой-то лавке старьевщика.

Хэрриет стало ясно, что Вивьен совершенно не понимает значимости Чарльзова открытия, и что в действительности ей просто хочется избавиться от картины.

— Пожалуйста, скажите, что вы возьмете ее. Я знаю — Чарльзу бы захотелось, чтобы вы приняли ее в подарок.

Хэрриет наслаждалась роскошью притворной нерешительности.

— Ну, право же, не знаю, как быть. Если вы так ставите вопрос… По правде говоря, я ведь такая сентиментальная старуха… — Она обернулась к Саре Тилт, которая, казалось, вот-вот не выдержит и расхохочется. — А что скажет наш знаменитый искусствовед?

— Ну, ты же знаешь, дорогая, — ответила Са-

ра, — ценность вещи всегда по-настоящему определяется глазом того, кто ее созерцает. То, что совершенно бесполезно для одного, может оказаться весьма важным для кого-то другого. — И она сладко улыбнулась Хэрриет.

— Благодарю вас за эти добрые слова, мисс Тилт. — Хэрриет отвернулась от нее. — Она пытается сказать, Вивьен, что вам эта картина, вероятно, более дорога, чем мне.

— Нет, я настаиваю на том, чтобы вы ее взяли. Она ваша.

— В таком случае, вам следует подтвердить это письменно. — Увидев изумление на лице Вивьен, Хэрриет поспешила продолжить: — Я хочу сказать, нам следует подтвердить все это письменно. Что, если… — тут она задумалась. — Что, если завтра я умру, а стихи Чарльза найдут на моем столе? — Она взглянула на Сару, ища поддержки, но не встретила ее. — Все подумают, будто это я их написала.

Такая мысль ужаснула Вивьен.

— Но ведь все поймут, что они принадлежат кому-то другому?

— Никто никогда подобных вещей не понимает. — Хэрриет взяла портрет из рук Вивьен и приподняла его перед собой, так что теперь он

почти скрывал ее лицо. Она снова заговорила: — Поэтому нам следует ясно определить, что кому принадлежит.

Эдвард, которому никак не удавалось заснуть, тихо отворил дверь спальни, и теперь он наблюдал за Хэрриет. Его заметила одна Сара.

— Как это мило, — сказала она. — Смотри, что твоя мамочка подарила тетушке Хэрриет.

Эдвард обратился к матери:

— Это было папино.

— А я думала, что ты его ненавидишь, Эдди. — Вивьен сидела за столом, составляя список всего, что она подарила или одолжила Хэрриет.

— Но это было папино.

Хэрриет медленно опустила портрет, так что показалось ее лицо и она смогла разглядеть мальчика.

— Твой отец уехал, — сказала она печально. — Он уехал далеко-далеко, в молчаливую страну.

— Знаю. Он умер. И это было — его.

— Пожалуйста, Эдвард. — Теперь Вивьен смутилась. — Я подарила его мисс Скроуп. Ведь она была очень добра к нам.

— А что она сделала?

— Она собирается позаботиться о сочинениях твоего отца.

— А почему она это делает?

Вивьен уже закончила список, и Хэрриет быстро забрала его.

— Мне кажется, Сара, дорогая, нам пора в путь. — По-видимому, ее слегка нервировал Эдвард, продолжавший упорно смотреть на нее. — Ты выглядишь усталой. Наверное, это твое искусствоведение виновато. Подержи-ка это, пока я соберу свои штучки-дрючки.

Она сунула Саре портрет и взялась за свою сумку, теперь набитую Чаттертоновыми бумагами, и за свою темную шубу, которую Вивьен до этого не замечала.

— Какой чудесный мех, — сказала она.

— Это крыса. — Вивьен отдернула руку, а Хэрриет рассмеялась. — Да нет, я шучу. Это енот. Одно из моих любимых животных. У них такие милые белые зубки. Мы все взяли, Сара дорогая? — Она подставила Вивьен щеку для поцелуя, а сама в ответ издала легкий чмокающий звук. Потом она двинулась в сторону Эдварда, но тот спрятался от нее в своей комнате. Она погрозила ему пальцем: — Ну-ну. Ты всегда такой бука, да? Но Матушка все равно тебя любит.

Она собралась уходить, и они с Сарой уже вышли в коридор, как вдруг Вивьен окликнула их:

— Мисс Скроуп! Хэрриет! Вы же забыли стихи Чарльза! Она оставила их на диване.

— Ах, моя милая, — сказала она, — какая я растяпа. Я же ради них и пришла! — Она подхватила у Вивьен машинописные страницы и, завернув за лестничный поворот, сунула их в карман шубы.

Вернувшись в квартиру, Вивьен внезапно ощутила усталость и на минутку прислонилась к двери, закрыв глаза.

— Мама, тебе не следовало отдавать ей картину. — Эдвард стоял возле отцовского письменного стола. — Это была ошибка.

* * *

— Я не поеду общественным транспортом, — сказала Хэрриет, когда они вышли на улицу. — Я не в том настроении, чтобы смешиваться с толпой. — Она отошла на обочину, чтобы поймать такси, но зрение подводило ее, и она большей частью подзывала проезжавшие мимо обычные машины. — А ты знаешь, — сказала Сара, — что эта картина, быть может, — подделка?

— Не говори мне об этом. Не сейчас. — Но тотчас же спросила: — Откуда ты знаешь?

— Что-то в ней не так. Не могу тебе сказать, что именно, но что-то не так…

— Ну, ничего. — Для Хэрриет куда большую важность имели документы. Она знала, что делать с этими бумагами, с этими писаниями, а изображение на холсте можно было предоставить другим. — Я всегда могу обратиться к экспертам, мисс Искусствоведша, — проговорила она важным тоном. И она уже знала, к каким именно экспертам обратиться: Камберленд и Мейтленд могут подтвердить подлинность картины, или же — если нескромные замечания Вивьен касательно сеймуровских фальшивок имеют под собой почву — можно будет убедить их засвидетельствовать желаемое. Ей уже во всей полноте представилось зрелище собственного триумфа. — Конечно, — сказала она и вдруг принялась бешено размахивать руками, всматриваясь в черную точку на горизонте. — Эй вы там! Здесь старая женщина! Конечно, мне придется что-то дать этой бедной девчонке. Или это будет слишком глупо?

— Конечно, тебе следует это сделать. И признать авторство ее мужа. В конце концов…

— В конце концов что? Он же умер, так ведь? — Рядом с ней притормозило такси, и Хэрриет забрала у Сары портрет. — Тебя подбросить?

— Нет. Я думаю, меня просто тихо стошнит в

мою сумочку.

— Но ведь это все равно что возить уголь в Нью-Касл[102] — не правда ли, дорогая?

* * *

"Будь ты живой, я бы тебя хорошенько отшлепала". Хэрриет обращалась к портрету, который она безуспешно пыталась повесить у себя в гостиной. Вначале она поставила холст на камин, но тот соскользнул оттуда, чуть не разбив посмертную маску Китса; тогда она попыталась подвесить его за металлическую скобку, на которой раньше висела репродукция Хогартова "Удрученного поэта", но скобка отвалилась от стены, оставив в ней одно отверстие; потом она начала вбивать в стену гвоздь, но тут мистер Гаскелл вздумал мешаться у нее под ногами. "Прости, — сказала она, — я первая сюда забралась". Хэрриет пинком отшвырнула кота, но оказалось, что она очень шатко держится на своем плетеном стуле, — так что чуть не упала сама, а пока старалась восстановить равновесие, картина вырвалась у нее из рук и тяжело плюхнулась ей на голову, прежде чем свалиться на пол. К счастью, на ней все еще была

---

[102] Примечания: 102
Соответствующая русская поговорка поминает Тулу и самовары.

меховая шляпка, смягчившая удар, так что ей не было больно, зато картина при падении сбила с тульи чучело птички, на которое мистер Гаскелл немедленно набросился. "Она не настоящая, — закричала Хэрриет. — Это только подделка!" Но было слишком поздно: кот распотрошил птичку, разбросав набивку по ковру.

Она поправила шляпку и со вздохом спустилась со стула. "Ну да ладно, малыш, — пробормотала она, — тебе-то откуда было знать разницу? Ты ведь не человек, в конце концов. — Она вытянула руки. — Поди же сюда и подари Матушке животный поцелуй!" Но кот не пожелал целовать свою матушку, и, вздохнув еще раз, она опустила руки. Портрет лежал на полу изображением вверх. Хэрриет Скроуп почувствовала себя усталой и села. Если б я жила в бедности, подумала она, я могла бы спать под деревьями. Я могла бы быть частью Природы… а потом, когда она наконец открыла глаза, на нее смотрел Томас Чаттертон.

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ

Коль смерть для нас – одна, не все ль равно:
Веревка ль, Пуля, Яд, Кинжал иль Меч,
Томительная Хворь, или разрыв
Артерии внезапный пресечет
Жизнь человечью, полную Мытарств?
Причины пусть пестры,
Конец – един:
Исчезновенье верное нас ждет.
Чувство. Томас Чаттертон
В Каморке той – просторный свод,
Как будто здесь богач живет…
А поутру Лукавый Дик,
Продрав глаза лишь, в сон тот вник.
Ну что ж, недурно, мыслит он,
Как знать – быть может, в руку сон.
Пойду взгляну, – и прочь спешит,
В Каморку Живо он летит…

Лукавый Дик. Томас Чаттертон

13

Двадцать третьего августа, в лето Господа Нашего тысяча семьсот семидесятое, Томас Чаттертон пробуждается на заре в необычайном веселии. Стоит яркое летнее утро, солнце восходит над лондонскими крышами, а с окрестных полей уже рассеялся туман, изгнанный навалившейся жарой. Теплый ветерок колеблет верхушки деревьев, а в ветвях шелестят птицы, готовясь запеть. Многие горожане, спешащие по узким улочкам, с удивлением всматриваются в разлитый кругом яркий воздух, как если бы то было некое качество в них самих, кое различают они впервые: так, по крайности, видится это Томасу Чаттертону, и он подымается с кровати и глядит на крыши домов из оконца своей чердачной каморки на Брук-стрит.

Он еще никогда не жил так высоко, и потому наблюдает за тем, что происходит на улице, с прежним чувством удивления. В моей воздушной обители, писал он матери сразу по прибытии в Лондон, я упиваюсь в высшей степени прекрасным расположением духа. Я вознесен превыше всяких слов и питаю возвышенные мысли каса-

тельно моего грядущего преуспеяния. Вскоре ты узришь меня на вершине славы, милая Маменька, на недосягаемой высоте над простертыми в унижении бристольцами, нам с тобою знакомыми. Он прожил здесь уже пять недель, и каждый день испытывает все то же ликование, пробуждаясь над городом и затем спускаясь в него, бесцельно бродя по его дворикам и улочкам, внюхиваясь в его запахи, чувствуя волнение при виде его людных проспектов, а позже, ночной порой, возвращаясь на Брук-стрит при свете фонарей, под звуки скрипки или шарманки. Ему семнадцать лет, и это новый для него мир.

Он настежь распахивает окно, вдыхая воздух. Он слышит, как мычит скот в Смитфилде, а по Верхнему Холборну уже торопливо проезжают экипажи, но этот шум ласкает ему слух. Они вторят лихорадке его собственной гордости и тщеславия, и он обращает свой лик навстречу летнему дню и сильным мелодичным голосом поет над крышами домов последнюю комическую песенку из садов Воксхолла:[103]

---

[103] Примечания: 103

Воксхолл — район Лондона на южном берегу Темзы. Ок. 1661 г. там были разбиты общественные сады, остававшиеся излюбленным местом отдыха столичных жителей вплоть до начала XIX века. В 1859 г. сады закрыли, и на их месте развернули городское строительство.

Шутом деревенским явился я в город,
А ныне глядите – пригож я и молод.

Внизу мальчик, продающий старые башмаки, которые висят связкой вокруг его шеи, издает короткий возглас, приветствуя Чаттертона, и, глядя вверх, горланит припев: Ту-рал-лу-рал-лу!

Чаттертон машет ему рукой и снова заваливается на кровать, почесываясь и зевая. Потом он вспоминает, что накануне вечером услыхал в кофейне о смерти олдермена Ли, который вознамерился стать одним из его покровителей. Ну так что ж? Один покровитель умер, зато его место займут другие. Он берется за бумагу и свинцовый карандаш, которые, ложась спать, всегда оставляет рядом с постелью (ибо стихи часто являются ему во сне), и записывает:

Потерял из-за смерти олдермена Ли, за обещанный заказ – J 1.11.6
Получу за элегии на смерть Ли – J 2.2.0
Получу за сатиры против Ли – J 3.3.0
Всего – J5. 5.0
Итак, наживаюсь благодаря его смерти на – J3.13.6

По правде говоря, он уже написал часть одной

элегии, а что до остального, то их вскорости закажут, и тогда он спешно их напишет. На Чаттертона можно смело полагаться в таких делах, и, невзирая на его нежный возраст, многие книготорговцы уже готовы платить ему небольшие суммы загодя, в ожидании законченной работы. Ли, говорит он лениво вслух, уставясь на почернелый потолок, Ли, Ли, Ли-старичок, с дерева Города ветхий сучок; а дерево то не растет — только тянется: его корни кровное вяжет родство, а плоды его — сущее баловство. Он смеется над своей выдумкой теплее самого теплого ветерка, ближе собственного дыхания, ярче солнца; он снова растягивается на кровати и пишет по воздуху своим свинцовым карандашом: Дражайшая Маменька, мое восхождение по жизни продолжается своим чередом. Я вознесен здесь, в Лондоне, и несомненно достигну вскоре точки наивысшей. Твой любящий сын, Том.

Ничто теперь не тревожит его прекрасного расположения духа — даже подозрение, что он подхватил гонорею от милейшей хозяйки дома, миссис Ангел. И все же он спрыгивает с постели, дабы обозреть свою ночную сорочку, и тихонько присвистывает, завидев на грубом полотне пятна. А вот это уже не баловство, говорит он вслух,

это — семя плотской близости: ведь лишился я девственности, и вот стою здесь в растерянности. Что же делать? Накануне вечером он рассказал о своем приключении одному приятелю по кофейне некоему Дэниелу Хануэю, сочинителю всякой всячины.

Дэн, ты когда-нибудь занимаешься любовью?

Нет, я занимаю ее в долг!

Хануэй смеется: ему все нипочем, и за ответом он никогда в карман не лезет.

Ну, так могу я поведать тебе о своем последнем темном деянии? (Оно же и первое — но об этом он не говорит ни слова.)

Давай. С темнотою я на дружеской ноге, Том.

Это была моя хозяйка…

Ага, так оно всегда и бывает.

Я выглядывал из окна, вдыхая аромат ночного воздуха, и вдруг услыхал, как поет какая-то женщина. Ты знаешь эту песенку: Я руку сунула в кусты, и так далее?

И укололась о скелет. Да, Том, ирландская простонародная.

И вот, распевает она это, а когда я смотрю вниз, то вижу свою миссис Ангел, упившуюся в стельку, которая колотит в дверь собственного дома и требует, чтоб ее впустили.

Ну, Том, грех было не попользоваться.

И вот я скольжу по лестнице вниз, дабы она не перебудила всю улицу…

Или не пробудилась на улице.

И как только я открываю щеколду, она валится в мои объятия.

Ах ты негодяй. И ты тут же ею овладел?

Ах, мистер Чаттертон, говорит она, ах, мистер Чаттертон. Я бесконечно обя-а-а-зана… И виснет на мне, как плющ на башне. Тогда знаешь, что приходит в движение?

Твой ретивец, разумеется.

Он приходит в движение con amore.[104] А когда она чувствует, как он бьется об нее, она шепчет мне, ах, мистер Чаттертон, сегодня вы можете заночевать во мне. И вот.

И вот.

Я обязал ее бесконечно. И прокрался в свою комнату лишь на рассвете.

Я думаю, не столько прокрался, сколько про-полз?

Ничуть. Я все еще был полон сил. В то утро я и написал Панегирик Королевскому Ватер-Клозету. Ты его помнишь?

---

[104] Примечания: 104
С любовью (итал.).

Строчки про Потайной Совет?

Да, те самые.

Лицо Чаттертона светлеет от одного воспоминания о собственных стихах, но теперь он чуть понижает голос.

Но должен признаться тебе, Дэн, сдается мне, что проявились кое-какие последствия моей встречи с миссис Ангел.

Ребенок — так скоро?

Да нет же, нет. Последствия, проистекающие из моего… ну ты понимаешь. И, к тому же, меня донимает боль, когда я мочусь. Это…

Трипак! У тебя трипак! По такому поводу надо еще выпить!

Чаттертон делает веселую мину, но когда половой приносит новую бутылку вина, он кусает ногти и спрашивает: — А как это лечить, Дэн?

Хануэй снова смеется. Я слыхал добрые отзывы об известковых ваннах, но это только для тяжелобольных. Раз тебя миновал сифилис, то лекаря можно и не звать. А гонорея — это пустяк, Том, сущий пустяк.

Чаттертон простодушно выказывает облегчение, а его собутыльник продолжает: — Но только задуши его в зародыше. Воспользуйся нашим славным лондонским снадобьем — «гроб-или-

здоров».

Гроб?

Да нет, это только гипербола. Зато лечить — и вправду лечит.

И что это за знаменитое противоядье?

Смесь мышьяка с опием. Мышьяк устраняет заразу, а опий утоляет боль и устраняет кислоту. Это скорейшее исцеление на свете. Тебе нужно всего-то четыре грана мышьяка на десертную ложку опия. Ура, конец-делу-венец, и гонорея с позором отступает. К тому же, пока доза действует, тебя будут посещать сладчайшие опийные грезы.

А не опасно это?

Да нет, не опасно нисколечко. Куда хуже тебе придется в лапах эскулапа. Знаешь, как он тебя — ножичком…

И вот, стоя в поту этим летним утром, комкая ночную сорочку, Чаттертон вспоминает этот совет. Я еще так молод, говорит он, а гонорея — всего лишь пустяк. Сущая безделица. Бес делится. Этой штукой переболели все великие поэты. И он вспоминает, как просил в детстве: нарисуй мне ангела, мама, нарисуй мне ангела с крыльями и с трубами, чтоб они разнесли мое имя по всему свету. Этот трипак — сущий пустяк. Я пал жертвой Венеры, но стопы мои по-прежнему

направляет Орфей.

И вот он вновь садится писать, спеша до завтрака закончить хвалебную элегию в честь олдермена Ли: ее заказал Город и Деревня, и доставить ее велено нынче же утром. А потом, может статься, и другое стихотворение сатиру против Ли, для Лондонского листка.

Он работает нагишом, отшвырнув ночную сорочку на кровать и заслонив лицо от лучей восходящего солнца, а чердачную каморку постепенно заливает свет. Закончив, он обводит строчки синими чернилами и подписывается. Пока он с росчерком выписывает свое имя, им овладевает буйная радость: он подпрыгивает и с ликованием танцует по комнате, стуча босыми пятками по дощатому полу; солнце играет в его рыжих волосах, а он скачет, и весь мир кружится вокруг него. Он кувыркается на своей узкой кровати. Мир летит вверх тормашками. Потом он прекращает веселиться — столь же внезапно, как и начал, — и, вынув карманный блокнотик, записывает: Завершил одну элегию и одну сатиру, сегодня до восьми утра.

Теперь — время для говядины и кофе. На верхней лестничной площадке, возле его двери, служанка оставила кувшин с водой, и он идет за

ним, чтобы умыться. Затем он надевает синие бриджи, зеленый жилет и голубиного цвета фрак: он, как-никак, джентльмен — достойный юный джентльмен. Подняв руку, чтобы сделать пробор, он замечает на правом рукаве налипшую полоску свечного жира и, во внезапном яростном порыве, отскребает ее ногтем, так что восковые чешуйки сыплются на пол. Теперь он полностью готов. Он берет шляпу и осторожно открывает дверь; он неслышно спускается по ступенькам, боясь пробудить ото сна миссис Ангел. Но, едва выйдя на Брук-стрит, он легонько подскакивает и бежит к углу Верхнего Холборна: под этим летним небом он готов бежать хоть на край света. Но в Холборне он берет себя в руки и, мигом обратясь назад, заворачивает в лавку аптекаря на углу.

Мистер Кросс сидит за прилавком и протирает верх стеклянного кувшина, а Чаттертон, войдя, громким голосом спрашивает "пятнадцать гранов вашего лучшего мышьяка и немного опийной настойки".

А сколько же именно этой последней, сэр, вам надобно?

Кросс продолжает полировать кувшин, внутри которого что-то плещется.

Чаттертон становится менее уверенным.

Ровно столько, говорит он, ровно столько, чтобы избавить меня от судорог в желудке.

Ну, отвечает аптекарь, это ведь вопрос философский — ибо как я могу судить о силе или продолжительности ваших болей?

Они весьма жестокие.

Чаттертон корчит рожу: он наслаждается этим маскарадом.

Они нападают на меня по ночам, и я катаюсь в агонии до самого утра.

Боже милостивый.

Они как раскаленная кочерга, едва вынутая из огня, и как пчелиные укусы.

Какое мученичество.

Кросс поднимается с табуретки, отставляет кувшин и склоняется над деревянным прилавком.

Ну, быть может, капель пятьсот лаудана? Я бы мог вам предложить лекарство и в гранулах, но жидкий лаудан всегда предпочтителен. Я сам его кипячу, сэр. Я изгоняю всякую заразу. Я ей указываю на дверь.

Чаттертон силится вспомнить совет Хануэя: из чего там состоит этот лондонский гроб-или-здоров? А можно его отмерять ложкой?

Ну, добрый мой сэр, ведь есть ложки — и ложки. Например, десертные ложки и чайные ложки,

обеденные ложки и кухаркины ложки. Просто ложкой.

Ах, просто ложкой.

Кросс берет большую цветную бутыль и, повернувшись спиной, заговаривает доверительным тоном. Так вот оно как, добрый мой сэр. Просто ложкой. От судорог, естественно. Лаудан унимает тошноту и успокаивает боль во внутренностях.

Кросс отмеряет настойку в стеклянный флакончик.

Ах, опиум, опиум, продолжает он, утирая ладонью краешек рта, сладостное зелье, рубиновый источник грез, великий даритель блаженства. И, разумеется, снадобье для болящих.

Указательным пальцем он забивает пробку во флакон.

Пятнадцать гранов мышьяка, сказали вы? Или вы спрашивали капли от лихорадки?

Чаттертон прокашливается.

Нет, белый мышьяк, благоволите. Для крыс. Они досаждают мне постоянным писком и зубовным скрежетом.

О, что за ночи вы проводите. Да с вашим-то желудком.

Кросс подходит к высокой полке и достает

оттуда льняной мешочек. Arsenicum album.[105] Верная смерть, сэр, но медлительная. Мышьяк никогда не срабатывает быстро. Можно сказать, сжигает не спеша.

Чаттертон смеется в ответ, и Кросс бросает на него быстрый взгляд.

Вы-то сами в хорошем расположении духа, — да, сэр, невзирая на свой злосчастный желудок?

О да, я в отличном настроении.

Да, выглядите вы прекрасно, выглядите вы прекрасно.

Кросс отмеряет граны мышьяка.

Любопытное сочетание, сэр, мышьяк и опиум.

Он просеивает гранулы в мешочек поменьше.

Вы не слыхали о самоубийстве — в семи дверях отсюда?

Чаттертон качает головой.

Это был один прусский джентльмен, по имени Стерн. Френсис Стерн. Его нашли на следующее утро: все тело и лицо перекручены. Видите ли, сэр, мышьячные конвульсии. Он воздействует на prima viae[106] и часто оказывается эккопротическим.

---

[105] Примечания: 105
Мышьяк белый (лат.).

[106] Примечания: 106
Зд.: жизненно важные органы (лат).

Как-как вы сказали?

Чаттертон достает свой блокнот, куда записывает все новонайденные слова.

Эккопротическое, дорогой сэр. Слабительное. Очистительное. Часто роковое.

Он склоняется и касается Чаттертоновой записной книжки.

И нашли на злосчастном трупе записку.

Да?

Чаттертон заинтригован.

Жертва написала: О Люцифер, сын зари, как низвержен ты во Ад, в яму преисподней. Почти образчик поэзии, сэр.

Кросс перевязывает мешочек с мышьяком двойной бечевкой. Но, без сомнения, литература та и родилась из опиума, который нашли возле его кровати. А приговор был — felo de se. Самоубийство. Как говорит достойный Монах о маке — верно ведь:

В зародыше цветка сего таится И яд, и врачевания десница.

А Чаттертон доканчивает цитату за него:

Вдыхая малость — сердце веселишь,

Но перегни — в могилу угодишь.

Но моя совесть чиста, продолжает Кросс, тот немец покупал мышьяк не здесь.

Он снова бросает на Чаттертона быстрый взгляд, и юноша правильно истолковывает его.

Могу вас заверить, я не питаю подобных намерений, как тот джентльмен, о котором вы говорите.

Он смеется.

Я враг могиле, и не желаю, чтобы она меня победила. Пока не время. Видите ли, я только начинаю.

Да, вы ведь совсем еще молоды. Ну так, шестипенсовик?

Кросс берет из рук Чаттертона серебряную монетку и, покончив с делом, снова откровенничает.

Судя по вашему выговору, сэр, вы не здешний?

Нет, поспешно отвечает Чаттертон. Я из Бристоля.

А-а, тихий городок.

Да, очень тихий. Тихий, как склеп.

Кроссу невдомек, как разгадать это замечание, и он возвращается к прежней теме разговора.

Так значит, сэр, вам и не ведомо, что в нашем городе внезапное горе или великая напасть часто толкают молодых людей к самоуничтожению. Мы-то об этом каждый день читаем.

Слова аптекаря интригуют его.

Вы толкуете о молодых, говорит ему Чаттертон, но разве не верно, что никто из нас — будь он молод или стар, — не может по-настоящему навредить себе? Мы должны властвовать над собственным существованием, иначе мы сами жалкие ничтожества.

Но лишить себя жизни — что может быть неразумнее?

Со школьных лет Чаттертон любил споры, и вот он спешит выложить собственные доводы. Возможно, это и неразумно, зато это благородное безумство души. Ведь смерть, в конце концов, освобождает душу, и та принимает подобающую ей форму.

Но, сэр, уж верно, для блага общества…

А коли мы не помогаем обществу и от него не получаем помощи, то мы и не наносим ему вреда, слагая с плеч бремя собственной жизни.

Чаттертон в восторге от своего новонайденного суждения, и он отвешивает легкий поклон мистеру Кроссу, прежде чем забрать свой мешочек с мышьяком и склянку с опиумом. Ваш покорный слуга, сэр.

А я — ваш, сэр.

Кросс улыбается ему, а затем подходит к двери своей лавки, чтобы посмотреть, как тот спешит

по Верхнему Холборну. Такой замечательный юноша, думает он, и такой еще молодой. Что-то есть в нем замечательное. Он запоминает этот разговор о самоубийствах, и позднее будет пересказывать его, с подобающими приукрашениями, всякому, кто пожелает слушать.

Чаттертон пересекает Верхний Холборн и меряет своими любопытными длинными шагами Шу-Лейн, направляясь к тамошней кофеенке. Он заказывает порцию говядины и кофе и с аппетитом ест.

Я только что беседовал о самоубийствах, Питер, говорит он половому, так что наполни-ка мне чашку снова. Жажда одолела.

Мальчик на минутку садится рядом с ним.

О самоубийствах?

Да.

Чаттертон кладет перед ним льняной мешочек с мышьяком. Смерть от отравления.

Питер живо встает.

Уберите это со стола, пожалуйста, уберите это со стола.

Чаттертон смеется, но затем кладет руку себе на шею, издавая горлом странные хрипы. Он вращает глазами и делает несколько жутких, нечеловеческих гримас, будто его отравили пря-

мо на месте.

Половой видит его игру; это толстый и жизнерадостный мальчишка — и вскоре он уже заливается смехом.

Ах, прекратите ж корчить рожи, насилу выговаривает он наконец, а не то я помру, мистер Чаттертон. Прекратите, мистер Чаттертон, ну пожалуйста.

* * *

— Мамуля когда-то жила на вашей улице! — Клэр болтала с Хэрриет в галерее. Хэрриет принесла свою картину для осмотра к Камберленду и Мейтленду, предварительно удостоверившись, что Вивьен все еще в отпуске после смерти мужа. — Мамуля тогда выбирала между папулями.

— Матушки всегда ведь живут в одиночестве, разве вы не знали? Таким вот образом Природа просит извиненья. — Хэрриет с некоторым удовольствием разглядывала эту полную и довольно некрасивую молодую женщину. Вот уже не поверю, думала она, что ты когда-нибудь подвергалась сексуальным домогательствам. — Разумеется, у меня есть мистер Гаскелл. Но он всего лишь кот.

— И у мамули тоже был кот! Какое совпадение! Правда, на самом деле это был попугай. Но маму-

ля называла его своим зеленым котиком. Он был такой страшно клевый.

— То есть, у него был большой клюв?

— Да нет, не то. Клевый. Уморительный. А вы думали, он клеваться любил? Ну, так или иначе, бедняжка зачах. Мамуля так и не поняла, почему.

— Может, муху проглотил? — Хэрриет широко разинула рот, а потом сделала вид, что зевает.

— Нет. Он просто облысел.

— Какая жалость, подумать только.

— Он просто сидел себе.

— И дрожал? — Хэрриет сделала маленький выразительный жест.

— Да, вот так. Под конец на нем ни перышка не осталось. Он стал совсем как рождественская индейка, только маленькая.

— Ах, мисс Гроуп. Скроуп. — Камберленд, выйдя из своего кабинета, направлялся к ней с вытянутой на ходу рукой. Но вдруг остановился и указал на ее шляпку: — Что случилось с божественной птицей?

— Она улетела.

— Чужая шляпа всегда зеленее, не правда ли?

Хэрриет не стала смеяться.

— Нет, по правде говоря, она просто упала, и ее

сожрал кот.

— Раз — и нету попугая?

— Ну, его не попугаешь.

Пока они обменивались этими краткими репликами, Камберленд вел ее в свой кабинет.

— Моей секретарши сейчас нет, — сказал он, — и я, как анахорет, живу в собственной грязи. — В действительности же, комната казалась такой же аккуратной, какой она была и в прошлый визит Хэрриет. — Ее муж скоропостижно скончался. Это печальная история.

— В самом деле? — Хэрриет решила не подавать вида, что ей что-либо известно об этом, и даже не выказывать никакого интереса: в том деле, ради которого она пришла, любые упоминания об отношениях между нею и Вивьен были нежелательны.

Камберленд быстро зашел за свой письменный стол.

— Но в конце концов, все истории печальны — не так ли?

— Вам виднее. Откуда мне знать.

— Но ведь, верно… — Он собирался сказать еще что-то, но тут на пороге показался Мейтленд, слегка покачивавшийся на каблуках, словно он не знал — пройти ему вперед или удалиться. На

нем был светло-коричневый костюм, который был мал ему на размер, так что казалось, что он держится прямо не столько в нем, сколько благодаря ему. — О! — воскликнул Камберленд, заметив его. — Быть может, это Терпение, взирающее на Скорбь? Он, кажется, смотрит в вашу сторону. — Мейтленд уже собрался было уходить, но Камберленд поднял руку, удерживая его. — Мисс Лоун. Мисс Скроуп. Принесла к нам картину. Нечто весьма романтичное, если я хорошо ее знаю.

Хэрриет обернула портрет старой бежевой шалью, которой зимой обычно утепляла коробку мистера Гаскелла, и теперь она широким взмахом откинула ее, открыв изображение сидящего мужчины. Его правая рука лежала на стопке книг, на лицо его падал свет от свечи. Все трое хранили молчание, а Камберленд сделал шаг назад: что-то в этом лице заинтриговало его, словно он где-то мог видеть его раньше, в совершенно других обстоятельствах.

— Ну… — Он колебался. — Недурно сделано, правда? Для такой вещицы.

Хэрриет была разочарована его тоном.

— Но ведь это оригинал? Это ведь и есть то, что предполагается?

— А что же именно предполагается?

Хэрриет помедлила с ответом. Ей не очень хотелось объяснять ему, насколько важен этот портрет, да и сама она уже не была уверена, что нарисованный предмет, находившийся сейчас у нее в руках, способен выдержать груз той воображаемой жизни, которой его успели облечь.

— Предполагается, что это подлинник.

Камберленд подошел к холсту и стал внимательно его рассматривать.

— Значит, вы верите, что это начало XIX века? Или, скорее, вы верите тому, что видите. — Он указал на надпись в верхнем правом углу: Pinxit Джордж Стед. 1802. — Но вы только взгляните на эти толстые ножки.

— Да его ноги совсем не видны! — Хэрриет почему-то раздосадовалась.

— Я говорю о ножках стола, мисс Скроуп. Уродливая мебель была в те времена в такой же моде, что и сейчас. Мейтленд, ты разбираешься в уродствах больше других. Верно ли я полагаю, что сей предмет мебели относится к 1830-м годам? — Мейтленд кивнул, сел, достал бумажный носовой платок и вытер лоб. — И с волосами тут полная путаница. Мужские прически были величайшей трагедией XVIII века — пожалуй, за исключением

анималистских картин Джорджа Стаббза.[107] Его волосы чересчур гладко прилизаны. Они явно написаны в другую эпоху.

— Я думала, они тогда носили парики.

— Вот именно. — Камберленд на секунду взглянул на голову Хэрриет. Парик скрывает массу безобразий. — Он взял картину у нее из рук и подошел поближе к окну. — Поглядите-ка — я так и знал. За этим лицом есть что-то еще. Там еще одно лицо. Мейтленд, трещотка этакая, подойди взгляни на этого Януса. — Мейтленд медленно поднялся и тоже подошел к окну; там, следя за указующим перстом Камберленда, он различил под нарисованными губами, носом, глазами и волосами смутные очертания другого лица. На холст падал солнечный свет, и Мейтленду показалось, будто это, более старинное, лицо слегка мерцает.

— Вы что хотите сказать — что он двуликий? — Хэрриет пришла в негодование, как будто услышала в словах Камберленда упрек в свой собственный адрес.

— Я хочу сказать, что это фальшивка. — Он осторожно опустил холст на пол. — То есть — ес-

---

[107] Примечания: 107

Джордж Стаббз (1724–1806) — выдающийся английский художник-анималист.

ли подразумевалось, что это именно то, что вы думаете.

Хэрриет раскрыла свою сумочку, с явным любопытством изучила ее содержимое и снова закрыла ее.

— А ведь так непросто отличить, — сказала она, злобно захлопывая сумку, — где подлинник, а где — нет. Вам так не кажется? — С тех пор, как Сара Тилт сообщила ей, что в портрете "что-то не так", Хэрриет приготовилась услышать, что эта картина — возможно, фальшивка. И сообразно с этим она успела продумать свой следующий ход.

— Но ведь есть эксперты, мисс Скроуп.

— Всякий раз, как я слышу слово «эксперт», — ответила она, — я лезу за ружьем. — Она снова раскрыла сумочку, словно собираясь извлечь оттуда помянутое оружие, и Мейтленд отошел от нее подальше. Камберленд изящно оперся о письменный стол.

— Как правило, величайшие эксперты — это те, кто соглашаются со своими клиентами. Они словно застарелые паразиты, кормящиеся чужими ожиданиями.

— И эти эксперты весьма часто ошибаются, верно?

— Разумеется, лишь очень богатые люди могут

позволить себе роскошь принимать их слова всерьез.

— Могу я привести пример? — спросила Хэрриет почти застенчиво.

— Привозите все что хотите.

— Тогда предположим, например, что вы выставляете работы одного современного художника. А потом — снова предположим, — вы обнаруживаете, что его картины систематически подделывались.

Мейтленд грузно осел на стул, а Камберленду удалось устоять на ногах:

— Ну у вас и воображение, мисс Скроуп. Критики были правы.

— А эти эксперты так бы ничего и не узнали — откуда? Им было бы не с чем сравнивать — так что историю с фальшивками никогда бы не раскусили. Теперь, продолжая говорить, она улыбнулась Мейтленду. — Я как раз думала об этом, когда разглядывала ваши чудесные картины Сеймура. — Мейтленд как раз достал еще одну бумажную салфетку и уже собирался приложить ее ко лбу, но так и застыл. — Разумеется, я бы только поаплодировала фальсификатору, продолжала Хэрриет. — Это великий талант. Всякий, кто наделен подобным даром, достоит скорее

награды, нежели тюрьмы, — а вы как думаете? Мейтленд издал глухой стон и откусил край салфетки. — И такой человек мог бы творить чудеса и с другими картинами — не так ли? Ну, просто в порядке предположения, разумеется…

— Разумеется.

— Хороший фальсификатор мог бы даже справиться с этой вот старой вещицей. — Она кивнула на свою картину. — Этот гипотетический умелец мог бы устранить все те мелкие недостатки, о которых вы упоминали, — не так ли? Мейтленд запихнул в рот остатки бумажного платка и теперь медленно пережевывал их.

Камберленд спокойно взглянул на нее.

— И, в конце концов, это были, — сказал он мягко, — всего лишь недостатки. — Он наклонился и снова взял холст в руки. — Я сразу понял, что это замечательный портрет. Каким годом мы его датировали, Мейтленд?

У Мейтленда рот был все еще набит бумагой, и Хэрриет ответила за него:

— Там написано — 1802-й.

— А картины никогда не лгут, верно?

— Насколько мне известно, нет.

Камберленд расстегнул ворот своей рубашки в голубую полоску и медленно покрутил головой.

— Нам нужно позвать эксперта, — сказал он, — чтобы удостоверить ее подлинность как следует.

— Разумеется, я целиком и полностью доверяюсь вашему эксперту. Теперь Хэрриет заторопилась уходить и поднялась со стула. — Так когда мы снова встретимся здесь втроем?

Камберленд издал короткий визгливый смешок:

— Стоит ли говорить, что я по горло в крови? — Наступило недолгое молчание. — Ладно, Хэрриет. Можно мне называть вас Хэрриет? — Та кивнула как могла коротко. — Вы не могли бы оставить картину у нас? Раз уж мы выяснили, как она ценна. — За окном проезжал на большой скорости мотоцикл, и Камберленд состроил гримасу, заткнув дрожащими руками уши.

Как только она ушла, он навалился всем телом на дверь, словно физически стараясь преградить путь любому, кто захочет войти в комнату.

— Так как же, — спросил он, — эта старая сука пронюхала? — Мейтленд вынимал изо рта последние кусочки жеваной салфетки. — Нет. Ни слова, Фрэнк. Только не говори мне, что она сама обо всем догадалась. Она знала. Кто-то разболтал ей. — Мейтленду на миг подумалось, что, быть может, это случилось благодаря какой-нибудь

его собственной промашке, и он нервно достал очередной бумажный платок. Камберленд напряженно размышлял. — Мерк. Должно быть, это был мистер Стюарт Мерк. — Мейтленд наконец испытал облегчение: по крайней мере, он ни в чем не был виноват; теперь он громко высморкался. Нет, и не пытайся защищать его. Мистер Стюарт Мерк нахвастал о своем успехе по разным там лондонским салонам, — Камберленд махнул рукой в сторону Челси, — и эта старая корова все пронюхала. — Теперь он, по-видимому, пришел к какому-то решению; он застегнул рубашку и повернулся к своему коллеге: — Я знаю, что ты собираешься сказать, Фрэнк, но отступать нам некуда. Нам остается только идти вперед. Мерку придется уладить дело с этой… этой… — он бы с огромным удовольствием продырявил своим блестящим полированным ботинком лицо на картине, — …с этой вот штукой. Ему придется поработать над ней, чтоб умаслить эту суку. Нет, не задавай мне больше никаких вопросов. Я слишком подавлен, чтобы разговаривать с тобой сейчас.

* * *

Пора. Уже пора относить стихи в память о преставившемся олдермене Ли, и Чаттертон спешит вернуться из кофейни на Шу-Лейн в свое жилище. Элегию должны напечатать сразу, а вот сатиру не лучше ли приберечь до чьей-нибудь еще смерти? Он вспоминает свой диалог с аптекарем, мистером Кроссом; как странно, что мне приходится раздумывать о смерти в эту летнюю жару. Скончаться в знойный день, в разгар щедрого лета, среди этого нескончаемого сиянья: вот загадка, которой я пока не в силах разрешить. Но его мечтания прерываются на углу Брук-стрит, где стоит на одной ноге и медленно поворачивается мертвецки бледный человек. Чаттертон останавливается и читает надпись на табличке, выставленной рядом с ним: "Мастер Поз. Чрезвычайный Показ Поз и Подвигов Телесной Мощи".

Поворачиваясь, он замечает Чаттертона.

Я — модель земного шара, говорит он. Я вращаюсь вокруг собственной оси и вторю движениям самой Природы.

Он резко останавливается и, продолжая пристально глядеть на Чаттертона, подражает голосу соловья, а потом реву быка.

Чаттертона это занимает, и он швыряет пенни в деревянный ящик возле таблички.

А вы умеете изображать и шумы, и разные формы?

Мастер поз подмигивает ему и восклицает высоким голосом:

Как на мягкой траве
Овцы блеют: «Бе-е!»

Затем он становится боком, складывает перед собой руки калачиком, упершись кулаками в живот, а правую ногу сгибает в колене, заводит вперед и наступает на свою левую ступню, так что его тело изображает эту самую букву.

А теперь без труда
Покажу я вам «А-а!»

Он мигом сгибается пополам, одной рукой касаясь земли, а другой вцепившись в коленку.

Не бывает чудес?
Но глядите-ка: «Эс!»

Он ложится на спину и, обняв себя за туловище, тянет ноги кверху, а потом загибает их к лицу. Потом он подскакивает и тычет пальцем в сторону Чаттертона.

А что иное эти человечьи символы означают, как не ВАС, сэр? Вас! Вас!

Чаттертон смеется, но почему-то его охватывает испуг.

Да, сэр, вы смеетесь, но взгляните, откуда льется ваш смех.

Он прикрывает губы ладонью, а когда отнимает ее, то рот как будто исчез, и нижняя половина лица совершенно пуста. Чаттертон вглядывается в него, а затем повторяет тот же трюк. Мастер поз угрюмо смотрит на него и принимается кружиться на каблуках с такой скоростью, что нельзя как следует рассмотреть ни его спины, ни лица. А Чаттертон, смеясь, в точности подражает всем его движениям, и они вдвоем бешено кружатся на грубой земле. Мастер поз останавливается первым; он с жестом мольбы простирает руки к Чаттертону и глухо бормочет: Да ты просто сумасшедший мальчишка.

Не такой уж сумасшедший, нет.

Ему не нравится, когда его называют мальчишкой. Не такой уж сумасшедший, чтобы нуждаться в жалости таких, как ты.

Мастер поз покачивается на каблуках и поднимает обе руки над головой.

Гордец, как я погляжу, гордец — ни дать ни

взять Люцифер!

К Чаттертону возвращается хорошее настроение.

Так значит, ты запомнишь меня, раз я такой гордец?

Он направляется к двери дома, где находится его каморка, и кричит через плечо: Ты запомнишь меня!

* * *

— Так значит, вот она — да? — Стюарт Мерк держал картину, поднеся ее к свету. — Вот эта маленькая красавица.

Камберленд едва не поморщился.

— Так мне сказали, Стюарт.

— Называйте меня просто Стью, ладно? Все друзья меня так зовут. Говоря это, он внимательно изучал портрет. — Ну, настало время для старого доброго нескафе.

Камберленд позвонил Клэр и попросил сделать кофе.

— Ах да, — сказал он, изящно заслонив ладонью микрофон. — Стюарт. Стью. Вам черного или с молоком?

Мерк снял свои очки в проволочной оправе, медленно покачал головой и рассмеялся.

— А, это шутка, да? — Камберленд был озадачен. — Кофе мне нужен для картины. Если смешать его гранулы с краской, это дает верный эффект состаривания.

— Как чудесно. До сей поры я пребывал в неведении, словно инфанта. Может, мне перейти на чай?

— Видите ли, со старыми штучками надо обходиться заботливо. — Мерк поглядывал на него с лукавой усмешкой. — Они ведь ломкие. Так и норовят рассыпаться.

— В их возрасте — боюсь, разве лишь в благодарностях. — Он уже стал подозревать, что Мерк наделен чувством юмора.

— А вот вам не по вкусу старые штучки, я прав? Вы предпочитаете молодых штучек.

В этот момент вбежала Клэр, неся поднос с тремя чашками кофе.

— А где Зам? — спросила она, заглянув за дверь — на тот случай, если Мейтленд спрятался там от нее.

Камберленда раздосадовало ее вторжение как раз в этот момент.

— Наверно, он навещает матрону, Клэр.

— Матрону?

— Да я правда не знаю, где он. Только что он

ушел пудрить нос.

— Заглянуть в его кабинет?

— А может, лучше в ящик Пандоры?

Мерк продолжал пристально рассматривать холст, и теперь он вмешался:

— В некоторых местах трещинки есть только на лаке: вот здесь, здесь…

— …Давайте мы поговорим об этом после того, как отведаем замечательного кофе, который приготовила нам Клэр. Пусть даже он жутко состарит нас.

Он выпроваживал ее из кабинета, но она неожиданно остановилась:

— Ах да, звонила Вивьен. Она зайдет сегодня утром, просто повидать нас.

— Прекрасно. — Он вытолкнул ее из кабинета, послал ей вдогонку воздушный поцелуй и закрыл дверь.

Мерк скорчился на полу перед холстом, и Камберленд, вернувшись в комнату, смерил одобрительным взглядом его стройные ягодицы.

— У вас такой вид, как будто вы приготовились к порке, Стюарт. Стью.

— А что, я провинился?

— Ну, уж в это-то я нисколько не сомневаюсь. — Он шагнул в сторону Мерка, но молодого

человека гораздо больше интересовала картина.

— И ведь не только лак растрескался, верно? Но и краска тоже. Здесь очень много разных слоев.

Камберленд подошел поближе и встал позади него.

— А может быть, это просто подмалевок?

— Нет. Под этой картиной явно скрыта еще одна — а может быть, и больше. Видите вот тут, да? — Мерк обвел очертания лица на портрете. Кто-то его изменил. Краски, которыми написано тело, слишком ярки.

Камберленд призадумался.

— А если изначальная картина и вправду намного старше, то нельзя ли содрать верхние слои и сохранить самый нижний?

— Вы правда хотите, чтобы я все это содрал? — Мерк по-турецки сидел на полу рядом с холстом. — Чтобы я это вскрыл?

— Я в ваших руках, Стюарт. Стью.

— Для вас я готов на все. Разумеется, я это сделаю. Мы ведь теперь партнеры. — Мерк сразу же понял, что эта картина содержит наслоения сразу нескольких изображений, выполненных в разное время: на руках телесная окраска поблекла, зато на лице она была по-прежнему яркой, свинцовые белила свечного пламени приобрели

синевато-серый цвет, а те, что были использованы для заглавий книг, сохранили прежний оттенок. Само же лицо, казалось, приобрело черты трех или четырех различных изображений: Мерк решил, что потому-то оно и производило такое тревожное впечатление, а что касается глаз, то они обладали глубиной, но были лишены яркости. Он уже понял, что придется целиком удалить краску, а потом, с помощью тех очертаний на холсте, начать все заново. Но он все еще затруднялся определить, кого из художников той поры избрать себе в качестве образца: как было известно Сеймуру, Стюарт Мерк был искусным и тонким живописцем, но придавал чрезмерное значение технике. Для него удовольствие от писания картин заключалось в формальном исполнении, а не в творческом поиске, в мимесисе, а не в изобретении. И вот, теперь он говорил Камберленду:

— Я могу восстановить прежние очертания, но я не в силах воскресить утраченные цвета. Мне придется пользоваться новыми красителями. — В дверь постучали, но оба были так поглощены своими мыслями, что не услышали стука. — Но ничего страшного. Я могу вытемнить краску грязью и кофе. А потом суну холст в печку.

— В печку?

— Ну, чтобы появились трещины — понятно? А затем я их отделаю с помощью иголки. Это будет лучшая фальшивка, какую вы только видели. И уж во всяком случае, она будет лучше вот этой. — Позади них послышался чей-то судорожный вдох и внезапное движение. Оба одновременно оглянулись и увидели, как падает в обморок Вивьен Вичвуд.

* * *

Чаттертон входит в свою комнату и запирает за собой дверь. Позируй себе дальше, мой мастер, а мне надо завоевывать другой мир. Я лягу в гроб иль сделаюсь здоров. Затем он некоторое время нетерпеливо роется в карманах, ища мышьяк с лауданом. Но вот они здесь, в пальто: не вылетели, пока он кружился. Вы липнете ко мне, как к магниту. Я — Арктический край, а вы — мои льды и снега. Но покамест спрячьтесь-ка. Он взбирается на стул и кладет мешочек и стеклянный флакончик на высокую полку, за медную грелку. Здесь их миссис Ангел не найдет — если только у нее нет крыльев. Но как это он любил повторять себе там, в засраном Бристоле? Господь послал своих тварей в мир, наделив их такими

руками, которые дотянутся до чего угодно, коли возьмутся за поиски. Так что потаскушка может обнаружить мои снадобья — ну и что с того? Она может тоже вылечиться, хотя, скорее всего, пренебрежет ядом и напьется лаудана.

Пора относить элегию. Песни Аполлона должны одержать верх над радостями Морфея. Он соскакивает со стула, сотрясая дощатый пол, и подхватывает стихотворение, оставленное на столе. Вот славные стихи, говорит он вслух, весьма трогательное творение. Потом садится на краешек кровати и начинает перечитывать сатиру, улыбаясь собственной находчивости.

Мистер Чаттертон! Мистер Чаттертон! Он слышит тяжелые шаги миссис Ангел, которая взбирается по последнему лестничному пролету. Мистер Чаттертон! Он стремительно встает, на цыпочках подходит к двери и, не говоря ни слова, прикладывает к ней ухо. Мистер Чаттертон! Она тихонько стучит, а потом дергает за ручку. Это ваша Сара, мистер Чаттертон. Мне послышалось, вы падали? Может, на вас давит какая-то тяжесть, мистер Чаттертон, от которой я могу вас избавить? Он прижимает ухо к двери, но ничего не говорит, едва осмеливаясь дышать. Я же знаю, что вы здесь, говорит она более грубым голосом.

Я видела, как вы входили.

Он слышит, как она берется за ключи, которые привязывает к фартуку, и внезапно его охватывает гнев. Так всегда и в детстве бывало, когда мать отвлекала его от сочинительства.

Оставьте меня в покое, миссис Ангел! Оставьте же меня!

Но почему вы запираетесь от меня, от бедной вдовицы, которая выказала к вам столько доброты? Да столь разными способами.

Его ярость возрастает.

Мне нужно побыть одному! Мне нужно работать! Мне нужно писать!

Ох, говорит она разочарованно, да вы ж вечно за своими занятиями. Я слышу, как вы взад-вперед вышагиваете у меня над головой. Но не все же нам трудиться, а когда и порезвиться — как там в поговорке…

Его гнев понемногу унимается, и он понижает голос.

Миссис Ангел, мне нужно работать, чтобы жить. Так что, пожалуйста, оставьте меня ненадолго. Попозже я к вам приду и принесу кое-что, что, верно, придется вам весьма по нраву. Я принесу ей мышьяк с опиумом, и мы вылечимся в одну ночь.

Ах, так вы покажете бедняжке Саре стихи совсем иного рода? Она издает смешок. Что такое слова в сравнении с делами? Я буду ждать, Том. И, покачав головой, она спускается по лестнице.

Чаттертон облегченно вздыхает и возвращается к своей сатире, перечитывая ее снова и снова, пока его собственные слова не успокаивают его. Коли миссис Ангел подо мною, то весь мир — передо мною: теперь никто не смеет меня трогать. В этом новом настроении он берется за карандаш и на клочке бумаги записывает две новые строчки против олдермена Ли:

О Небо, снизойди – коль перестал он жить

Ему сей грех последний отпустить.

Но издатели ждут элегию. Сатира может подождать, и он откладывает в сторону эти новые строки; они падают со стола на пол, где их найдут на следующее утро.

Он уже собирается уходить, но останавливается возле двери и снимает с вешалки свое коричневое суконное пальто; оно сшито по последней моде — с длинными петличками и глубокими карманами, и, несмотря на жаркое утро, он надевает его. Теперь он прочно огражден от мира.

Он медленно открывает дверь и крадется вниз по ступенькам. Выйдя на улицу и заметив, что мастер поз уже исчез, он тихонько присвистывает.

Присутствие Города и деревни располагается над гравюрной лавкой на Лонг-Эйкр, и потому от Верхнего Холборна он сворачивает влево, на Чансери-Лейн, и идет по Линкольнз-Инн-Филдз. Потом, чуть помедлив перед доходными домами возле Клэр-Маркета, где на него тут же налетает вонь, он поворачивает влево, на Дьюк-стрит, и торопливо проходит по Грейт-Уайлд-стрит, где совсем недавно выкопали известковую яму. Жильцов из всех ближайших переулков и домов выселили из-за угрозы оседания почвы, но, проходя мимо одного из пустых домов, он улавливает внезапное движение в одной из голых, ободранных комнат. Он останавливается, всматривается сквозь дверь, наполовину сорванную с петель, и на миг ему чудится, что он видит ребенка, стоящего в углу с простертыми руками. Но по солнцу пробегает тучка, и с неожиданной переменой освещения все исчезает. Наверное, то был фантом его собственного воображения: Чаттертон знает, какие штуки оно с ним проделывает, и знает, что единственные обитатели этого места — рабочие, которые — с их кожаными шапочками, привя-

занными к голове, и лицами, перепачканными белым и серым пеплом, — походят на рой каких-то подземных духов.

Чаттертон сворачивает за угол Грейт-Уайлд-стрит, в Мизерикорд-Корт, и видит там двух лошадей, привязанных к железным шестам. Лошади стоят понуря головы, и в царящей здесь тишине он слышит, как они мирно дышат. Это дыхание мира, думает он, его движенье вверх-вниз. Но в тот же миг раздается грохот, скрежет и треск, которые налетают на него, как буйный ветер. Под ногами у него трясется земля, и лошади в испуге пятятся в его сторону; оглянувшись туда, откуда он только что пришел, он видит, как старый дом трясется будто в лихорадке, так что воздух вокруг дрожит, а потом часть здания обрушивается. Чаттертон с криком бросается туда, но ему преграждают путь двое работяг. Они протирают глаза и усмехаются ему.

Там ребенок, кричит он, мне кажется, я видел там ребенка.

Да куцы там, какие ище робенки. Пустой дом, сэр, пустым-пустехонек. Вот-вот рухнется.

Не бывает пустых домов, отвечает он, и они смеются над ним. Но он уже с криком бежит туда.

Дом Чаттертона больше не существует.

* * *

Хэрриет Скроуп добралась до Брук-стрит, чтобы найти ту мансарду, где юный поэт совершил самоубийство, но на той стороне улицы построили компьютерный центр и повесили на его кирпичную стену синюю табличку: "В доме, стоявшем на этом месте, 24 августа 1770 г. скончался Томас Чаттертон". Она уселась на край бетонной клумбы и взглянула на эту маленькую памятную доску. "Интересно, — проговорила она, — а мне что-нибудь такое повесят?"

Мимо прошла пожилая пара, лишь мельком бросив взгляд в ее сторону, но Хэрриет отчетливо расслышала, как женщина сказала: "Бедная старушка, сама с собой разговаривает. Ей бы в приюте место".

Внезапно она почувствовала, что страшно устала — устала от Чаттертона и от погони за ним. Вначале его воспоминания — или «исповедь», как назвал их Чарльз Вичвуд в своем предисловии, — заинтриговали ее; она с жадностью прочла все бумаги, которые отдала ей Вивьен. Но оказалось, что ее больше всего притягивал элемент тайны. Теперь же, когда все разъяснилось, она понемногу утрачивала интерес. Она всегда предпочитала

такие истории, в которых конец так и оставался неразгаданным. Да и какое все это имеет значение? "Дальше караван идет, — опять сказала она вслух, припоминая какой-то стишок поры своего детства, — камень в миску брось и плюнь. — Она пошевелила пальцами ног. — А уж слюны-то у старушки хватает". Но она уже стареет. Скоро она присоединится к Чаттертону под землей — так что проку разыскивать его сейчас, здесь? К чему ей беспокоиться о мертвецах, когда вокруг нее столько живых? Она встала с клумбы и пошла обратно по Чаттертоновой улице. Но это была не его улица. Он покинул ее два столетия назад — так к чему ей следовать за ним?

14

Чаттертон останавливается перед разрушенным домом. Фасад и одна из боковых стен уже обрушились, и он задыхается от пыли, все еще висящей в воздухе; в мгновенной тишине, наступившей вслед за обвалом, слышен грохот повозок, проезжающих по Лонг-Эйкр. И там, в зазубренном углу передней комнаты, возле лестницы — уже просевшей, но еще не рухнувшей, — он замечает, что среди обломков валяется дешевая деревянная кукла — безлицая кукла с руками и ногами, прикрученными к туловищу проржавевшей проволокой. В этом самом углу ему и померещился тогда ребенок. Солнце припекает ему голову, и он чувствует кислый запах ветхого дома, а тонкий столбик дыма вьется, словно жертвенное воскурение, вздымаясь от битого щебня ввысь, к яркому небу. Он слышит какой-то шорох под лестницей и, боясь крыс, отступает назад. Но потом нагибается и всматривается в тени — и вдруг видит чье-то лицо.

Выходи, говорит он. Ради Бога, выходи оттуда. Ступеньки сейчас обвалятся. Выходи же!

Лицо ребенка искажается, из его рта излетает

странная высокая нота. Чаттертону этот звук напоминает крик какого-то животного, потерявшего детеныша, и на миг его охватывает страх. Выходи же, повторяет он, пока нас обоих не задавило насмерть. Осененный внезапной догадкой, он подбирает с земли куклу и начинает манить его: он медленно пятится, размахивая куклой, а ребенок, поскуливая, ползет за ней. Чаттертон выбирается на улицу и останавливается, пока ребенок копошится в развалившемся дверном проеме. Хотя он наполовину скрыт в тени, Чаттертон замечает, что на нем обветшалые бриджи и рубаха — сущие лохмотья. Похоже, что ему лет десять-одиннадцать. И вдруг Чаттертон замечает, какая у него огромная голова и какое маленькое тельце. Гидроцефал. Бедный идиотик.

Выходи, возьми свою куколку. Я не причиню тебе зла.

Он протягивает руку и держит куклу перед мальчиком.

Тот выходит из тени дома и заговаривает.

Дяй мне.

Чаттертон дает ему куклу.

Как тебя зовут? Смотри, меня зовут Том. Он тычет себе в грудь. А ты кто?

Тыкытоо? Мальчик целует куклу и прижимает

ее к своей щеке.

Том. Я Том. А ты кто?

Том. Мальчик, подражая ему, тоже тычет себе в грудь и улыбается. Том.

Чаттертону почему-то становится стыдно. Тебе нужно уйти отсюда, говорит он, иначе ты умрешь. Этот дом упадет.

У-пы-дет? Он склоняет голову набок и заботливо смотрит на куклу. У-пы-дет?

Без слов, думает Чаттертон, не существует ничего. Не существует настоящего мира. Без слов я даже не могу предостеречь или защитить тебя.

Гляди, говорит он, вынимая из кармана пальто монетку. Гляди, вот это тебе. Еда. Он поднимает шестипенсовик повыше, и тот сверкает на солнце.

Но мальчик продолжает нянчиться с куклой. Без слов ты пребываешь в ином времени. Ты существуешь в каком-то другом месте, где тебе спокойно. Мальчик замечает блестящую денежку и выхватывает ее у Чаттертона. Еда. Ты должен купить на нее еды. Чаттертон жестами показывает, будто что-то ест. Ты понимаешь это слово?

Слава. Мальчик тоже засосывает руку в рот. Слива. Слева.

Ну вот, Том, ты, оказывается, можешь учиться.

Как мальчик ухитрился здесь выжить, Чаттертон даже представить себе не мог, но он не раз слышал рассказы про увечных детей, брошенных родителями и бродяжничавших по улицам. А что, если они сами становились похожими на этот город — угрюмыми, скрытными, неуязвимыми?

Мальчик протягивает ему деревянную куколку. Ты. Кукла. Ты.

Нет, говорит он, не надо.

Она твоя. А если бы его самого бросили, то стал бы он таким же, как этот вот ребенок? На мгновенье он всматривается в мальчика так, словно пытаясь разглядеть в нем самого себя.

Мимо проходят двое работяг.

А, вишь ты, вона тот робенок? Не завалило тут иво?

Нет-нет, он теперь в безопасности.

Чаттертон не хочет, чтобы они подходили слишком близко. Ему хочется, чтобы они шли своей дорогой.

Приходской робенок, штоль? Да какой оборвыш.

Работяги смеются, и мальчик смеется вместе с ними — протягивая куколку, чтобы они ее увидели. Видать, он мистер Панч, а? И они идут дальше, продолжая смеяться.

Лучше дать ему мышьяку, думает Чаттертон, чем оставить его тут безо всякой защиты от этого грубого мира… но у меня уже не осталось времени. Нужно срочно относить элегию. Мне пора идти, говорит он. Мне надо кое-кого повидать. Он поворачивается, чтобы уходить, и мальчик издает истошный вопль. Ну нет. Еще не хватало, чтоб он ко мне привязался. Чаттертон оборачивается. Он не хочет прикасаться к ребенку — он видит, что его кожу покрывает корка грязи, — но делает шаг в его сторону. Я приду к тебе снова. Завтра. Я приду сюда завтра. Он делает какое-то движение руками, пытаясь изобразить следующий день. Завтра. Я буду здесь. Твой друг. Том приходит сюда.

Чаттертон спешит на Лонг-Эйкр, в присутствие Города и деревни, и там он рассказывает о маленьком идиоте мистеру Кроуму — редактору и издателю, выпускавшему этот почитаемый журнал.

Что ж поделаешь? Это mobile vulgus,[108] мистер Чаттертон, mobile vulgus. Да уж лучше улица, чем Бедлам.

А где же тут различие, мистер Кроум?

---

[108] Примечания: 108
Чернь (лат.).

Ах, сэр, я вижу, вы не счастливы в наш просвещенный век.

Когда я только приехал в Лондон, мне казалось, будто я вступил в некий новый век чудес, — но, оказывается, эти вонючие улочки и битком набитые жилища плодят одних только монстров. Монстров, которых мы сами и порождаем…

Кажется, вам это доставляет удовольствие, мистер Чаттертон. Вы усматриваете в этом поэзию, не правда ли? На вашем лице играет улыбка.

И в самом деле, Чаттертон разражается смехом.

На следующее утро мальчик ждал его возле разрушенного дома; он провел там целый день, нянчась со своей куклой, но Чаттертон все не появлялся. И он возвращался туда каждый день, разыскивая рыжеволосого незнакомца, который подарил ему блестящую монетку, — но никто не приходил. Постепенно Чаттертон изгладился из его памяти, да и сама улица переменилась, но мальчика-идиота с тех пор всегда звали Томом.

* * *

— Но зачем Хэррие отнесла им картину?

— Ну, наверное…

Эдвард прервал их:

— Филип, а почему поле сразу и зеленое, и желтое?

— Кое-где трава еще живая, а кое-где уже мертвая. Но вместе получается одно поле.

Эдвард на минутку призадумался, а потом мысли его перескочили на что-то другое.

— Смотрите, — сказал он, — там дождь совсем как привидение! — Он показал на дальнюю часть поля, откуда на них медленно надвигался нежданный ливень. Было воскресенье, и они поехали за город. В течение нескольких последних недель они втроем — Вивьен, Филип и Эдвард — регулярно садились в бежевую «форд-кортину» Филипа и отправлялись в "таинственное путешествие", как он это называл. На этот раз они оказались в Саффолке; они прогуливались по тропинке между двумя полями, а теперь приблизились к опушке небольшой сосновой чащи.

— Пошли! — закричал Эдвард. — Там до нас привидение не доберется! — Он первым побежал в лес, наступая на опавшие сосновые иголки, и его смех гулко раздавался среди стройных деревьев.

— Так почему же она отнесла им картину? — повторила Вивьен свой вопрос.

Прошло две недели с тех пор, как она увидела портрет в кабинете у Камберленда и услышала,

как Мерк говорит: "Это будет лучшая фальшивка, какую вы только видели. И уж во всяком случае, она будет лучше вот этой". И тогда она упала в обморок. Она сразу узнала, что это та самая картина, которую торжествующий Чарльз принес домой, но в этой непривычной обстановке она казалась какой-то хрупкой, нереальной: она сделалась для Вивьен еще одним вестником Чарльзовой смерти. А внезапно осознав, что это подделка — и что Чарльз ошибался, — она ощутила такую беззащитность, что без сил упала на пол. Весь запас жалости к себе, накопившийся со дня его смерти, разом навалился на нее.

Они шли вслед за Эдвардом к сосновой чаще.

— Наверное, Хэрриет хотела удостовериться в ее подлинности, — сказал Филип. В действительности он подозревал ее в куда менее благовидных намерениях, но понимал, что любой намек на это лишь еще сильнее расстроит Вивьен. — Она просто проверяла. Или, скорее всего, она принесла им ее для реставрации. Ну, чтобы отчистить ее как следует. А они и обнаружили, что это…

— Фальшивка. Дешевая подделка. Но как же так — она простояла у нас столько времени, а мы даже ничего не заподозрили? — В ее голосе как будто послышалась обвинительная нотка, и

Филип покраснел. Они продолжали идти молча, а Эдвард бежал впереди, гоняя между деревьями синий футбольный мяч. — Я помню, как она много значила для Чарльза, — сказала Вивьен немного погодя; теперь ее тон переменился. — Он всегда держал ее рядом со своим столом. А иногда, знаешь… — тут она рассмеялась. — Иногда он с ней разговаривал.

Филип на миг отвернулся.

— Мне кажется, — сказал он, — что его стихи изменились после того, как он нашел ее.

— Может быть, это она его нашла.

— Знаю. — Ветер колыхал верхушки сосен, и Филип заметил, что кое-где осыпавшаяся с них хвоя застряла на нижних ветках, как клочья волос.

— Но раз картина — фальшивка, — продолжала она, — то не означает ли это…

— Манускрипты? — Филип уже раздумывал над тем, не были ли Чаттертоновы документы на самом деле совсем не тем, за что принимал их Чарльз; но он еще не знал, каким образом намекнуть на это Вивьен.

— А ведь помнишь, — говорила она, — как он был уверен. Он прямо голову терял от этих бумаг. — Ей казалось, будто самого Чарльза вновь

изгоняют из этого мира, и он скользит к огню, готовому поглотить его. Ей нужно было не допустить этого: нельзя, чтобы та истина, которую он обрел в своих открытиях, та вера, которой он проникся к ней, — оказались вдруг разоблачены как фальшивка. Его нужно было защитить, пусть даже после смерти. — Нам нужно забрать их, — сказала она, — пока не наделано большего вреда.

Филип понимал, что она имеет в виду: лучше оставить эти рукописи в покое, оставить их в том виде, в каком они были до смерти Чарльза, и не совершать больше никаких попыток доказать или опровергнуть их подлинность. Разве он сам не говорил всегда Филипу, что в неоконченной работе есть какое-то очарование и даже красота: голова, разбитая скульптором и затем брошенная им; стихотворение, прерванное да так никогда и не завершенное? А почему бы и историческим исследованиям не оставаться незаконченными, существуя в качестве возможности и не скатываясь к блеклому знанию?

— Я не должна была отдавать их Хэрриет, — сказала Вивьен. — Но я сама не соображала, что я делаю. Меня так потрясла смерть Чарльза. И нам было так трудно…

— Здесь нора! — прокричал Эдвард. — Кроли-

чья нора! Совсем как в "Алисе в стране чудес"!

— Все думали, что я «держусь». Именно так они и говорили. А на самом деле — ничего подобного. Просто мне казалось, что все это происходит с кем-то другим. Даже когда я плакала, то как будто кто-то другой плакал вместо меня.

— Ну не надо…

— Нет. Я хочу все это вспомнить. Я хочу вспомнить все. — Взяв его под руку, она продолжала: — Даже Эдвард словно играл какую-то роль. Мы оба ждали — ждали, чтобы сделать первый шаг. Но я не знала, как…

— Тебе надо было сказать об этом мне.

— Но что бы я сказала тебе? Что все казалось ненастоящим? Что все мне угрожало? Ты бы не защитил меня от моих собственных страхов.

— Думаю, что нет. Я тоже не знал, как тебе помочь, — ответил он. — Я обо многом думал, но… — он нагнулся подобрать ветку, — но теперь незачем об этом печалиться. Теперь я все заберу у Хэрриет Скроуп. — Он ударил веткой о ствол дерева, и от этого внезапного толчка на них пролился душ из дождевых капель.

— Но как ты это сделаешь? Я ведь сама ей все отдала. Я не могу просто взять и потребовать их обратно. И она сама так обрадовалась рукописям,

говорила, что нужно их издать…

— Идите сюда, — закричал Эдвард. — Здесь речка!

Они двинулись дальше; Филип воинственно размахивал палкой в воздухе.

— Но с чего мы взяли, — сказал он, — что бумаги действительно принадлежали Чарльзу?

— Что ты хочешь этим сказать?

— Я так до конца и не знаю, что произошло в Бристоле. Он просто вышел из того дома с кипой бумаг в продуктовой сумке.

Она рассмеялась.

— Он никогда не любил вдаваться в объяснения, правда?

Как только Вивьен сказала это, Филип осознал, что они с Чарльзом никогда как следует и не говорили — и не потому, что чувствовали себя неловко друг с другом, а потому, что каждый разговор казался им лишь промежуточным, лишь одним из многих разговоров, которые будут все время продолжаться. Они и не догадывались, что все это может внезапно оборваться.

— А я ведь даже не знаю, — сказал он, — как Чарльз набрел на тот портрет.

— Ну, об этом тебе все расскажет Эдвард. Они вместе ходили в ту лавку старьевщика. — Но

она еще раздумывала над его предыдущим замечанием. — А что тебя все-таки смущает — с Бристолем?

— Да все очень просто. Что, если бумаги не принадлежат Чарльзу, и что, если подлинный владелец хочет вернуть их себе? Тогда Хэрриет придется расстаться с ними. Теперь ты понимаешь?

— И больше никто об этом никогда не узнает?

— Никто. — Он подбросил ветку в воздух, и она исчезла где-то в гуще деревьев.

— Но как же ты узнаешь, кто их действительный владелец?

— Я пойду по следу. Я снова съезжу в Бристоль и поговорю с тем человеком, который отдал бумаги Чарльзу. Тут что-то не так, я это чувствую. Мне бы раньше догадаться…

— Да нет, не было никакой причины…

— Но я раскрою истину. Я выясню, что такое эти манускрипты на самом деле. А потом нанесу визит Хэрриет Скроуп.

Эдвард побежал обратно к ним.

— Это как лес, который снится во сне — правда, мама? Тут так тихо. Он снова убежал.

— Этот мальчуган, — сказал Филип, смеясь, — станет поэтом.

— Он скучает по отцу. — Тут палка свалилась на землю, пролетев сквозь ветви деревьев, и Вивьен подняла ее. — Но он ничего не говорит.

— Да, мальчики обычно скрытны. Они ищут какую-то замену. — Филип никогда прежде не разговаривал с Вивьен так откровенно, и он только теперь начинал сознавать, что может разговаривать: теперь, когда он чувствовал ответственность за них двоих, ему больше не мешали его обычные нервозность и застенчивость. — Событие, которое для нас — трагедия… — он немного помедлил, — для них — просто перемена.

Эдвард гонял между деревьями синий мяч.

— А ты когда-нибудь замечал, — спросила Вивьен, — как трудно разглядеть синий цвет в таком освещении?

— Нет, — ответил Филип. — Я никогда этого не замечал. — Внезапно он ощутил сильную любовь к ней — и побежал к Эдварду, крича, чтобы тот сделал ему подачу.

* * *

Я полагаю, Дэн, что писатель, который не способен писать на одну и ту же тему с противоположных позиций, — попросту неумеха. Он недостоин своей…

Своей платы?

Своей Музы.

Ну, когда ты толкуешь о Музах, я попадаю впросак. Мне о них ничего не известно.

Дэниел Хануэй, сочинитель всякой всячины, эподист и литературный поденщик, сидит вместе с Чаттертоном в питейном павильоне в Тотхиллском увеселительном саду. Они пришли сюда по настоянию Хануэя, так как ему не терпелось поглазеть на здешних дамочек. Но Чаттертон уже принялся рассуждать о более высоких материях.

Когда я сочиняю восхваления в честь покойного старика Ли, говорит он, то я пишу от чистого сердца; но когда я сочиняю на него же хулы, проклиная его и осуждая на адову яму, — то поступаю столь же искренне. Он берет со стола стакан бренди с горячей водой. А знаешь почему, Дэн?

Почему, Том?

Потому что мы живем в век поэзии, а поэзия никогда не лжет! Так выпьем за Музу!

Он поднимает свой стакан и проливает немного бренди на свой галстук.

А ты — дитя этого века, да, Том?

Да нет, какое я дитя? Эй, еще бренди сюда! Разве я выгляжу как дитя?

Мальчишка приносит им еще один кувшин,

а оркестр в ротонде начинает играть музыку; и тотчас же среди дорожек и павильонов зажигаются факелы. Чаттертон откидывается на спинку стула и смотрит по сторонам.

Внезапное преображение, Дэн, вполне достойное пантомимы.

А ты — бесенок, я полагаю? Хануэй тоже порядком набрался. Погляди-ка, Том: видишь вон ту бабенку за деревьями? Он показывает в сторону крытого променада, завершающегося купой деревьев. Готовь-ка хуй да целься в нее.

Но Чаттертону слепит глаза свет факелов: все блестящие предметы ему напоминают о его грядущей славе, и он чувствует тепло на своем лице. Я смотрю на пламя и вижу все перед собою. Он оборачивается к своему собеседнику. Дэн, Дэн, расскажи мне о тех поэтах, которых ты знал.

Хануэй неохотно отрывает взгляд от той дамы. А-а. О поэтах. Ну, был такой Туксон — злобный старикашка с ядовитым пером. Он все захаживал в таверну «Геркулес» — верно, знаешь такую на Дин-стрит? Он бывал там так часто, что его даже прозвали Геркулесовым столпом.

Нет, не о таких, как он. Расскажи мне о настоящих поэтах, Дэн.

Хануэй улыбается.

Да кто я такой, чтобы судить — кто настоящий, а кто ненастоящий?

Но ты ведь знал Каупера. И Грея.

Редкостные типы. Оба. Грей, бывало, напивался так, что падал замертво на землю, а потом просыпался радостным и веселым, как младенчик на груди матери. Но над ним никто не смеялся. Что-то в нем было такое…

Что-то такое? Но что же?

Чаттертону не терпится узнать именно это о своих предшественниках. Хануэй наполняет свой стакан.

Понимаешь, он расхаживал среди нас, но мыслями находился где-то в другом месте. Но тебя этим не удивить.

Почему это?

Да потому что ты сам такой же. Никто над тобой не смеется. Пусть даже ты всего лишь мальчишка. Хануэй ставит стакан на стол, и факельные отблески освещают глубокие морщины на его лице. У тебя еще многое впереди, Том. А моя песенка спета.

Да ты еще меня переживешь, Дэн…

Нет, не спорь. Я свою жизнь уже загубил, а ты — у тебя великое будущее. Он снова наполняет свой стакан, а потом стакан Чаттертона. Разрешите

пожать вашу руку, сэр. Их руки соединяются в пожатье над дубовым столиком. Смотри-ка, одна движется вперед, а вторая удаляется. Мы лишь ненадолго встретились в своих странствиях. А теперь я тебя отпускаю. Хануэй отнимает руку и смеется.

Чаттертон по-прежнему серьезен.

К чему толковать о кончине, Дэн, ведь и сама жизнь куда как зыбка. Я тебе не рассказывал о маленьком идиоте, которого встретил сегодня утром на Лонг-Эйкр?

Еще нет, Том, еще нет. Хануэй чем-то озабочен. Ну, раз мы заговорили о странствиях, то мне пора. Он кивает в сторону той дамы в крытом променаде. Меня ждет вон та маленькая лань, но мне нужно подобраться к ней прежде, чем мой лук выстрелит. Он встает из-за стола, но перед уходом еще раз оборачивается к Чаттертону. Забыл спросить тебя про то лекарство. Гроб-или-здоров.

А, я его приму сегодня вечером. Чаттертон смеется, хотя от одной мысли об этом ему делается не по себе. Уж верно, и для тебя там останется, Дэн. Тебе ведь тоже может пригодиться, когда утро настанет.

А у меня уже не встанет. Хануэй смеясь уходит.

Чаттертон снова наливает себе. Дэн прав. Надо

мной никто не насмехается. Я — Томас Чаттертон, и наступит время, когда весь мир будет поражаться мне. Никто еще не знает, что я теперь собираюсь написать. Он пошатываясь встает со стула и идет между факелов к входным воротам. Но на Эбингдон-стрит нет кэбов. Пешедрал, мой каурый конек Пешедрал, домчит меня домой. И он заворачивается в пальто и торопится по городским улицам к Верхнему Холборну и Брук-стрит. И на ходу в его голове рождаются слова, складываясь в песенку:

Стихи мои, осколки старины.

Эта строчка улетает от него в ночной воздух, и он смотрит, как она испаряется. Затем он снова поет:

Скользнут к потомкам тенью новизны.

Теперь все сходится в одной точке: оно виднеется впереди, и Чаттертон продолжает шагать в его сторону, напевая:

Сияй же, песня, ярче вдохновенья.

Он спотыкаясь сворачивает в переулок, и в ноздри ему ударяет вонь испражнений. Мои ноги вязнут в говне, но дом мой — не здесь. Ему бы

хотелось идти так вечно.

Как будущего вечное виденье.

Потом он прекращает петь. На углу Сент-Эндрю-стрит и Мерси-Лейн он замечает фигуру какого-то человека в капюшоне, прислонившегося к старой каменной стене, за которой хранят дрова, чтобы они не выкатились на улицу. Он замедляет шаг и бесшумно ступает дальше, и тут до него доносятся звуки рвоты. Несмотря на то, что он и сам пьян, Чаттертон переходит на противоположную сторону, но фигура в капюшоне выпрямляется и поворачивается к нему, простирая руки: из меня вылетают мухи! Из меня вылетают мухи! Посмотри, как они рвутся у меня изо рта и из глаз. Я нем и слеп этими мухами. Потом его снова рвет, и Чаттертон видит, как по каменной стене струится черная желчь.

В такую ночку, как эта, мир может полететь в тартарары — и Чаттертон спешит прочь от этой заразы. Дождливый ветер дует ему навстречу. Лицо мальчика-идиота. Завтра, возле разрушенного дома. Колокол Св. Дамиана ударяет один раз. Четверть часа пополуночи. Двадцать четвертое августа. Все хорошо.

Чаттертон доходит до своего дома на Брук-

стрит. Дождь. Он роется в карманах и роняет ключ. Новизна. Старина. Эти слова все еще раздаются у него в голове. Подбирает ключ. Отпирает дверь и поднимается по лестнице. Все хорошо.

* * *

Табличка снаружи Брамбл-Хауса, на Колстонс-Ярд, прямо за церковью Св. Марии Редклиффской, изменилась с тех пор, как Филип видел ее в последний раз. Теперь она гласила: "Бродягам, Бомжам, Потаскухам Вход Воспрещен. Вежливое Предупреждение". Подойдя вплотную к дому, он мельком заметил чье-то лицо в переднем окне, и не успел он дойти до двери, как она уже настежь распахнулась: на пороге подбоченясь стоял пожилой мужчина в малиновом спортивном костюме.

— Она дома. — Он откинул голову, видимо, показывая на одну из комнат. — Проследите, чтобы она не курила. — Потом он поднял голос, чтобы его слышал тот, кто находился внутри; — Это грязная привычка, это вонючая привычка, это отвратная привычка. — Потом, смягчившись, он сказал Филипу: Я — конечно же, Пэт. Надеюсь, вы любите похихикать. Ваш друг любил.

Он побежал вверх по лестнице, оставив Филипа

одного в прихожей.

— Идите же сюда, ко мне, — послышался из-за двери грудной голос. Если только вы не принимаете меня за привидение. Но тогда вам понадобится колокольчик, книга и свеча. Не говоря уж о священнике-иезуите. — Филип наощупь распахнул дверь, и там навстречу ему поднялся низенький пожилой мужчина в зеленом шелковом смокинге и очень узких черных брюках. Росту в нем было, наверно, не больше пяти футов, но его седые волосы были взбиты и причесаны: они походили на какую-то деревяшку, неуклюже приколоченную гвоздями к голове, но так или иначе, создавали ему некоторую видимость нормального роста. — Значит, вы тот самый человек с бумагами, да? Или, может быть, я жестоко ошибаюсь, и меня следует выгнать пинками на улицу и там бесцеремонно лупить до середины следующей недели? — Филип согласился с тем, что это проделывать вовсе не обязательно, поскольку у него и в самом деле имеются Чаттертоновы манускрипты.

После разговора с Вивьен в сосновой чаще он написал Джойнсону по бристольскому адресу; он объяснил, как бумаги и портрет попали во владение Чарльза и — возможно, без всякой тайной

мысли, — просто спросил, нельзя ли получить какие-либо дальнейшие сведения. Через два дня он получил по почте собственное письмо, на полях которого было нацарапано: "Воскресенье, в 4". Так он во второй раз поехал в Бристоль и прибыл в назначенное время.

— По правде говоря, у меня нет сейчас с собой этих бумаг. — Филип задумчиво дергал себя за бородку. — Их кое-кто изучает.

— Кое-кто — в самом деле? Вот так мило. Думаю, теперь мне можно с миром умереть и лечь в безымянную могилку. Почему бы вам не раздобыть лопату и не вырыть ее мне? — Его голос повышался с каждой новой фразой, но Филип заметил, что, закончив говорить, он все равно широко улыбался.

— Это Хэрриет Скроуп, романистка.

— Женщина, да? — Казалось, это еще больше позабавило Джойнсона, и он прокричал в потолок: — Ты слыхал это? — Это внезапное движение выбило из его прически прядку седых волос, и он вернул ее на прежнее место. — А они мои, а не ее — вот ведь как. И не ваши. Или это так, или я — отъявленный мошенник, которого вот-вот разоблачат перед всей цивилизованной публикой в Бристоль-Дейли-Нъюс. Он приблизил свое лицо

к Филипу. — Вы что думаете это маска? Тогда сорвите ее собственными руками, умоляю.

Филип отклонил это любезное предложение.

— Я могу вернуть вам бумаги, — поспешил он сказать. В конце концов, он ради этого и приехал. — Я немедленно достану их и верну.

— Очень на это надеюсь. — Джойнсон достал из кармана смокинга мундштук из слоновой кости. — Хотите сигаретку?

— Нет, благодарствую.

Казалось, Джойнсон был разочарован.

— Даже самую малюсенькую? Знаете, маленькие — самые лучшие. А иногда и самые крепкие. Они дают вам передышку, чтобы поразмышлять и подивиться, что ж за штука такая — жизнь.

— Нет. Я не люблю дыма.

— Я тоже. — Он со вздохом отложил мундштук. — Нечистоплотная привычка. Правда? — Потом он снова уселся в кресло, провалившись в него так глубоко, что Филип некоторое время видел лишь его седые волосы, прыгавшие вверх-вниз, словно носовой платок, которым отчаянно размахивают в воздухе. — Они не настоящие, — сказал он, после некоторой борьбы снова показавшись в поле зрения.

— Сигареты?

— Ну конечно, сигареты. Я вас заставил тащиться сюда только для того, чтобы потолковать о достоинствах табака. У меня плантация в Южной Америке, и я хочу подарить ее вам на Рождество. Нет, дорогой мой, не сигареты. Манускрипты. — Филип давно ожидал услышать это, но все же, когда его подозрения подтвердились, он внезапно почувствовал угнетение. — Мои манускрипты, — продолжал Джойнсон. — Мои бумаги. Их никто никогда и не думал никому показывать. Или отдавать, как это сделала одна глупая старая корова. — Он проревел последнюю фразу в потолок, а потом учтиво возобновил беседу с Филипом: — Видите ли, это фальсификация. Думаю, вам понятно это слово? Оно было в «Тезаурусе» Роже и в Международном словаре Чемберса, когда я заглядывал туда последний раз.

— Но Чарльз отдавал почерк на экспертизу.

— Значит, она отдавала его на экспертизу, да? — Казалось, это развеселило Джойнсона пуще прежнего, и его волосы несколько секунд продолжали подскакивать.

— Нет, не Хэррие. Чарльз…

— Да, я знаю. Ваш друг. — Он произнес это слово с тем же особенным нажимом, что и Пэт раньше. — Я же сказал, что они сфальсифицированы.

Я не говорил, что они не подлинны.

Филип совсем запутался.

— Так мы говорим об одном и том же — или о разных вещах?

— Или мы говорим о Чаттертоновом манускрипте, или я — буйнопомешанный и сейчас наброшусь на вас и откушу ваш премилый носик картошкой? Разве у меня волосы всклокочены и в колтунах? Так скажите, коли так, я буду рад послушать.

Он поудобнее устроился в кресле, так что его ноги едва касались пола.

— Нет…

— Отлично. Ну так вот. — Джойнсон снова выпрямился. — Хотите выслушать одну историю? — Он сложил ладони, будто собрался читать молитву. Филип, уже утомленный его расспросами, молча кивнул. — Вот и хорошо. Полагаю, вам известны перипетии со стихами Томаса Чаттертона — как он мастерил свою средневековую поэзию и так далее? Чудесно. Превосходно. Пятерка с плюсом. И, должно быть, вы уже догадались, что существовал настоящий Сэмюэль Джойнсон, книгопродавец, как и говорится в тех мемуарах? — Он начал снова проваливаться в кресло, но сумел с усилием распрямиться. — Иначе с чего

бы вдруг я носил то же самое имя? Я ведь не из воздуха его себе взял, верно? Если это так и было, отведите меня в лондонский Тауэр и отрубите мне голову. Даю вам на то полное мое позволение. Можете раздеть меня и вырвать мои внутренности, бросив их воронам на растерзанье. Идет?

Филип не знал, что на это ответить, и просто постарался принять задумчивый вид.

— Ну так вот, Сэмюэль Джойнсон в самом деле печатал и продавал Чаттертоновы стихи. Они сотрудничали. Возможно, они даже были друзьями. Джойнсон пошевелил пальцами ног. — Так что здесь Чаттертоновы манускрипты не лгут. Вы еще слушаете меня, или я разговариваю сам с собою, и меня следует отвезти в Солнечный Дом для Престарелых и Слабоумных? Нет? Вы мне даете еще один шанс? Отлично. Ну так вот. Чаттертон умер-таки. Насколько мы знаем, он совершил самоубийство в восемнадцать лет. Сущий птенчик. Но вам известна эта история? — Филип кивнул. — Это было очень громкое самоубийство, и оно прославило имя Чаттертона… — Внезапно он прервался. Вы слышали шум? — Филип ничего не слышал. — Мне кажется, я слышал шум. Джойнсон выскочил из своего кресла и засеменил к двери; распахнув ее, он обнаружил стоявшего за

ней Пэта. В одной руке тот держал пару потрепанных парусиновых туфель, а другую руку, когда его застигли врасплох, он приложил к сердцу. Он отпрыгнул и уставился на Джойнсона.

— Я не останавливался, я не слушал, я не любопытствовал!

Джойнсон передразнил его:

— Я не обвинял тебя, я не обвинял тебя, я не обвинял тебя! — Потом он захлопнул дверь и, подмигнув Филипу, возвратился к своему креслу. — Ну просто мисс Красота-и-Здоровье 1929 года. Вчера весь вечер лежала с йогуртом на лице и огуречными ломтиками на глазах. Хоть отрезай ей голову и продавай в магазин здоровой пищи. Но на чем мы остановились? Ах, да. Так вот. Самоубийство Чаттертона имело большой успех. Не сразу, разумеется. Это не стало сенсацией на следующее же утро. Прошло лет двадцать — или тридцать? Ну ладно, так и будем считать. Двадцать или тридцать лет. А потом он сделался феноменом: славный мальчик, птицей никогда ты не был, сами дома объемлет сон, и так далее. Так Джойнсон понял, что на Чаттертоновы стихи снова появился спрос. Он издал сборник его поэзии. Он начал продавать все старые рукописи, какие у него скопились, и я не удивлюсь, если

он обнаружил вдобавок несколько новых. Понимаете? Лягните меня, если я слишком быстро гоню, лягните меня изо всех сил. Лягайте меня до тех пор, пока я не запрошу пощады и трое дюжих молодцев не отвезут меня на неотложке в Бристольскую лечебницу. — Филип с вежливой улыбкой отклонил его предложение. — Но тут-то мой предок и получил легкий пинок под зад. Один его соперник-книготорговец опубликовал кое-какие письма Чаттертона, а там то и дело всплывало имя Джойнсона. Вор. Подлец. Кровосос. Скряга. Чаттертон обвинял его в том, что тот скупил его произведения, а потом бросил его на произвол судьбы. А письма эти он написал накануне самоубийства. — Джойнсон остановился, и Филип, которому не терпелось узнать окончание истории, быстро вставил:

— Так значит, он…

— Да. В точности. Именно так. Вы читаете мои мысли, и нам бы с вами затеять представление в Альгамбре: я — в балетных туфлях и с кляпом во рту, а вы — с кнутом. В точности так. Джойнсон решил нанести ответный удар. У него имелись свидетельства, что Чаттертон сам придумал те средневековые поэмы: так что же могло быть легче, чем доказать, что он сфальсифицировал и

все остальное — даже собственную смерть? А что может быть лучше в борьбе против фальсификатора, чем его собственное оружие — еще одна фальсификация? Он решил переплутовать плута, понимаете? И он принялся стряпать тот манускрипт, который потом попал к вашему другу. Когда его отдала эта старая дрянь! — Последние слова он прокричал, глядя в сторону двери, и Филип в беспокойстве привстал со стула; его изумило, что такой щуплый человечек способен издавать столь громогласные звуки. — Не думаю, чтобы он намеревался публиковать свои писания, — продолжал Джойнсон своим обычным голосом. — Он просто хотел оставить это после себя, чтобы очернить имя Чаттертона. Это было что-то вроде шутки. Пощекочите меня за локоток — и я мигом окажусь на аксминстерском ковре. Давайте же. В ваших руках я буду податлив как воск — обещаю.

Но Филип уже почти не прислушивался к этому последнему приглашению: так значит, это все-таки была шутка. Мемуары сфабриковал книготорговец, который хотел отплатить поэту его же монетой — сфальсифицировать работу фальсификатора и тем навсегда запятнать память о Чаттертоне: его бы запомнили уже не как

поэта, который умер в юности и во славе, а как пожилого литературного поденщика, который ввязался в грязное дельце со своим напарником. Этот-то документ и увез отсюда Чарльз Вичвуд.

За дверью послышался грохот, и в комнату вошел Пэт, сражаясь с пылесосом, словно тот собирался его удушить или пожрать. Хмуро улыбаясь самому себе, он швырнул его на пол и принялся пылесосить ковер у ног Джойнсона.

— Да не курил я! — рявкнул на него Джойнсон, — Посмотри! Услади свои очи! — И он предъявил ему пустой мундштук.

— Пускай она разевает свою пасть, пускай она шуршит своими толстыми титьками, пускай она вопит во всю глотку. — Пэт, видимо, обращался к Филипу. — А я — что я делаю? Я улыбаюсь, деликатно пожимаю плечами, веду себя как воспитанная дама.

Джойнсон наклонился поближе к Филипу:

— Ее лучше пожалеть, а не осуждать, а вам как кажется?

Филип встал со стула, торопясь покинуть общество этих двух пожилых джентльменов.

— Я их верну, — сказал он, пытаясь перекричать шум пылесоса. — Я позабочусь, чтобы все бумаги были возвращены вам в самое ближай-

шее время.

Джойнсон улыбнулся и, деликатно обойдя Пэта, проводил Филипа в прихожую.

— И не забудьте про картину, — сказал он, — которую одна старая корова увезла в Лондон.

— Она тоже принадлежала вашему предку?

— А ее написал его сын. Ну, чтобы продолжить шутку. Пощекочите меня, и я надорву животик. Это ваш последний шанс. И тогда творите со мной что хотите. — Но Филип уже открыл дверь и зашагал к железным воротам. — Не забудьте, — напутствовал его Джойнсон. — Я хочу, чтобы они вернулись ко мне. Это мои семейные реликвии. Мое памятное наследие.

— Да, знаю. — Филип обернулся, чтобы помахать рукой на прощанье, и, выйдя на улицу, заметил у окна Пэта; тот указывал на табличку, вывешенную на решетке, и хихикал. Теперь она гласила: "Пофантазируем Вместе. Суровое Рабство или Золотые Дожди. Спрашивайте Внутри". Филип торопливо перешел дорогу и шагнул в тень Св. Марии Редклиффской.

15

Чаттертон входит в свою чердачную каморку и запирает за собой дверь; потом приваливается к ней, смеясь и вытирая рот рукавом пальто. Все хорошо. Я избавлен от напудренной Ангелицы. Он только что прокрался мимо ее комнаты, сняв башмаки, и слышал ее храп. Теперь я в безопасности в своей воздушной обители. Я на вершине мира. Он направляется к кровати и вытаскивает из-под нее деревянный сундук; отпирает его и извлекает бутылку испанского бренди. Здесь лучше, чем в Тотхиллском саду, да и дешевле: я пью за Дэна Хануэя, первого очевидца моего гения и первого предсказателя моей славы. Я пью за миссис Ангел, избавившую меня от постыдной девственности. Еще глоток. Он подходит к дубовому столику у изножья кровати и наливает бренди в грязный стакан, оставленный там. Я пью за мастера поз, показавшего мне эмблему мира.

Вот перо и карандаш, оставшиеся от утренних трудов; слегка пошатываясь, он берет карандаш и пытается что-то написать им, нагнувшись над столом. Новизна. Старина. Он не может припомнить слова той песни, которую сочинял по

дороге домой. Я потерял мелодию, а без мелодии нет истинного смысла. Все пропало. Пропало навсегда. Вернулось туда, откуда пришло. Ах, эмпиреи. Теперь я точно пьян. Он рисует на бумаге собственный профиль и, сильно нажимая на карандаш, проводит лучи света от своих глаз и от волос; внизу он делает подпись заглавными буквами: APOLLO REDIVIVUS.[109] Затем он рвет рисунок и бросает клочки бумаги на дощатый пол.

Через приоткрытое оконце мансарды врывается дождь, и Чаттертон склоняется над кроватью, чтобы захлопнуть его; но теряет равновесие, падает на кровать и, растянувшись на ней, заливается смехом. Потом он зевает, смахивая с лица дождевые капли. Тут он вспоминает. Мне надо принять лекарство. Он открывает глаза пошире. Гроб или здоров. Он с трудом поднимается с постели и выпивает еще один стакан бренди, а потом лезет к высокой полке, куда утром спрятал льняной мешочек с мышьяком и склянку с лауданом. А, вот они — мешок да бутылка, совсем как в волшебной сказке. Он снимает их с полки и оценивающе покачивает в ладонях, будто взве-

---

[109] Примечания: 109
Оживший Аполлон (лат.).

шивая. Принц я или нищий? Он спрыгивает со стула, с грохотом приземляясь на пол. Тише-тише, как бы не разбудить великаншу. Он относит противоядье к столу, осторожно снимает пальто и садится. Он развязывает мешочек и внюхивается в его содержимое, улавливая легкий запах чеснока, исходящий от мышьячных гранул. Затем он откупоривает флакон, увлажнив ободок мизинцем. Я вижу перед собой огни святого Эльма и Сахару, радугу и лихорадку, хрусталь и… так что там за пропорции, говорил Дэн? На склянке сбоку указан объем, и он видит, что она содержит две жидкие унции. Может, один гран мышьяка на каждую унцию лаудана? Или четыре грана? Или две унции? Он наливает себе еще немножко бренди — чтоб подстегнуть память. Потом высыпает содержимое льняного мешочка на стол и укладывает в горки гранулы, катая пальцем одну из них. Одна — за славу. Он бросает ее в свой стакан. Одна — за гений. Он кладет еще одну. И одна — за юность. Он берет третью гранулу и добавляет ее в бренди. Я могу излечиться от всех недугов, ибо мы поднимаемся над своим природным состоянием, когда нас ведет душа. Потом, поддавшись внезапному порыву, он выливает почти весь лаудан в тот же стакан; запрокинув

голову, он залпом проглатывает эту смесь.

Чувствуется сильный удар. Ох. Очень сильный. Зато я одолею гонорею и поднимусь наутро очищенным. На миг его рот заполняет желчь, но он сглатывает ее. Да. Да. Я чувствую, как оно прочищает меня. Исцеление начинается сразу же. Он пошатываясь встает со стула и падает на кровать. Не забыть про мальчика-идиота. Завтра. Он вытягивается на кровати, приложив руку ко лбу. Гидроцефал. Водяночник. Он пытается уснуть, но чувствует какое-то прикосновение. Он садится на постели, и первое, что замечает, собственный бешеный пульс. Он смотрит вниз, и в этом странном освещении его руки кажутся ему чужими.

* * *

— Как вы думаете, научатся люди называть меня Нелли Дин? Я ведь такая смирная, разумная особа. — После своей поездки в Бристоль Филип договорился о встрече с Хэрриет Скроуп; и вот теперь они сидели у нее вдвоем, не считая мистера Гаскелла, который улегся между ними. — Когда-то друзья звали меня Миссис Быстро, — продолжала она. — Но совсем по другим причинам.

— А-а. Понятно. — Филип, не зная, с чего начать,

пожевывал краешек бороды. Он чувствовал, как впадает в свою привычную скованность и смущенное немногословие, но хватит, ему нужно начать заново: ведь он пришел сюда ради Чарльза и Вивьен, ведь он их заступник.

— Знаете, Филип, вы с этой бородкой — вылитый ренессансный рыцарь. Вы выезжаете когда-нибудь на сражения?

Хэрриет показалось, что он задыхается.

— Нет, — сказал он наконец. Потом он взглянул ей в глаза: — Нет, не думаю.

Она сложила руки в смиренном жесте.

— Дорогой мой, это же была просто фигура речи. Я думала, библиотекари к ним привычны. Может, выпьете чуток?

— Нет, я…

— Не надо, не рассказывайте. Вы за рулем — водите. Водите меня за нос. — Она засмеялась над собственной шуткой, отправившись к алькову, и возвратилась со стаканом джина. — Это напоминает мне о том прелестном вечере в индийском ресторане. Правда, там было забавно? — Казалось, она совершенно забыла о том, как завершился тот вечер, но потом она добавила: Думаю, Чарльзу тоже понравилось там, да?

— Наверное…

— Жаль, правда, что его последним земным кушаньем оказался цыпленок-виндалу. Я бы предпочла какой-нибудь милый ростбиф с картошкой.

Филип распрямился на своем стуле.

— Хэрриет, на самом деле я пришел поговорить с вами о Чаттертоновых рукописях.

— Да? — Она отхлебнула джина с ложечки. — Наверно, Вивьен хочет их обратно, да? — Она уже догадалась о цели его визита, но ее это нисколько не расстроило. После того, как она побывала на Брук-стрит, она решила, что с бумагами ничего сделать не сможет: теперь, когда она утратила интерес к Чаттертону, оживить его была не способна даже заманчивая перспектива поразить академический мир. Для Хэрриет это была мертвая тема, а что до нее, то она желала как можно дольше оставаться с живыми.

— Не Вивьен, — ответил Филип, — а их владелец. Они нужны владельцу. Эти слова Филип заготовил заранее. — Понимаете, рукописи принадлежат другому лицу. Это его фамильные реликвии.

Хэрриет рассмеялась.

— Всякий раз, как я слышу слово «реликвии», — сказала она, — я почему-то думаю о пышках. —

Она облизнулась. — Так Чарльз что — украл их?

— Разумеется, нет!

Казалось, она не слушала его.

— Может, это был его крик о помощи, как говорят в газетах?

— Он ничего не крал. Их ему отдали.

— Понимаю. — Хэрриет начала получать удовольствие от этой беседы. Значит, вышла какая-то ошибка?

— Я не совсем… — Филип не хотел признаваться в том, что бумаги оказались поддельными, и тем самым предать Чарльза. — Я не совсем, понимаете…

— Что же вы не совсем понимаете, Филип?

— Это была не то чтобы ошибка, а просто…

Хэрриет с любопытством наблюдала, как он яростно дергает себя за бороду.

— Смотрите, не усыпьте собой весь мой ковер, — сказала она нежнейшим голосом. — А то мистер Гаскелл напугается.

— Они были настоящие, — выговорил Филип, — но в то же время и не настоящие…

Она подняла руку:

— Ну ладно, полно об этом. Я и не хочу ничего знать. — Она встала со стула, улыбаясь сама себе, и, уже выходя из комнаты, обернулась: — Если

вам и картина нужна, можете забрать ее из этой галереи. Я и так ею не особенно дорожила. — Она вышла на несколько секунд и, возвратившись с кипой манускриптов, положила их Филипу на колени.

Но ему не хотелось, чтобы их встреча обрывалась так резко.

— Наверное, — сказал он, тщательно подбирая слова, — было очень трудно во всем этом разобраться? — Он пролистал бумаги, заодно тайком проверяя, все ли на месте.

— Да нет. Вовсе не трудно. Не было ничего легче.

— Я не совсем понимаю…

— Я тоже не совсем понимала. В этом-то и штука. Все это казалось не очень-то настоящим, но, наверное, это беда истории вообще. Ее-то нам всегда и приходится изобретать самим.

Она заметила смущение Филипа.

— Разумеется, я могла бы обо всем этом написать. У меня бы это вышло гораздо лучше, чем у бедняжки Чарльза.

Этого Филип и боялся.

— Вы не сделаете этого, — сказал он гневно. — Это было бы чудовищно!

Хэрриет посмотрела на него с интересом.

— Ради Вивьен, — сказала она наконец, — я с вами соглашаюсь.

Теперь Филип залился краской.

— Да нет, это действительно была ошибка, — сказал он и замолчал. — Но теперь нет смысла ворошить прошлое.

— Это вы про Чаттертона?

— Нет, про Чарльза. Теперь, когда он…

— Умер, дорогой мой. К чему миндальничать.

— Теперь, когда он умер.

— Чтобы рука времени перевернула страницу? — Она свесила голову набок. — Чудесный образ. — Она поцеловала собственную руку. — Благодарю вас, Хэрриет Скроуп, за эту прелестную милую мысль. Да, кстати, — добавила она другим тоном, — там вы найдете и Чарльзовы стихи. — Она показала на бумаги, лежавшие у Филипа на коленях. — Думаю, что я ничего не могу с ними сделать. — Филип взглянул на нее, разочарованный явным отсутствием заинтересованности с ее стороны, и она отступила на шаг назад, вызывающе уперев руку в бедро. — Вы, видимо, считаете, что я — нелепый призрак? Ничего подобного. Я очень даже настоящая. И даже могу укусить. — Она широко раскрыла рот и, к изумлению Филипа, на миг показала свои фальшивые

зубы, так что они чуть не выпали, а потом всосала их обратно.

В эту секунду зазвонил телефон. Филип, и так уже несколько взвинченный, подпрыгнул от внезапного звонка, и манускрипты рассыпались по полу. Хэрриет засеменила из комнаты в коридор, потирая руки и ухмыляясь. Это звонил Камберленд, и голос его был очень хмурым:

— Мисс Скроуп, если у вас есть стул, тогда держитесь за него.

— А трон не сгодится? — Она подмигнула мистеру Гаскеллу.

— Помните ту картину, что вы оставили нам для… для датировки?

— Да, прекрасно помню.

— Ну вот, произошло нечто жуткое.

* * *

Рот Чаттертона наполняется слюной, река выходит из своих драгоценных берегов. Живот его пронзает боль, похожая на колику, но такая жгучая, будто мою печенку и селезенку поджаривают на огне. Что со мной? Он силится встать с кровати, но агония снова сваливает его с ног, и он в ужасе катается по постели, уставясь в стенку. О Боже, мышьяк. Он изблевывает содержимое

своего желудка, и одновременно с этим спазмом его тонкие ягодицы обжигает струя кала — о, какой он горячий — и стекает по бедрам, а вонь смешивается с острым запахом пота, которым залито его тело. Все покидает меня. Я словно дом, охваченный пожаром. О боже, яд. Я будто таю.

* * *

Стюарт Мерк протер картину тряпицей, смоченной горячей водой, начав с верхнего правого угла с тусклой подписью Pinxit Джордж Стед, 1802. И теперь он увидел, что его первоначальный диагноз оказался верен: на лице телесные оттенки были чересчур ярки — остаток неуклюжей поздней записи. Свеча, мерцавшая возле четырех книжных томов и проливавшая с одного боку неверный свет на лицо натурщика, тоже оказалась позднейшим добавлением. И с руками была беда: левая, сжимавшая манускрипт, была дурно написана, а правая чересчур неестественно замерла над четырьмя томами в кожаных переплетах. Зато с глазами все было в порядке. Глаза нужно будет сохранить как они есть. Мерк взял с низкой полки фотоаппарат и начал снимать холст с разных углов: каждый снимок, по очереди, поможет ему реконструировать картину, пока та

не достигнет своей окончательной, подлинной формы. Внезапный яркий свет от фотовспышки озарил картину как зарница, изменив ее цвета и отбросив на ее поверхность столько глубоких теней, что она будто пришла в движение. Мерк опустил камеру и вздохнул.

Трещины оказались не такими глубокими, как он сперва заподозрил, так как большинство их пролегало по лаку, а не по краске. Поэтому он смешал чистый спирт с водой, чтобы удалить этот поблекший внешний слой; и когда он медленно втирал раствор в поверхность холста, ему показалось, что этот только что обнаженный слой краски на миг замерцал в непривычном освещении и воздухе. Когда лак исчез, сделались видны последовательные слои краски, и Мерк заметил очертания какого-то другого предмета, смутно мерцавшего за свечой и книгами. А внутри лица натурщика тоже едва различалось другое лицо; это лицо было моложе и, как почудилось Мерку, выражало страдание.

А потом он в панике закричал. Раствор вступал в реакцию со вновь открытым слоем краски. На поверхности картины образовывались пузырьки и складки, а изображение натурщика, казалось, содрогается, прежде чем сморщиться, согнуться

и рассыпаться на хлопья краски, которые стали слетать с холста на кафельный пол мастерской Мерка. А пока он в ужасе за этим наблюдал, распад приобрел собственное ускорение: внешний слой уже отвалился, и теперь трескались и пузырились различные подмалевки. Лицо натурщика растворилось, превратившись в два лица — старое и молодое; и по мере того, как на глазах у Мерка краска разлагалась, ее хлопья превращались в сгустки цвета, падавшие на пол, оба лица представали в виде вереницы все меньших и меньших изображений, — пока через несколько мгновений не исчезли полностью.

Он бросился к холсту и — не зная, что делать, — снял его с мольберта. Но картина оказалась слишком горячей: ее края жгли ему руки, и он с криком отшвырнул ее на пол, где она продолжала корчиться и сотрясаться. Он заткнул уши, чтобы не слышать шепота растворяющейся краски, и стал смотреть на портрет в последних стадиях его разложения. Через несколько минут от него не осталось ничего — как ни странно, кроме нескольких букв, составлявших названия книг: теперь эти буквы словно парили в непостижимом пространстве. Он брезгливо дотронулся до картины ногой, а потом, в неожиданном при-

падке злости и негодования, наступил на нее, проткнул холст каблуком и пинком отшвырнул в угол мастерской. "Всё? Издох?" — прокричал он, утирая рот.

* * *

родовые муки, мои внутренности разрываются, чтобы вышло дитя, о мама мама. Чаттертон мечется по запятнанной постели, и агония подымается из пего, словно туман, заполняя чердачную каморку. Потерпи, о потерпи пока этот припадок не пройдет, но мои руки пригвождены к кровати, мою плоть отрывают от меня, и я сгибаюсь и ломаюсь. Его лицо раздувается, его веки лопаются от жара. Я великан в этой пантомиме о Боже спаси меня я таю таю таю

* * *

Эдвард пережил ночной шторм в океане — бурные валы вздымали свои гребни над его головой, и повсюду вокруг летели брызги; потом он подошел к краю вулканической бездны, где путешественники в ужасе всматривались в провалы, зиявшие у них под ногами; потом он вошел в белую галерею и начал проходить сквозь

круг отполированных камней, в центре которого возвышалась кубическая пирамида из блестящей бронзы; он шел быстро, потому что ему не терпелось попасть в 15-ю галерею.

Картина по-прежнему висела там: он боялся, что ее спрячут или даже уничтожат после смерти отца. Но «Чаттертон» висел на прежнем месте, крепко держась на стене, и показался Эдварду еще более настоящим, чем в прошлый раз, — еще ярче и, пожалуй, даже крупнее. Он подошел к ней поближе, но вначале не разглядел ничего, кроме фактуры самого холста, защищенного стеклом: он увидел трещинки, цветные мазки — и почувствовал отвращение. Он знал, что «Чаттертон» был каким-то образом связан со смертью его отца: он помнил, с каким именно выражением Чарльз вначале поглядел на эту картину, и он никогда не позабудет его отсутствующе-затравленного вида, когда тот отвернулся. Так в чем же здесь секрет?

Сложив руки, как это делал его отец, он принялся рассматривать картину, словно это был некий враждебный, но безмолвный свидетель. Вначале ему показалось, что она не лучше какой-нибудь фотографии или кадра из фильма — притом это было явное старье. Все цвета были не те. Но он неотрывно всматривался в изображение, ища

разгадку, и постепенно картина обрела некую пластичность: чердачная каморка показалась Эдварду совсем настоящей, и он заметил, как она разрастается под его пристальным взглядом. Открытое оконце слегка сотрясалось от ветра, и он уже собирался шагнуть вперед и закрыть его, как вдруг увидел, что в комнату вошли двое. Они стояли рядом с телом, и женщина приложила к своему рту и носу платок. Он слышал, как они разговаривают. Что ж это за напасть, мистер Кросс? Я чую мышьяк, миссис Ангел, видать, с ним все кончено.

Эдвард до этого старался не вглядываться в человека, лежавшего на кровати, но теперь, все-таки взглянув, он не мог опомниться от изумления: там лежал его отец. Он протягивал руку к сыну. Эдвард шагнул вперед и пожал ее, а через миг она снова упала на дощатый пол. Ему казалось, что отец вот-вот заговорит, но тот был не в силах поднять голову и лишь улыбался. Потом эта картинка исчезла.

Эдвард трижды моргнул, стараясь не расплакаться. Он не мог сдвинуться с места, а вскоре понял, что глазеет на отражение собственного лица в стекле, появившееся там, где только что находилось лицо отца. И теперь Эдвард тоже

заулыбался. Он снова увидел отца. Он навсегда останется здесь, на картине. Он никогда полностью не умрет.

* * *

Летние мухи в ужасе вылетают через чердачное оконце. Теперь Чаттертон задыхается, что-то сидит у меня на груди и ликует, запрокинув голову, я конь, на котором оно скачет. Его тело будто тянут вверх, а потом глумливо бросают вниз, кровать качается и стонет под его конвульсиями. Но внезапно он успокаивается. Боль прошла, теперь арктический мороз защищает меня от ослепительного неба, и глядите — мои члены покрыты снегом. Воздух вокруг меня становится фиолетовым, фиолетово-розовым и постепенно бледнеет. Так не умирают — так разучаются дышать. Кажется, будто он в последний раз оглядывает комнату, но это лишь несогласованные движения умирающего тела: левая рука прижата к груди, правая соскальзывает с кровати, а пальцы сжимаются в кулак и разжимаются, словно пытаясь схватить клочки исписанной бумаги, разбросанной по полу. Мощные мышьячные конвульсии перекрутили шею Чаттертона, и он лежит теперь на пропитанной потом подушке,

выгнувшись под неестественным углом. Его левая ступня дрожит, но потом замирает. Затем внезапный удар внутри головы, но боли нет, а появляется внезапный ослепительный поток света.

* * *

— Итак, все позади. — Филип отвесил почти церемонный поклон Эдварду, который, подумав, что наступил чрезвычайно важный момент, в ответ тоже поклонился. — Я отослал все рукописи в Бристоль. — Филип, уйдя от Хэрриет, сразу же отправил их по почте мистеру Джойнсону. Он даже не хотел прикасаться к ним.

— А картина? — Вивьен явно была довольна.

— А картина уничтожена.

— Ур-ра! — Эдвард вскочил и принялся скакать вокруг Филипа, тузя его и бодая. — Чаттертон умер! Чаттертон умер! — Потом он вдруг остановился и, сунув палец в ухо, подошел к матери. — А как же тот, другой?

— Какой другой, Эдди?

— Ну тот, хороший. Которого не надо убивать.

— А другого нет, Эдди. Была только одна картина.

Он взглянул на мать почти с жалостью, но ничего не сказал. Но Вивьен больше занимали

новости, которые принес Филип.

— А что мистер Джойнсон сказал насчет картины?

Филип улыбался, радуясь успокоенному выражению на ее лице.

— По-моему, он был доволен. Да и Хэрриет обрадовалась. Не знаю уж, почему.

После телефонного разговора с Камберлендом Хэрриет вернулась в комнату и сказала Филипу:

— Картины с нами больше нет. Она перешла в мир иной. — Она осенила себя крестным знамением и рассмеялась: — Знаете, Филип, у меня иногда бывают мысли, слишком глубокие для слов. Или это слезы? Уж и не могу вспомнить.

— Так значит, все и вправду позади, — сказала Вивьен. — Наконец-то.

Они обычно ужинали втроем, а сегодняшний вечер Филип решил отпраздновать, прихватив с собой две бутылки кьянти.

Эдвард выглядел особенно счастливым и за обедом, состоявшим из спаржевого супа, спагетти-болоньезе и мороженого с малиновым сиропом, настойчиво просил вина. Под конец у него вокруг рта образовались широкие круги от вина и от мороженого.

— Ты похож, — сказала ему мать, — на брай-

тонский леденец.

Со смехом заверещав, он убежал к себе в спальню, а через несколько минут оттуда раздался крик:

— Филип! Филип! — Тот вошел к нему в комнату и увидел, что Эдвард уже в постели. — Филип, — сказал он спокойно, — ты расскажешь мне сказку? Филип рассказал ему очередную сказку, и вскоре ребенок уснул.

Филип возвратился в переднюю комнату, где на диванчике сидела Вивьен, поджав под себя ноги.

— Грош им цена, — сказал он.

— Я думала о Чарльзе. — И Филип покраснел: — Да нет, я не о том. — Она немного помолчала. — Бедный Чарльз. Как жаль, — добавила она, — что все так закончилось.

— Ты про рукописи?

Она кивнула.

— Ведь по-своему он был прав? Мы все в это верили. — В наступившей тишине были слышны голоса в квартире наверху. — Я бы не хотела, чтобы все это так и забылось, Филип. Столько труда понапрасну.

— Но как же… — Казалось, он глядит куда-то вдаль, так и не докончив вопроса, но на самом деле он смотрел на стул, где когда-то сидел Чарльз.

Это был не пустой угол: он все еще ощущал там присутствие своего друга, словно он витал где-то в воздухе, пребывая в мыслях о Чаттертоне, которые Чарльз оставил в этой комнате. Его вера была чрезвычайно важной. Пусть бумаги на поверку оказались подделками, а картина — фальшивкой: зато чувства, которые они пробудили в Чарльзе, а теперь и в Вивьен, по-прежнему были важнее всякой реальности. — Знаешь, — сказал он мягко, — об этом и не нужно забывать. Мы можем сохранить эту веру. — Он взглянул на Вивьен и улыбнулся: — Самое главное — это то, что сотворило воображение Чарльза, и за это нам следует держаться. Это ведь не наваждение. Воображение никогда не умирает.

— Да-да, — сказала она. — Пусть оно живет и дальше. — Она посмотрела на Филипа своими блестящими глазами, ожидая, что он завершит свою мысль. Но он не знал, как продолжить: он почесал бороду и стал глядеть в пол. Филип, — сказала она. — Ну-ка, рассказывай.

— Ты знаешь, — отвечал он, вначале медленно подбирая слова, — что когда-то я пробовал писать? Жизнь казалась мне такой таинственной: все было связано и в то же время существовало порознь. Помнишь, я рассказывал тебе об

этом? — Она кивнула. На следующий день после той прогулки в сосновой чаще между ними состоялся разговор, когда Филип, желая утешить ее, признался ей в собственном ощущении неполноценности и утраты; он рассказал, что и его смущает мир, в котором не просматривается сколько-нибудь значимого порядка. Все как будто просто случается, сказал он тогда, и нет даже никакого ускорения. Есть всего лишь — ну, всего лишь скорость. И если начинаешь прокручивать что-либо назад, пытаясь установить причину и следствие, или побуждение, или значение, — то оказывается, что все лишено настоящего начала. Все просто существует. Все просто существует, чтобы существовать. И после этого разговора Филип с Вивьен как-то сблизились. — И помнишь, — говорил он теперь, — я тебе рассказывал, как я читал разных романистов, чтобы понять — а почувствовал ли кто-нибудь из них тоже эту тайну? Но нет — никто. И никто, по-видимому, не чувствовал, как это странно — что жизнь протекает именно так, а не как-то иначе. Я говорил тебе об этом? — Она, не ответив, ждала, что он скажет дальше. — Тогда я попробовал сам написать роман, но ничего не вышло. Понимаешь, я продолжал подражать другим людям.

По-настоящему мне и нечего было сказать тогда, зато теперь… — Он помедлил. — Но теперь, вот с этим… с этой теорией Чарльза… я бы мог…

Вивьен поднялась с дивана и захлопала в ладоши.

— Замечательная мысль! Как раз этого он сам бы и хотел!

— Разумеется, — сказал он, снова приняв серьезный вид, — я должен рассказать все это по-своему. О том, как Чаттертон мог бы прожить долгую жизнь.

— Рассказывай об этом, как тебе нравится. Это будет замечательная книга!

— И знаешь, — сказал он, улыбаясь ее воодушевлению, — в конце концов, я бы, может быть, нашел собственный стиль.

Эдвард, проснувшись от внезапного шума, вошел в комнату и удивленно остановился у двери, видя, что Филип с Вивьен обнимаются. Филип заметил его и нежно от нее отстранился.

— Может быть, — спросил он, — я слишком много себе позволяю? Может быть, мне лучше сначала повидаться с Хэрриет Скроуп?

— Нет! — воскликнули в один голос Эдвард и Вивьен.

* * *

поток света вокруг него его сердце бьется как пустой барабан и Чаттертон куда-то уносится; он смотрит на деревянные доски пола и вот, в его опийной грезе, пол растворяется и безграничное небо вращается под ним. Он покинул свою кровать и его страх перед мышьяком остался позади и ах он летит. Летит к Св. Марии Редклиффской и эта церковь — его отец, лежащий на подстриженной траве, опершись на локоть и зевая, а над ним катится солнце. Летит через портал и через западную дверь, внезапный холод от древних камней меняет фиолетовый цвет на аквамариновый — а это цвет грез. Железная щеколда щелкает за ним, и раздается вечное эхо. Летит в церковь и впервые видит ее огромное внутреннее пространство. Летит мимо колонн и винтовых лестниц, мимо изможденных ликов святых и обломанных грифоньих когтей, мимо верхних арок и мимо испещренной выбоинами лепнины. Летит между сводчатыми перекрытиями и прошитым свинцом потолком, между огромными пыльными потолочными балками. Летит среди узких уступов галерей, а по обеим сторонам от него — пропасти и пещеристые про-

валы. Церковный неф превратился в гигантскую равнину из плоского камня, и, взглянув вниз, он видит собственного монаха, Томаса Роули, с выстриженной тонзурой на голове, протягивающего к нему руки. Они смотрят друг на друга с большого расстояния, и в вечности этого взгляда свет между ними сгорает и разлагается.

Падение — и Чаттертон спускается по лестнице из древнего камня, а по другой стороне навстречу ему поднимается молодой человек; и он все время идет по этой лестнице, и все время проходит мимо него, и молодой человек все время показывает ему куклу, которая у него в левой руке. Падение, и Чаттертон стоит возле молодого человека, склонившего голову от боли; за ними фонтан, и фонтан этот вечно журчит. Падение, в церковный неф, где далекие фигуры пытаются дотянуться до него, а он ждет с распростертыми руками. Мальчик-идиот, гидроцефал; мастер поз; тотхиллская проститутка; половой с Шу-Лейн; аптекарь, несущий дары. Каждый из них поочередно показывается из тени и здоровается с ним, называя его по имени: "Томас Чаттертон". Он же приветствует каждого с гордостью и важностью, а затем преклоняет колена на каменном полу нефа. "Поэты — в юности витаем мы в мечтах, — взы-

вает он к ним над бесконечной пропастью, — в конце ж подстерегают нас безумие и страх".

Настает тишина, которую больше ничто не нарушает, и теперь, подняв взгляд, он видит перед собой изображение, обрамленное розовым светом. Оно еще только складывается, и на протяжении веков он созерцает самого себя на кровати в мансарде, оконце, приоткрытое за ним, розовый кустик на подоконнике, дым, поднимающийся от свечи, и это всегда будет так. Значит, я не до конца умру. К нему присоединились те двое — молодой человек, который проходил мимо него по лестнице, и молодой человек, который сидит со склоненной головой у фонтана, — и молча встают рядом с ним. Я буду жить вечно, говорит он им. Они берутся за руки и кланяются солнцу.

А когда на следующее утро находят его тело, Чаттертон все еще улыбается.